



Александр



КУРЬИИ

Париж интимный



Александр Куприн
Париж интимный (сборник)

«Public Domain»

Куприн А. И.

Париж интимный (сборник) / А. И. Куприн — «Public Domain»,

Книгу составили романы, рассказы и очерки А.И.Куприна (1870—1938), созданные им после Октябрьской революции. Эмиграцию Куприн ощущал как личную трагедию и в своем творчестве часто возвращался к русской истории, к ярким впечатлениям своей молодости. Любовь к дореволюционной Москве освещает парижские очерки писателя, отлученного от Родины. Роман «Жанета» (1933) повествует о горькой судьбе нищего парижского эмигранта: бесконечно одинокий, он привязывается к встреченной им на улице маленькой бездомной девочке, но и эта радость оказывается для него недолговечной.

Содержание

Колесо времени	6
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	14
Глава IV	18
Глава V	20
Глава VI	22
Глава VII	25
Глава VIII	28
Глава IX	31
Глава X	35
Глава XI	39
Глава XII	44
Глава XIII	49
Жанета	52
I	52
II	54
III	57
IV	59
V	61
VI	66
Рассказы и очерки	89
Храбрые беглецы	89
Звезда Соломона	101
I	101
II	102
III	106
IV	110
V	118
VI	120
VII	122
VIII	127
IX	130
X	135
XI	141
XII	148
Сашка и Яшка	151
I	151
II	152
III	152
IV	153
V	154
VI	155
Пегие лошади	157
Последние рыцари	161
Царский писарь	169

I	169
II	171
III	174
Волшебный ковер	178
Лимонная корка	185
Сказка	189
Песик – черный носик	190
Однорукий комендант	193
Судьба	203
Золотой петух	208
Дочь великого Барнума	210
I	210
II	211
III	212
IV	214
V	214
VI	216
Ю-Ю	220
Пуделиный язык	227
Синяя звезда	232
Звериный урок	240
Инна	241
Тень Наполеона	244
Ночная фиалка	249
Пунцовая кровь	255
«Светлана»	268
Памяти Чехова	273
I	273
II	275
III	276
IV	277
V	280
VI	282
VII	284
VIII	287
IX	288
Юг благословенный	290
I. Южные звезды	290
II. Город Ош	291
III. «Фаворитка»	293
IV. Живая вода	295
Париж интимный	298
Париж домашний	300
I. Пер-ля-Сериз	300
II. Последние могиканы	302
III. Невинные радости	305
IV. Кабачки	308
V. Призраки прошлого	310
Париж и Москва	313

Александр Иванович Куприн

Париж интимный (сборник)

Колесо времени

Глава I Гренадин

До чего, дружок, я рад этой встрече! Посчитай-ка! От шестнадцатого года до двадцать восьмого – целых двенадцать лет не видались. Гарсон, еще два белого с гренадином! Вот, никак не могу приучить этого красавца наливать в стакан сначала чуточку гренадина, а потом уже доливать вином: так и смешивается скорее, и не надо ихних гнусных оловянных ложечек. Раз сорок ему говорил. Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой консерватор... Ах, милый мой, слезы мне глаза щипят. Встают давние, молодые годы. Москва. Охотничий клуб. Тестов. Черныши. Малый театр. Бега на Ходынке. Первые любвишки... Сокольники... Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени. Великое это свинство со стороны матери-природы.

Обидно вот что: встретились мы целый час назад. Ну, конечно, оба сначала не узнали друг друга, потом искренно обрадовались, крепко, по-братски, поцеловались. Но подумай: только теперь, и то с большим усилием – я нашел наконец тебя тогдашнего, прежнего тебя, самого предприимчивого из нас троих, веселых мушкетеров. В первый миг – признайся – обоим нам стыдно и жалко было глядеть друг на друга: так ужасно изжевали нас челюсти беспощадного времени, а злая жизнь покрыла наши лица, как корою, бороздами, морщинами, жестокими складками. Но, слава богу, теперь оттаяла, отпала вся нарощая кора. Ты опять тот же. Дай мне еще раз крепко пожать твои руки! Так! Здравствуй. Приветствую тебя в славном городе Тулузе. Гарсон! Литр белого вина. И оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом.

Ты говоришь – многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня: «Не опустился ли?» Нет, дружище: я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму.

Вот ты, давеча, вкратце рассказал о своем двенадцатилетнем бытии. Господи! что ни поворот судьбы, то целая эпопея. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал: «Ну, и крепкая же машинища человеческий организм!» А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине... жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания, в сравнении с твоими, – киндершпиль, детская игра... Но в них есть кое-что занимательное для тебя, а меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет подряд. Так слушай.

Ты уж, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из трех букв «Она»? Но здесь будет и о моей глупости, о том, как иногда, сдуру, в одну минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться... Ах! не повернешь...

В четырнадцатом году, как, может быть, ты помнишь, я сдал последние экзамены в Институте гражданских инженеров, а тут подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набирались вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жребий, будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего: и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги, разложение...

После armistice мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал контрмэтром, потом – шефом экипажа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе; всё бывшие люди различных классов. Жили дружно... Ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик, в две комнаты с кухонкой, и большая, под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да, что я тебе скажу: надумали мы всей русской артелью взбодрить, на паях, свое собственное дело: завод марсельской черепицы. Рассчитали – предприятие толковое... Но вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу?

Сначала-то нам скучновато было. Особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая: огромная выжженная солнцем плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря – вот и весь пейзаж.

Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась: закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего полтора часа... И компания у нас своя подобралась: я – бывший инженер, затем – бывший гвардейский полковник, бывший геодезист да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания не велика, але бардзо почтива¹, как говорят поляки.

Люблю я Марсель. Все в ней люблю: и старый порт, и новый, и гордость марсельцев, улицу Каннобьер, и Курс-Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор Владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная.

Так вот: однажды в ноябре, в субботу – скажу даже число – как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы, по английской моде, в полдень. Принарядились, как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный. Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной.

По обыкновению, позавтракали в старом порту неизбежным этим самым буйабезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным улочкам старого города с заходами для освежения, посетили выставку огромных, слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, угорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль: афиши обещали «Риголетто» с Тито Руффо.

Я всегда, по приезде в Марсель, останавливался в одной и той же гостинице, на другом краю города, в новом порту. Называлась она просто «Отель дю Порт». Это – мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших облупившихся золоченых рамках

¹ Но очень добропорядочна (искаж. польск. ale bardzo poczciwa).

старинные гравюры из морской жизни. Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении.

С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам, русским, а в особенности ярославцам, как я?

Хозяин был добродушный четырехугольный неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк, весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой, горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу, в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей Марсели. Куда этому чернокудрому красавцу! Гарсон, еще один гренадин с белым!

Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марсели. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря.

Какие диковинные посетители за столами!

Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками: фески красные, черные и вишневые; зеленые и белые тюрбаны, чалмы, плетенные из маисовой соломы, итальянские колпаки, маленькие, полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как вакса, с курчавыми, взбитыми, подобно войлоку, волосами; матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы, пестрый скачущий гомон разноцветных слов, и откуда-то – лень поглядеть откуда – вкрадчивые звуки гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий итальянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны, и у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила: «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы...» – «Дам тебе розы, если выйдешь за меня». А она отвечает: «Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего отца». – «Senti Sor Pré!»²

И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все, как на подбор, маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клекот хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки и скаля друг на друга матово-черные зубы. И вот Аллегрия (что значит по-испански – «веселость») накидывает на себя яркую мантилью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо закинутой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела. Гневные карие глаза, ноздри, раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах... Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь и с удивительным выражением высокомерного презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

– Сорте!³

Ах! Что дала бы Сара Бернар за такой жест и за такую интонацию!

² Спроси у отца (*неаполит. диалект*).

³ Прочь! (от *фр.* sortez)

Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим, гуськом, вышли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход, в связи с величественной позой Аллегии, был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно, так свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах.

И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то... нет, не бойся, я не слезлив... тут-то я с восторгом понял, что милостливая судьба или добрый бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял.

Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом – черт бы их всех побрал, – я бы смог ее описать: губы коралловые, зубы жемчужные, глаза как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее.

Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала шутя хозяйке, и Аллегория ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу – не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой, и если я любил других женщин, то лишь – в поисках за ней.

Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь?

Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье, с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью.

Она спросила:

– Что вы себе заказали? Мне лень выбирать по прейскуранту.

Я ответил:

– Устрицы, рыбу соль, швейцарский сыр и бананы.

– Закажите то же и мне. А вино будет мое. Согласны?

И, не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала гарсона.

Анри принес во льду бутылку шампанского вина, и когда я увидел марку «Мумм Кордон Руж», то немного испугался: если эта женщина так широко распорядится, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли? Говорю тебе, – в этот день я был дурак, а главное – так и остался дураком во все последующие дни. Я пробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно, это уже был не мой Анри, а ее слуга и раб.

Да она почти и не пила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино, и когда оно выпенилось, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием и очень красиво. А я сидел и думал: кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений? Или может быть... она работает на процентах в этом кабачке? Не аргентинка ли она?

Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился, да и какой бы мужчина не рассердился бы на моем месте? Рассердился и обнаглел.

И спросил грубо:

– А кофе мы будем пить у меня наверху? Не так ли? Анри, принесите нам наверх кофе и ликеры.

Ах, аллах Акбар! Если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой седьмой этаж! Если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокипом, как ласково она мне разрешила: «Курите, если хотите!» И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки...

– Потом, – сказала она.

Глава II

Дурные мысли

– Я прошу вас сесть, – сказала она, – и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Она опустилась на диван, так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порою лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал: «Ну, к чему эти объяснения, после внезапного и фамилиарного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет тридцать, тридцать пять, – и, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходят женщины к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и последних премьерах. А особенно ночью».

Не сделал ли я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви? Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяют, а те, которые отымаются насильно; что каждая женщина, даже вполне нравственная, вовсе не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением, и, наконец, что параграф первой любовной войны гласит: потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повториться. И так далее... Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини де Вальвер, рассказанный ею самую, уже в ее преклонных годах.

На ее карету напали в Сенарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой, очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления, но, – о, ужас! – очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете.

– Представьте, дамы и господа, – говорила де Вальвер, – вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть: «Oh, mon voleur, oh, mon charmant voleur!»⁴

Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами, и не оттого ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими осликами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление: никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду: после нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человеком.

– Я не скрою, – говорила она ласково, – я видела вас раньше, и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля.

Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном: руки в карманах рабочей блузы, короткие уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливости. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина да, пожалуй, у американцев. У французов – реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила: нет, не похоже.

⁴ О, мой вор, о, мой очаровательный вор! (фр.)

Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Работают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно.

Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. В вас очень много этого русского... как бы сказать, этого *quelque chose de* «Michica»⁵.

Я удивился:

– Много чего?

– De «Michica», чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных и, как только есть возможность, хожу в зоологические сады, в зверинцы, в цирки, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю! Напрасно на них клеветают, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры, а в их позах есть какая-то необъяснимая тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была бела, точно белое ожерелье, а на клетке написано: «Мишика. Сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, которые после армистиса возвращались домой, в Сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как «Мишика».

Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня.

– Очень странное совпадение, – сказал я. – Мишика – это и мое имя, данное мне при крещении.

И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку и как, неизвестно почему, наш народ зовет повсюду медведя Мишкой.

– Как странно! – сказала она и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абажур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила:

– Вы суеверны?

Я признался, что да.

– Как странно, – повторила она задумчиво, – как странно... Неужели это фатум? – И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила – то постоянно: или нежно гладила мои щеки, или, отделивши вихор на моей голове, навивала колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку на мое колено. Мы были вдвоем, мои губы еще помнили ее недавний неторопливый поцелуй, но предприимчивость кентавра уже покинула меня.

Она продолжала:

– Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастья. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю... Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю... не умею понять. Скучно...

– В другой раз я видела вас в соборе Notre Dame de la Garde, вы ставили свечку Мадонне. В следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями – вас было трое – наняли лодку у старого кривоглазого Онезима и поплыли на остров Иф. Скажу вам без лести, вы отлично гребете. И последний раз – сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного поколебало. Не правда ли? Но уверяю вас, я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива, а застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне казалось, что в вас я найду доброго друга.

– Друга! – вздохнул я меланхолично.

⁵ Нечто от «мишики» (фр.).

– Может быть, и больше. Я ничего не знаю наперед. Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан? Предупреждаю, я вам скажу или очень, очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в двенадцать. Согласны?

– Благодарю вас. Я здесь ночую. Может быть, проводить вас?

– Да, только до улицы. Внизу меня ждет автомобиль.

Я светил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно: ее кожа нежно благоухала резедой, так же, как ею пахнет море после прибоя и шейка девочки до десяти лет. Мальчишки – те пахнут воробьем.

«Monsieur Michica et madame Reseda», – подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.

Глава III Суперкарго

Вообрази себе большую бетонную комнату, в зеленоватом тусклом освещении. В ней нет ничего, кроме деревянного, некрашеного стола, на котором аккуратными рядами разложены штук тридцать-сорок голландских печных кафелей, ну, вот тех самых изразцов с незатейливым синим рисунком, которые нам так были любимы на наших «голанках». И на каждой из этих плиток мне приказано кем-то раскладывать правильными линиями, в строгом порядке, старые почтовые марки разных цветов, годов и стран, каждую – по своей категории. Но огромная бельевая корзина, стоящая на полу, подле меня, переполнена марками свыше верха. Когда, черт возьми, окончу я эту идиотскую работу? Глаза мои устали и плохо видят; руки тяжелы, неловки и не хотят меня слушаться; марки прилипают к пальцам и разлетаются во все стороны от моего дыхания.

Но не это самое главное. Самое важное в том, что окончания моей работы ждет нетерпеливо какая-то знакомая, но забытая мною, непонятная женщина. Она невидима, но угадывается мною. Она – вроде колеблющейся неясной фигуры духа на спиритических сеансах или туманного бледного образа, как рисуют привидения на картинах, и в то же время я знаю, что она телесная, живая и теплая, и чем скорее я разложу по местам марки, тем скорее увижу ее в настоящем виде. Надо только спешить, спешить, спешить...

Я просыпаюсь от спешки. Ночь. Тьма. Далеко в порту тонко, длинно и печально свистит катер или паровозик. Я никак не разберусь, где левая, где правая сторона кровати, и долго шарю руками в черной пустоте, пока не натыкаюсь на холодную стену. Дыхание у меня коротко, сердце томится. Нахожу кнопку и надавливаю ее. Свет быстро разливается по комнате. Смотрю на часы: какая рань. Два без десяти.

И опять засыпаю. И опять гладкие, зеленоватые бетонные стены, опять белые сине-узорчатые изразцы, опять капризные, проклятые марки... опять загадочный, видимый и невидимый образ женщины, и опять просыпаюсь с томлением в сердце. Курю, пью воду, гляжу на часы, укладываюсь на другой бок и опять засыпаю и вижу тот же самый сон, и снова и снова... Мучение. Я знаю давно, что эти надоедливые, какие-то многостворчатые составные выдвигаемые сны снятся после больших душевных потрясений или накануне их.

Последний раз я проснулся оттого, что моя постель внезапно затряслась от мелких содроганий. Ревел в порту огромный океанский пароход. Ревел поразительно низко, густо и мощно, точно под моей комнатой, а на черном фоне этого апокалипсического рева вышивал золотые спирали своей утренней песни ничем непобедимый петух. Из узких прямых прорезей в окнах струился параллельными линиями голубоватый свет утра.

Ночные сонные образы еще бродили неуловимо в полутемной комнате: бетонная комната, изразцы, марки, нелепый труд, отяжеление сердца... Сны ведь долго не покидают нас; их вкус, их тон иногда слышатся на целый день. Но они таяли, таяли, а когда я распахнул настежь ставни, то исчез и их отдаленный отзвук.

Было семь часов. Можно было бы разбудить Анри, но я предпочел спуститься вниз. Ресторан был еще заперт, а выход из отеля был на внутреннем крючке. Я вышел на улицу, прошел налево и в маленьком кабачке угольщиком выпил кофе с ромом. Потом вернулся домой и, не раздеваясь, крепко заснул – без снов.

Точно в десять часов, как и было условлено, ко мне вошел Анри с кофеем, молоком и круассанами. Обменялись добрым днем. Я льстил Анри. Я его назвал и моим стариком, и моим добрым другом. (Ведь мы были давно знакомы.)

Я его спросил:

– Скажите, Анри, кто была эта вчерашняя дама?

Он сделал глупое лицо – скосил глаза и слегка разинул рот.

– Дама, мсье? Какая дама?

У этого бандита был совершенно невинный вид.

Я рассердился.

– Черт бы вас побрал, мой очень дорогой Анри! Да та самая дама, которая со мною сидела вчера, рядом, в ресторане, внизу.

– Увы, я не помню, мсье. Как хотите, не помню.

– Ну, та самая, которая потребовала шампанское «Мумм».

– Извините меня, мсье, уверяю вас, что не помню.

– Ах, черт! Наконец, та самая, которая уплатила весь счет, хотя я и показывал вам знаками, что вы меня ставите в самое идиотское положение. Не стройте же дурака, мой старый Анри, прошу вас.

Но Анри был холоден, непроницаем и равнодушен.

– Что вы хотите от меня, дорогой господин? У нас в ресторане бывают ежедневно сотни мужчин и дам. Трудно всех упомянуть. Добрый день, мсье.

– Нет, нет, постойте. Та самая дама, для которой вы подавали сюда, вот в эту комнату, ликеры.

– О, мсье, вы сегодня проснулись в дурном расположении духа... Простите, что я покидаю вас. Мне еще надо обслужить двадцать комнат. Добрый день, мсье.

И он исчез. Такой злодей!

Кому неизвестен странный каприз времени: когда торопишься, когда каждый миг дорог, то часы летят, как минуты. Но когда ждешь или тоскуешь – минуты растягиваются в часы. Я не знал, куда девать эти два часа. Зашел побриться, купил цветов – гвоздики и фиалок, – купил засахаренных каштанов, и еще много у меня оставалось досуга, чтобы побродить по набережной. После вчерашнего дождя и шторма был ясный солнечный день, тихий и теплый, и вся Марсель казалась заново вымытой. Я с удовольствием, расширенными ноздрями втягивал в себя крепкие запахи большого морского порта. Пахло йодом, озоном, рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и чуть-чуть резедою. В груди моей вдруг задрожало предчувствие великого блаженства и тотчас же ушло.

Ровно в двенадцать часов я спустился в ресторан. Моя знакомая незнакомка была уже там и сидела на том же месте, что и вчера вечером. На ней было темно-красное пальто и такая же шляпка, на плечах широкий палантин из какого-то зверька, порыжее соболя, но такого же блестящего. О, боже мой, как она была прекрасна в этот день, я не могу, не умею этого рассказать.

Она была не одна. Против нее сидел молодой моряк. О профессии его легко можно было догадаться по золотым якорям, по золотому канту на рукавах и еще по каким-то золотым эмблемам... Я не знаю, как у других, но у меня всегда, с первой минуты знакомства с человеком, укрепляется в памяти, кроме его разных имен и званий, еще какое-то летучее прозвище, моего собственного мгновенного изобретения. Оно-то и остается всего прочнее в памяти. Этого молодого моряка я мысленно назвал «Суперкарго». Откровенно говоря, я не знаю, что это за морской чин. Знаю только, что гораздо ниже шкипера, но немного выше матроса. Что-то около боцмана... Так он и запал у меня в память с этим титулом.

Заметил я также, что он очень красив. Но все это только по первому быстрому поверхностному взгляду. Несколько минут спустя я убедился, что он не только очень, но исключительно, поразительно, необычайно хорош собою. Не скажу – прекрасен. Прекрасное – это изнутри. Иногда вот бывает дурнушка, совсем не видная и плохо сложенная, с веснушками около носа. Но как поднимет вдруг ресницы, как покажет на мгновение золотое и ласковое сияние глаз, то сразу чувствуешь, что перед этой прелестью померкнет любая патентованная красавица. Видел я также лицо одного морского капитана во время тайфуна в Китайском море.

В обычной жизни был он уж очень неказист, такая распрорусская лупетка, и нос картофелем. Но во время урагана, когда вокруг рев, грохот, крики, стоны, ужас, близкое дыхание смерти... когда он держал в своих руках жизнь и волю сотен человек – что за прекрасное, что за вдохновенное было у него лицо!

Но в сторону беллетристику. Скажу просто, что этот суперкарго был красив совершенной итальянской, вернее даже, римской красотой. Круглая римская голова, античный профиль, великолепного рисунка рот. Его волнистые бронзовые волосы выгорели и пожелтели на концах. Лицо так сильно загорело, что стало, как у мулата, кофейным. И большие блестящие голубые глаза. Ах, знаешь, никогда мне не нравилось, если на смуглом фоне лица – светло-голубые глаза; в этой комбинации какая-то жесткость и внутренняя пустота. Ну, вот, как хочешь, не верю и не верю я таким лицам.

Я наклонился, целуя, по русскому, довольно-таки нелепому обычаю, руку у дамы и тотчас же, не глядя, почувствовал на своей спине враждебный взгляд моряка.

Она сказала:

– Познакомьтесь, господа.

Стоя, я уже готовился протянуть руку, но сразу сдержался. Суперкарго, не вставая, тянул руку как-то боком ко мне, что, конечно, можно было принять за невежество или небрежность. Я кивнул головой и сел.

Разговор за столом еле-еле вязался. Говорили о погоде, о Марсели, о кораблях. Я заказал себе вермут с касиссом. Дама спросила тот же аперитив. Суперкарго вдруг повернулся ко мне.

– Вы, кажется, иностранец, мсье, если я не ошибаюсь, – сказал он и слегка прищурил голубые глаза.

Я ответил сухо:

– Мне кажется, что мы все здесь в Марсели иностранцы?

– А не могу ли я спросить, какой нации мсье?

Тон его был нагл. Жестокость взгляда и очень плохое французское произношение усиливали мою антипатию к нему. Во мне закипало раздражение, и в то же время я чувствовал себя очень неловко. Ох, не терплю я таких трио, когда около хорошенькой женщины двое мужчин оскальчивают друг на друга клыки и готовы зарычать, как ревнивые кобели, простите за грубое сравнение.

Но я еще не терял самообладания.

Я ответил, по возможности, спокойно:

– Я русский.

Он искусственно засмеялся.

– А-а. Русский...

– Я из великой России, где образованные люди знали, что такое обыкновенная вежливость.

Он сказал с деланой балаганной надменностью:

– И вы, вероятно, дали бы мне маленький урок этой вежливости, если бы у вас хватило на это смелости? Вы, русские, известные храбрецы. Вы это блестяще доказали, бросив во время войны своих союзников.

Тут я должен, кстати, сказать об одном моем свойстве, вернее, об одном органическом пороке. По отцу я, видишь ли, добрый и спокойный русопет, вроде ярославского телка, но по материнской линии я из татар, в жилах которых текут капли крови Тамерлана, хромого Таймура, и первый признак этой голубой крови – неистовая, бешеная вспыльчивость, от которой в ранней молодости, пока не обуздал себя, я много и жестоко пострадал. И вот, глядя теперь в упор на итальянца, я уже чувствовал, как в голову мне входит давно знакомый розовый газ – веселый и страшный.

Я быстро встал. Встал и он момент в момент со мною вместе, точно два солдата по команде.

У меня уже были готовы, уже дрожали на губах те злые, несправедливые слова, после которых мужчины стреляют друг в друга или, схватившись, яростно катаются по полу. Я хотел ему напомнить об известной всему миру резвости итальянских ног во всех войнах при отступлении, у меня был также наготове Негус Абиссинский, его голые дикари, вооруженные дротиками, и паническое бегство храбрых, нарядных берсальеров.

Я увидел, как его рука быстро скользнула за пазуху, но в тот момент не придал этому жесту никакого значения. Розовый газ в моей голове густел и делался красным.

– Siede (сядь)! – раздался вдруг повелительный женский голос. Это крикнула моя незнакомка, и суперкарго моментально опустился на стул. В этой стремительной послушности было, пожалуй, что-то комическое. Ведь во всяком итальянце живет немного от Пульчинелло. Но рассмеялся я лишь полчаса спустя.

Я пришел в себя и провел рукой по лбу. Меня немного качнуло в сторону.

Я сказал, стараясь взять беззаботный тон:

– Впрочем, мне кажется, что мы совсем напрасно завели при даме политический и национальный диспут. Ведь это такая скучная материя...

И прибавил, обращаясь к суперкарго:

– Но если угодно будет продлить наш интересный разговор, я к вашим услугам. Я остановился здесь же, в отеле, номер семнадцать. Всегда буду рад вас увидеть.

Суперкарго хотел было что-то ответить, но она одним легким движением руки заставила его замолчать. Я низко поклонился даме. Она сказала спокойно:

– Прошу вас, не уходите из своей комнаты. Через десять минут я приду к вам.

Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнил быстрый, коварный жест итальянца и понял, что он полез за ножом. Мне стало немножко жутко.

«Ведь, пожалуй, мог бы, подлец, распороть мне живот».

Глава IV Мишика

Признаюсь, нелегко у меня было на сердце, когда я ходил взад и вперед по моей отдельной комнате, похожей на просторную низкую каюту. Волнение, вызванное внезапной ссорой с итальянским моряком, еще не улеглось во мне.

Зачем она познакомила нас? Что у нее общего с этим смуглым и голубоглазым Антиномем? Чем объяснить его дерзкую придирчивость? Неужели ревностью? Как мне теперь держать себя с моей прекрасной дамой? Вчера она обещала сказать мне много-много или ничего... Что она скажет?

Я попал в какой-то запутанный ребус. Но – говорю правду – ни одна косая, ни одна враждебная мысль не возникала во мне по поводу моей странной незнакомки. Я вызвал в памяти ее прелестное лицо, ее милый голос, ее руки и чувствовал, что верю ей непоколебимо.

В дверь громко постучали тройным ударом. Я крикнул «*entrez*»⁶ и поднялся навстречу.

В комнату вошел суперкарго. Теперь, когда он был на ногах, я увидел стройность и крепость его сложения и быстро подумал: неужели опять ссора? Розовый воинственный газ уже испарился из моей головы. Новое буйное опьянение гневом мне представлялось скучным и противным.

Он шел ко мне с открытой протянутой рукой, с ясными и смелыми глазами.

– Простите меня, – сказал он просто. – Я был виноват, затеяв этот глупый разговор, и я недостойно держал себя.

Мы пожали друг другу руки. Он продолжал спокойным, но внутренне дрожавшим голосом:

– Вся беда в том, что я увидел, как вы поцеловали ее руку. Я забыл, что у вас на севере это – самый простой обычай. У нас же, на юге, целуют руку только очень близкой женщине: матери, жене, сестре. Я не знал, как объяснить ваш жест: фамильярностью, дерзостью или... или... еще чем-нибудь. Но я уже принес вам извинение. Позвольте мне выпить воды.

На моем ночном столике не было стакана. Он взял графин и стал пить из горлышка с такой жадностью, что я слышал его глотки и я видел, как дрожала его рука.

Напившись, он вытер рот ладонью и сказал с суровой торжественностью:

– Да хранит синьору Пресвятая Ностра Дама делля Гварда Марсельская и все святые.

Я не мог удержаться от вопроса:

– Вы говорите так, как будто «синьора» близка вам?

Он отрицательно замотал указательным пальцем перед носом.

– Нет, нет, нет, нет. Можно ли быть близким солнцу? Но кто мне может запретить обожать синьору? Если бы ей предстояло уколоть свой маленький палец иголкой, то я, чтобы предотвратить это, отдал бы всю мою кровь... Прощайте же, синьор. Я думаю, вам не трудно будет передать синьоре, что мы расстались друзьями.

Еще раз мы протянули друг другу руки. Пожатие его мозолистой ладони до боли сдавило и склеило мои пальцы.

Я внимательно взглянул на него и поразился тому, как чудесно изменились его глаза. В них уже не было прежней неприятной жестокости: они посинели и смягчились; они блестели теми слезами, которые выступают, не проливаясь. Отвратительно видеть плачущего мужчину, но когда у сильного и гордого человека стоят в покрасневших глазах эти теплые слезы, которые

⁶ Войдите (*фр.*).

он сам каким-то усилием воли заставит высохнуть, то, право, лицо его на мгновение становится прекрасным.

– Баста! – сказал моряк, бросая мою руку. – Да хранит Бог синьору: она лучше всех на свете. Я уже никогда больше не увижу ни ее, ни вас.

– Почему вы так говорите? Мир не особенно велик. Может быть, встретимся.

– Нет, – сказал он с покорным вздохом, – я уверен: раньше, чем кончится этот год, – я утону в море. Гитана в Кадиксе предсказала мне два события, которые произойдут почти рядом. Одно случилось сегодня. Прощайте, синьор.

Он простился и вышел, не оглянувшись. Мне слышно было, как он сбегал по каменной лестнице с той быстротой, с какой только молодые моряки умеют спускаться по трапам.

Я ждал ее. И слышал биение своего сердца. Кто из нас не волновался перед свиданием, на котором нам обещано много-много? Но теперь было совсем другое. Я чувствовал, что за дверью молчаливо стоит моя судьба и вот-вот готова войти ко мне. Я испытывал ту странную усталость, ту ленивую робкую вялость, которые, как отдаленное пророчество, говорят нам о близости великого жизненного перелома. Я думаю, что такое духовное краткое изнеможение должны переживать монархи перед коронацией и приговоренные к смерти в ожидании палача.

Издали-издали, снизу, до меня донесся быстрый, легкий, четкий стук ее каблучков. Я поспешил спуститься и встретился с ней на площадке. Она обеими руками обняла мою шею. Прикасаясь губами к моим губам, она жарко шептала:

– Мишика, мой милый Мишика, я люблю тебя, Мишика. Мы свободны, о мой Мишика, о мой милый Мишика!

Так мы останавливались на каждой площадке. А когда мы пришли в мою комнату, она нежно взяла меня ладонями за виски, приблизила мое лицо к своему и, глядя мне глубоко в глаза, сказала со страстной серьезностью:

– Я твоя, Мишика... В счастья и в несчастья, в здоровье и в болезни, в удаче и неудаче. Я твоя до тех пор, пока ты хочешь, о мой возлюбленный Мишика!

Потом вдруг встряхнула головой и сказала:

– Я велела завтрак принести к тебе, наверх. Будем одни, не так ли, Мишика?

Глава V

Мария

В это воскресенье я совсем позабыл о моих заводских друзьях, которые, по уговору, дожидались меня в старом порту, против старого ресторана Бассо, знаменитого на весь мир своим огненным буйабезом. Забыл я также и о самом заводе: не поехал туда ни в понедельник, ни во вторник, взял по телеграфу отпуск. Эти дни навсегда, неизгладимо врезались в моей памяти. Я помню каждое слово, каждую улыбку; теперь это – моя тайная шкатулка с сокровищами...

Не знаю, может быть, было бы и некстати, что я заговорил о суперкарго, но мне это казалось каким-то неизбежным долгом. Я рассказал ей о нашем искреннем примирении, о его красивом мужестве, о его благоговении перед ней и о том, как он благословлял ее имя. Когда я упомянул о его предчувствии близкой смерти, мне показалось, что она побледнела. Немного помолчав, она сказала:

– Надо, чтобы ты знал все. Почти год назад я его любила. И он любил меня. Нам пришлось надолго расстаться. Он должен был идти в кругосветное путешествие. Мы не давали друг другу клятв во взаимной вечной верности. Такие клятвы – смешной и обидный вздор. Я сказала только, что буду ждать его возвращения и до этого срока не полюблю никого. Первое время я, правда, немного тосковала. Но не умею сказать почему – время ли постепенно заглушало мои чувства, или любовь моя к нему была не очень глубока – образ его скоро стал как-то стусевываться в моем воображении, расплываться, исчезать. Наконец, я позабыла его лицо. Я старалась воскресить в памяти наши счастливые часы и минуты... и не могла. Я поняла, что не люблю его больше. Он знал меня. Он верил мне. Он знал, что никакая сила не заставила бы меня изменить ему в его отсутствие.

Я тебе должна признаться – хотя это мне немножко и стыдно, – что когда я увидела тебя в первый раз, то мгновенно почувствовала, что ты будешь моей радостью и я буду твоей радостью. Нет, нет, я себя не воображала какой-то победительницей, хищницей, соблазнительницей, но я ясно почувствовала, что очень скоро наши сердца забьются в один такт, близко-близко друг к другу. Ах! эти первые, быстрые, как искра в темноте, летучие предчувствия! Они вернее, чем годы знакомства.

Мне трудно было удерживать себя, и я сделала несколько маленьких глупостей вчера.

Ты простил меня. Но все-таки я не изменила. В любви, даже в прошлой, нет места лжи.

Я ему сказала, что люблю тебя. Он сразу покорился судьбе. Это не я заставила его подняться к тебе. Он сам понял свою вину. Он принял тебя за обыкновенного нагловатого искателя приключений, и когда ты поцеловал мою руку – это показалось Джиованни вызовом ему и неуважением ко мне...

Легкая, почти неуловимая вуаль печали скользнула по ее лицу и прошла. Она сказала:

– Довольно о нем! Не правда ли? Его нет между нами.

Я согласился. Да. Но горька и тяжела мне была эта странная минута, когда вся Марсель, глубоко погруженная в темноту ночи, беззвучно спала. Я невольно снова вспомнил моего предшественника таким, каким я его видел у меня, при прощании, и невольно подумал о себе. Я себя увидел грузным, с ленивой перевалкой, серые глаза широко расставлены в стороны, курчавые соломенные волосы, бычий лоб... И на сколько лет он был моложе меня!..

А на рассвете, в косых золотых лучах утреннего солнца, она, после бессонной ночи, вдруг так похорошела, так порозовела и посвежела, ну вот как будто бы она в это утро каталась на коньках и пришла домой, вся благоухающая снегом и здоровьем.

Она сидела перед зеркалом, прибирала свои бронзовые волосы и говорила не со мной, а с моим отражением в зеркале и улыбалась радостно то себе, то мне.

– Давать в любви обещания и клятвы... разве это не грех перед Богом, разве это не тяжкое оскорбление любви? Хуже этого, пожалуй, только ревность. Недаром в Швеции ее называют черной болезнью. Ты ревнуешь, значит, ты не веришь моей любви и, значит, хочешь любить меня насильно, против моей воли и против моего желания. Нет, уже лучше сразу конец. Обида – плохая помощница любви.

Или, например: вот прошло некоторое время, и скучны тебе стали, приелись мои ласки. Вместо праздника любви наступили утомительные, мутные будни. Скажи мне прямо и просто, как другу: прощай. Поцелуемся в последний раз и разойдемся. Что за ужас, когда один не любит, а другой вымаливает любовь, как назойливый нищий!

Ну, вот и все, Мишика, что я хотела сказать. Пусть это будет наш брачный контракт, или, если хочешь, наша конституция, или еще: первая глава в катехизисе любви.

Она подошла ко мне, обняла меня, прильнула губами к моим губам и стала говорить шепотом, и слова ее были как быстрые поцелуи:

– Под этим договором подписываюсь я, Мария: и вот эти руки, эти глаза, эти губы, и все, что есть у меня в сердце и в душе, принадлежит тебе, Мишика, пока мы любим друг друга.

И я ответил также шепотом:

– Этот договор подписываю и я, твой собственный покорный Мишика.

Глава VI «Колья»

– Знаешь ли что, мой дружок? Этот самовлюбленный карачаевский барашек мне совсем надоел своей бестолковостью. Давай-ка перекочем отсюда? Тут недалеко, за углом, я знаю один укромный кабачок, где дают превосходный кофе и настоящий английский ямайский ром. *Garçon, addition!*⁷ Не стоит благодарности, Нарцисс Тулузский. *Voir!*⁸

* * *

– Я был дружен с этой женщиной год и четыре месяца. Заметь, я говорю – дружен, потому что не могу сказать – близок: в свою душу она меня не пустила и почти никогда не пускала. Не смею также сказать, что жил с нею. Она испытывала брезгливый ужас при одной мысли о том, что два свободных человека – мужчина и женщина – могут жить в течение многих лет совместно, каждые сутки, с утра до вечера и с вечера до утра, делясь едою и питьем, ванной и спальней, мыслями, снами, и вкусами, и отдыхом, развлечениями, деньгами и горестями, газетами, книгами и письмами, и так далее, вплоть до ночных туфель, зубной щетки и носового платка... Брр!.. И эта тесная жизнь длится до тех пор, пока оба не потеряют окончательно всю прелесть и оригинальность своей личности, пока любовь, в которой ежедневная привычка погасила стремительные восторги, не станет регулярной необходимостью или чуть-чуть приятным удовольствием, которое, впрочем, так легко заменимо ложей в опере или интересным сеансом в синема.

Я передаю не ее слова, а только смысл ее слов. Ее речь бывала всегда мягка и осторожна.

Однажды я спросил ее:

– А как же быть, если... дети?

Она глубоко, глубоко вздохнула. Потом, помолчав немного, сказала печальным голосом:

– Вот именно, этого я и не знаю. Я никогда бы не осмелилась противиться законам природы. Но Богу, должно быть, неужгодно послать мне такое счастье. Я не могу себе представить, что бы я думала, чувствовала и делала, ставши матерью. Но, прости меня, мне немножко тяжело говорить об этом...

Да, должен сказать, что я в первое время задавал ей слишком много ненужных и, пожалуй, бестактных вопросов. Надо сознаться: мы, русские интеллигенты, всегда злоупотребляем свободой делать пустые и неуклюжие вопросы как старым друзьям, так и встречным пассажирам: «Откуда идете? Куда? А что это на глазу у вас? Никак, ячмень?»

– Ну да, ячмень, черт бы тебя побрал, но вовсе не ячмень мне досаждал, а то, что до тебя тридцать таких же идиотов предлагали мне тот же самый вопрос: «Сколько вам лет? А вашей жене? Что же вы, батенька, так похудели? А почему это ваш сын не похож ни на мать, ни на отца?»

И без конца: где? куда? зачем? почему? сколько?

Русский мужик, солдат, рабочий был куда меньше повинен в такой развязности.

Несколько недель понадобилось мне до полного утверждения мысли, что одинаково противны и дурацкий вопрос, и надоедливое изливание души. Вот тут-то, дорогой мой, и надо всегда помнить мудрое правило: не делай ближнему того, что тебе самому было бы противно.

⁷ Гарсон, счет! (*фр.*)

⁸ Здесь: вот так! (*фр.*)

Мария никогда не показывала неудовольствия или нетерпения. Иногда она точно не слышала моего вопроса, а если я повторял его, мило извинялась, иногда говорила: «Право, мой Мишика, это тебе неинтересно». Но чаще она ловко и нежно переводила разговор в другое русло.

Однажды ночью, лежа без сна в своем заводском павильоне, я, по какой-то случайной связи мыслей, вспомнил о моем давнем дружке, о Коле Констанди. Жил такой грек в Балаклаве, владелец и атаман рыбацкого баркаса «Светлана», великий пьяница и величайший рыбовод, который был в наших выходах в море моим добрым наставником и свирепым командиром. Однажды он утром на набережной возился над своим баркасом, очевидно, готовя его в долгий путь. Я спросил:

– Куда, Коля, пойдешь?

Он мне ответил сурово:

– Кирийа Мегало (что означало «господин Михайло» или – иначе – «большой господин»), никогда не спрашивайте моряка, куда он идет. Пойдет он туда, куда захотят судьба и погода. Может быть, в Одест, на Тендровскую косу, а если подымется трамонтана, то, пожалуй, унесет в Трапезунд или Анатолию, а может, и так случится, что вот, как я есть, в кожаных рыбацких сапогах, придется мне пойти на морское дно, рыб кормить.

Это был хороший урок. Но что значит упорная воля привычки? Несколько дней спустя я увидел, что Коля, разостлав на мостовой скумбрийные сети, ползает по ним, как паук по паутине, штопая порванные ячейки, и спросил его:

– Где будешь бросать сети?

Вот тут-то он и привел меня в рыбацкую веру.

– Я же тебя учил, трах тарарах, что моряка, трах тах тах, никогда не спрашивают, тарарах тах тах... – и пошло и пошло рыбацье проклятие, в котором упоминаются все одушевленные, неодушевленные и даже отвлеченные предметы и понятия, за исключением компаса и Николая Угодника...

И вот в ночном свете этого далекого грубого воспоминания я вдруг глубоко почувствовал, как я был неправ, скучен и назойлив в моем насильственном питании чужой гордой души. Я спрашивал, например: изо всех тех, кто тебя любили, кого ты любила страстнее? Или: многих ли ты любила до меня? Ты еще думаешь о своем молодом моряке Джиованни? Тебе жаль его?

Ах, это русское ковыряние в своей и чужой душе! Да будет оно проклято! В эту бессонную одинокую ночь я в темноте несколько раз краснел от стыда за себя.

На другой день я рассказал ей о моем миллом грекондосе, и по тому, как весело, нежно и благодарно заискрились ее глаза, я увидел, что она поняла и приняла мое покаяние и мое обещание. С той поры я перестал быть нищим вопрошателем.

Я верно угадал, что покаянный рассказ этот дойдет до ее сердца. Она была в восторге от моего «Колья», пропитанного водкой, табаком и крепким рыбным запахом. Она заставила меня рассказать ей все, что я помнил о Коле Констанди, о Юре Паратино, о всех Капитанаки и Панаиоти, о Ватикиоти и Андруцаки, о Сашке Аргириди, о Кумбарули и прочих морских пиндосах. Она без конца готова была слушать меня, когда я говорил ей о всевозможных родах ловли, – о всех опасностях неверного рыбацкого промысла, о героических преданиях, о морских легендах и суевериях, даже о нелепых шумных кутежах после богатого улова белуги.

– Мой обожаемый медведь! – сказала она, прижавшись тесно ко мне. – Поедем туда, к твоему «Колья». Хочешь, сегодня же поедем?

А когда я объяснил ей, почему поехать в теперешнюю Россию нам совсем невозможно, она вдруг расплакалась, как девочка, горько и обильно...

У нее была удивительная способность превращать кратчайшим путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми для рыбака, и в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет максимально

дозволенного веса. Там были уложены две теплые морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние – для ловли на перемет камбалы и морского петуха – и самые большие для переметов на белугу, а так как оставалось еще немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона, которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности Балаклавы. Девяносто девять шансов было за то, что посылка не дойдет. Мы надеялись на сотый.

Глава VII

Трактат о любви

Вижу, дружище, что я тебя совсем заговорил. Потерпи. Иду теперь широкими шагами к концу.

О, как много она мне дала и какой я перед ней неоплатный должник! Она была очень умна, во всяком случае, гораздо умнее меня. Но ее ум не стеснял, не подавлял: он был легкий, непринужден и весел, он быстро схватывал в жизни, в людях, в книгах самое главное, самое характерное и подавал его то в смешном, то в трогательном виде: злого и глупого он точно не замечал.

В любви Мария была, мне кажется, истинной избранницей. Знаешь ли, какая мысль приходит теперь мне часто в голову? Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено все живущее, растущее и движущееся в мире, от клеточки до Наполеона и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цветку, перлу и завершению творения, ниспосылается полностью великий таинственный дар любви. Но посылается совсем не так уж часто, как это мы думаем. Случаи самой высокой, самой чистой, самой преданной любви выдуманы – увы! – талантливыми поэтами, жаждавшими такой любви, но никогда не находившими ее.

Видишь: все мы мыслим, я полагаю, непрерывно, в течение всей жизни. Но настоящих философов человечество знает не больше десяти-двадцати. Все мы сумеем нарисовать фигуру человечка: кружок, с двумя точками-глазами, и вместо ног и рук четыре палочки. Миллионы художников рисовали немного лучше, а иные и гораздо лучше, но ведь есть пределы: никто не мог добраться до Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта. Кто из нас не умел промурлыкать легонький мотивчик или подбирать его одним пальцем на пианино? Но наши музыкальные способности совсем не сродни гению Бетховена, Моцарта или Вагнера и не имеют с ними ни одной общей душевной черты.

Иные люди от природы наделены большой физической силой. Другие рождаются с таким острым зрением, что свободно, невооруженным глазом, видят кольца Сатурна. Так и любовь. Она – высочайший и самый редкий дар неведомого Бога.

Подумай-ка. Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и занимались этим в течение миллионов лет. Но много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, о любви, которая выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти? И неужели ты не согласен со мною, что дар любви, как и все дары человеческие, представляет собою лестницу с бесконечным числом ступенек, ведущих от влажной, темной, жирной земли вверх, к вечному небу и еще выше?

Что? Бред, ты говоришь? Не оспариваю. Когда сидишь ночью с другом в кабачке, не грех сболтнуть лишнее. Позволь только напомнить тебе о том, что была эпоха, когда человечество вдруг содрогнулось от сознания того болота грязи, мерзости и пакости, которые засосали любовь, и сделало попытку вновь очистить и возвеличить любовь, хотя бы в лице женщины. Это средневековое рыцарство с культом преклонения перед прекрасной дамой. И как жаль, что это почти священное служение женскому началу выродилось в карикатуру, в шутотрагедию...

Но кто знает грядущие судьбы человечества? Оно столько раз падало ниже всякого животного и опять победоносно вставало в почти божеский рост. Может быть, опять придут аристократы духа, жрецы любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее поклонники...

Баста. Я уже говорил тебе о десяти философах. Мне все равно не быть одиннадцатым. Тем более что один из этих мудрецов очень тонко намекнул нам: «Помолчи – и будешь философом». Гарсон, бутылку белого бордо! Я хочу тебе только сказать, друг милый, что она, моя

волшебная Мария, была создана богом любви исключительно для большой, счастливой, доброй, радостной любви и создана с необыкновенно заботливым вниманием. Но судьба сделала какую-то ошибку во времени. Марии следовало бы родиться: или в золотой век человечества, или через несколько столетий после нашей автомобильной, кровавой, торопливой и болтливой эпохи.

Ее любовь была проста, невинна и свежа, как дыхание цветущего дерева. При каждой нашей новой встрече Мария любила меня так же радостно и застенчиво, как в первое свидание. У нее не было ни любимых словечек, ни привычных ласк. В одном она только оставалась постоянной: в своем неизменном изяществе, которое задушевывало и скрашивало грубые, земные детали любви.

Да. Повторяю, у нее был высший дар любви.

Но любовь крылата! Ты, может быть, заметил, дружок, что на свете есть люди, как будто нарочно приспособленные судьбою для авиации, для этого единственно прекрасного и гордого завоевания современной техники? У этих прирожденных летунов как будто птичьи профили и птичьи носы; подобно птицам, они обладают неизъяснимым инстинктом опознаваться в дороге; слух у них в обоих ушах одинаков – признак верного чувства равновесия, и они с легкостью приводят в равновесие те предметы, у которых центр тяжести выше точки опоры. Для таких людей-птиц заранее открыто воздушное пространство и вверх, и вниз, и вдаль. Смелый летчик, но не рожденный быть летчиком, запнется на первой тысяче метров и потеряет сердце.

Я расспрашивал знакомых авиаторов об их ранних молодых снах. Ведь известно, что все люди во снах летают, кроме окончательно глупых. Но оказалось, что летуны по призванию летали выше домов, к облакам. Летчики-неудачники – те только с трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном прыжке. Любовь – такое же крылатое чувство. Но, сравнивая себя в этом смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла, я же летал, как пингвин. Вначале я очень остро и, пожалуй, даже с обидой чувствовал ее духовное воздушное превосходство надо мною и мою собственную земную тяжесть, отчего невольно – признаюсь в этом – бывал смущен и неловок и часто сердился на самого себя. Конечно, это была простая мужская мнительность; воображение то и дело подсказывало мне разные нелестные уподобления. Она бывала иногда богиней, снизошедшей до смертного, матроной, отдающей рабу-гладиатору, принцессой, полюбившей конюха или садовника. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо освещенных закоулочках, бродят такие полумысли, полочувства, полуобразы, о которых стыдно говорить вслух даже другу, такие они косолапые.

Но скоро все эти угловатости сгладились: так мила, так предупредительна, так нежна, догадлива была Мария, так щедра, скромна и искренна, она была в любви так радостна, она любила жизнь, и такая естественная теплая доброта ко всему живущему исходила из нее золотыми лучами.

Да, дружок, в душе моей сохранилось много, много сладких чудесных воспоминаний, заветных кусочков нашей неповторимой жизни. Это – целая книга. Перелистывая ее страницы, я испытываю жестокое, жгучее наслаждение, точно бережу рану. Мучаюсь мыслью о невозвратности времени, и в этом моя горькая утеха, мой любовный запой. Часто жалею я о том, что у меня не осталось от Марии никакой вещи: ленточки, локона волос, сухого цветка, гребенки, перчатки, платка или хоть какой-нибудь неодушевленной пуговицы. Тогда мои воспоминания были бы еще глубже, еще мучительнее и еще слаще.

Но в ту пору я глядел на такие сувенирчики презрительным оком холодного реалиста и серьезного дельца.

Да и надо – что поделаешь, – надо признаться, что нежная и страстная, кроткая и всегда радостная любовь Марии, ее трогательная ласка, ее здоровое веселье и преданность – понемногу, день ото дня, все более притупляли то мое выдуманное самоуничижение перед моей

любовницей, которое раньше столь тяготило и связывало меня. Я уже не искал с жадностью ее ласк, я с удовольствием позволял ласкать себя. Вечная история с мужчинами, вообще склонными в любви задаваться.

Это я сам однажды понял и почувствовал в одно яркое мгновение. Весенним, теплым и ароматным вечером мы с Марией сидели в густой прекрасной аллее улицы Курс-Пьер-Пюже. Мы молчали. Голова Марии лежала у меня на плече. И вот она, обняв меня и прижавшись ко мне, сказала тихо и медленно, точно раздумывая и проверяя вслух свои мысли:

– Знаешь что, Мишика. Я чувствую теперь, что до тебя я никого не любила. Я хотела любить и искала любви, но все, что я узнала, – это была не любовь, а ошибка... может быть, невольная ложь перед самой собой. А теперь мне кажется, что я нашла и себя, и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные, но которая из миллионов людей дается только одной паре.

Я не ответил. Я молча погладил ее волосы. Но в сердце у меня зашевелилось нехорошее чувство. Что это? Неужели покушение на мою свободу? Старая, знакомая, скучная песенка?

О, осел! Глупый, неблагодарный осел! Питайся теперь бурьяном и чертополохом и обливай колючки едкими слезами. Колесо времени не остановишь и не повернешь обратно.

Глава VIII

Мадам Дюран

Все течет во времени, и ко многому привыкаешь понемногу, незаметно для самого себя. Я уже чувствовал себя почти мужем Марии. Когда она бывала у меня в гостинице «Порт», нередко мы замечали, что наши мысли идут параллельно; часто мы произносили одновременно одно и то же слово; привычки и вкусы становились общими.

Низкую и обширную каюту свою с окнами в виде иллюминаторов я устроил совсем в корабельном стиле: повесил на стену большой барометр, спасательный круг и пробковый пояс; укрепил на подоконнике компас, а самый подоконник расчертил радиусами на тридцать два румба; к потолку подвесил полотняный гамак – корабельную койку. Марии очень понравилась эта затея. Мне тоже. Однако ее пристрастие ко всему морскому – признаюсь – наводило меня порою на печальные и ревнивые мысли, которые я всячески старался отгонять.

Я уже давно приучился не задавать ей лишних вопросов, признав наконец за этим правилом и такт, и мудрость, и взаимное доверие. Да, с презрительной усмешкой стал я думать об одном русском, довольно-таки распространенном обычае. Он и она, прежде того дня, когда на них возложат «венцы от камене честна», зачем-то обменивались дневниками или просто признаниями в прежних любовных прегрешениях, все равно, истинных или мнимых. О, каким жгучим средством оказывался этот письменный и устный материал потом, через год, чтобы колоть и хлестать им друг друга без пощады!

Я по-прежнему мало знал о Марии, но сама обыденная жизнь открывала мне изредка новые черты в ее загадочном существовании и в ее прекрасной душе – свободной, чистой, гордой и доброй, хотя я и до сих пор не понимаю: была ли эта душа пламенной или холодной?.. Эти проблески я могу сравнить с мгновенным щелканьем фотографического аппарата.

Какой я был дурак! Я обижался – и серьезно! – на Марию за то, что она никогда не соглашалась уснуть у меня, хотя «засиживалась» иногда до раннего солнца. «Мне надо отдохнуть, чтобы работать со свежей головой». Так однажды она мне сказала. А в другой раз ничего не ответила на мое предложение. Засмеялась, нежно-нежно меня поцеловала, назвала своим милым большим медведем и, распахнув дверь, быстро застучала каблучками по лестнице. Я едва успел ее догнать, чтобы посадить в автомобиль.

Помню еще одно утро, после долгой, блаженной ночи... Мне уже пора было ехать на завод, но я сказал легкомысленно:

– Душа моя, ведь нам очень хорошо вместе. Такая ночь, как эта, – эта самая – никогда не повторится; продолжим ее еще на двадцать четыре часа, прошу тебя.

– А твоя служба?

– Ну, мое присутствие не так уж крайне необходимо. Наконец, я могу сейчас же телеграфировать, что заболел или вывихнул ногу...

Она медленно и серьезно покачала головою:

– Зачем говорить неправду? Лгут только трусы и слабые лентяи. Тебе, большой Мишика, не идет притворство.

– Даже в шутку?

– Даже в шутку.

Это нравоучение меня немного покорило, и я возразил со сдержанной резкостью:

– Странно. Разве я не хозяин своего тела, своего времени, своих мыслей и желаний?

Она согласилась:

– Конечно, полный хозяин. Но только до тех пор, пока не связан.

– Контрактом? – спросил я с кривой улыбкой.

– Нет. Просто словом.

По правде говоря, мне некуда было дальше идти в нашем разговоре. Но я сознавал, что она права, и потому разозлился и сказал окончательную глупость:

– А разве я не хозяин и своему слову? Хочу – держу его. Хочу – нарушу...

Она не отозвалась. Опустила руки на колена, низко склонила голову. Так в молчании протекли секунды...

С острой горечью, с нежной виноватой жалостью к ней, с отвращением к своей выходке говорил я себе мысленно в эту тяжелую минуту:

– Будь же настоящим мужчиной, стань на колена, обними ее ноги, покрой поцелуями ее волшебные теплые руки, проси прощения! Все пройдет сразу, вся неловкость положения улетучится в один миг.

Но черт бы побрал эту глупую гордость, это тупое обидчивое упрямство, которое так часто мешает даже смелым людям сознаться вслух в своей вине или ошибке. Таким ложным стыдом, фальшивым самолюбием страдают нередко крепкие, умные, сильные личности, но чаще всего дети и русские интеллигенты, особенно же русские политики.

Были моменты, когда мои нервы и мускулы уже собирались, сжимались, чтобы бросить меня к ее ногам, и – вдруг – унылая мысль: «Нет, теперь уже поздно!.. Нужное мгновение пропущено... Жест после долгой паузы выйдет ненатуральным... станет еще стыднее и неловче...»

Но Мария, моя прекрасная, добрая Мария быстро поняла и мои колебания, и мои колючие мысли. Она встала, положила руки на мои плечи и близко заглянула мне в глаза своими ласковыми, чистыми глазами.

– Дорогой Мишика, не будем дуться друг на друга. Прости меня. Я была бестактна, когда вздумала читать тебе мораль. Это, конечно, не дело женщины. Поцелуй меня, Мишика, поцелуй скорее, и забудем все. Делай что хочешь с моим временем и со мною. Я твоя и сегодня, и завтра, и всегда.

Мы помирились сладко и искренно. Но у меня уже не хватило решимости ни продлить нашу ночь на двадцать четыре часа, ни послать на завод телеграмму. Мария довезла меня до вокзала, и мы там расстались добрыми друзьями и счастливыми любовниками.

* * *

Когда вытацишь большую и глубокую занозу, то еще долго саднит пораненное место. Всю неделю не давали мне покоя неприятные, кислые мысли, далеко не лестные для меня самого. Уж очень я грубо развернул перед европейской, умной и прелестной женщиной изнанку русской широкой души: наше небрежение к долгу и слову, нашу всегдашнюю склонность «ловчиться», чтобы избежать прямой и ответственной обязанности, наше отлынивание от дела, а главное, нашу скверную привычку носиться со своим я и совать его всюду без толка и основания, дерзко отменяя опыты культуры, завоевания науки, навыки цивилизации. Не оттуда ли наш нигилизм, анархизм, индивидуализм, эгоцентризм и наш худосочный припадочный атеизм и чудовищно изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в экспроприации? И не эти ли черные стороны русской души создали удобренную почву для такого пышного расцвета русской самозванщины, от Емельки до Хлестакова?.. Пьяный чиновничка, коллежский регистратор, когда его выталкивали за неплатеж из кабачка, непременно грозился: «Погодите! Я еще вот покажу себя! Вы еще не знаете, с кем имеете дело!»...

Теперь ты видишь, друг мой, как в эти дни я корчился, вспоминая свои идиотские слова о честном слове, почти о присяге: «Захочу – держу, захочу – брошу псу под хвост...»

В субботу, по окончании работы, Мария заехала за мною на завод, как нередко делала и раньше. У нее был собственный, небольшой, но быстроходный изящный «Пежо», которым, надо сказать, она владела в совершенстве.

В воротах нам встретился директор. Он почтительно поклонился Марии, низко сняв шляпу. Она дружески кивнула ему головой, послала воздушный поцелуй и сразу взяла третью скорость.

Я любил сидеть в автомобиле не рядом с нею, а сзади, на пассажирском месте. Мне нравились ее ловкие, уверенные движения. Несясь по свободной дороге и точно ловя незаметный ритм машины, она плавно покачивала стройной спиной. Когда мы попадали в тесный затор, она нетерпеливо выпрямлялась и, высоко подняв голову, разыскивала глазами тот свободный коридор, в который можно было ринуться, и когда находила – весело кидалась в него, склонив голову, как бычок. И мне радостно бывало смотреть, как солнце играло золотыми спиралями в рыжеватых вьющихся волосах ее красивого затылка.

В этот день мы немного покатались на лодке, пообедали у меня в гостинице. Ушла она рано, часов около двух. Когда, прощаясь, я посадил ее в автомобиль, она перегнулась через дверцу и сказала:

– Послушай, Мишика! Мне давно хочется, чтобы ты когда-нибудь у меня позавтракал или пообедал. Не приедешь ли ты ко мне завтра, около половины первого или в час?

Я обрадовался.

– Конечно! С большим удовольствием. Но ведь я не знаю ни твоего адреса, ни...

Она закончила за меня:

– Ни фамилии, хочешь ты сказать?

– Да.

– Так запомни: мой адрес – четыре тысячи пятьсот три, Vallon de l'Orjol. Спроси госпожу Дюран.

Я переспросил с удивлением, недоверчиво:

– Госпожу Дюран? (Ведь всем известно, что Дюран самая простая и самая распространенная фамилия во Франции. Достаточно заглянуть в любой справочник или указатель.) Неужели у прекрасной, изысканной Марии такое ничего не говорящее имя?

И тут при жидком свете уличного фонаря я заметил, как густо и жарко покраснело лицо Марии. Она сказала шепотом:

– Нет, Мишика, нет. Я не хочу тебя обманывать. Я вовсе не Дюран. Это мое nom de guerre⁹. Тебе это не нравится?

– О дорогая, я обожаю тебя!

– Все равно, рано или поздно я должна была это тебе сказать. Мое родовое имя очень старое и окружено почетом. Мой отец и дед были адмиралами. Имя моего прадеда, великого адмирала, значится во всех исторических учебниках. Я знаю, тебе не покажется ни смешным, ни странным то, что я дорожу честью моих предков. Но я живу и буду жить только так, как мне самой хочется, и я знаю, что мой образ жизни мог бы скомпрометировать моих родственников, и потому я взяла первое попавшееся имя. И еще я тебе скажу... Я не виновата в том, что откололась от семьи. *Меня почти девочкой связали с человеком, которого я не любила и который меня не любил, любил мое тело и молодость. Он был гораздо старше меня. Надо сказать правду: я пленилась его высоким положением, богатством и славным титулом, но ведь я тогда была очень молода и очень глупа! Да, я солгала в первый и в последний, – заметь, Мишика, – в последний раз! Я убежала от него через неделю. Убежала в ужасе. И вот... Впрочем, довольно, мой Медведь. Ведь если я тебе все это рассказала – ты меня будешь любить не меньше?*

Она засветила прожекторы и рывкнула гудком.

– До завтра, Мишика! – донесся до меня ее звонкий голос.

⁹ Прозвище (фр.).

Глава IX

Павлин

Я приехал к Марии в назначенное время. Жила она на другой окраине города, где было мало шума и много деревьев. Старенькая, седая, благообразная привратница в старинных серебряных очках сообщила мне, что мадам Дюран помещается на третьем дворе, в собственном павильоне-особняке, где, кроме нее и прислуги, нет других жильцов. Этот третий двор, очень обширный, был похож на сад или на небольшой сквер. Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости; двор усыпан гравием; посередине его круглая высокая цветочная клумба, и в центре фонтан – женская нагая фигура, позеленевшая от времени. Сквозь поредевшие листья деревьев можно было заметить огромное, в два этажа, стеклянное окно, такое, какие бывают в мастерских художников и фотографов.

Я позвонил и тотчас же услышал легкие, быстрые, веселые шаги, сбегавшие сверху.

Мария сама отворила дверь. На ней была домашняя одежда: свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, обнажавшими по локоть ее прелестные руки. Улыбающееся лицо сияло счастьем и здоровьем. Она взяла меня за руку.

– Идем, идем, Мишика. Я тебе покажу мою келью.

Мы поднялись наверх по отлогой винтовой дубовой лестнице и вошли в ателье, просторное и высокое, как танцевальный зал, все наполненное чистым воздухом и спокойным светом, лившимся сверху, с потолка, и из стеклянного, большого, во всю стену, окна.

Обстановка была совсем проста, но необычна – вся из ясеня: ясеневый паркет, ясеневые панно на стенах, ясеневый громадный, вроде как бы чертежный стол у окна, ясеневые стулья. Я даже услышал с удовольствием давно знакомый мне, милый, свежий, чуть-чуть яблочный запах полированного ясеневоего дерева. И именно благодаря ясеневым фанерам освещение комнаты ласкало и веселило взор, имело изящный, слегка желтоватый колорит, похожий на цвет свеже-сбитого сливочного масла или на липовый мед, вылитый из сотов.

Направо у входа, у стены, стояла низкая и широкая оттоманка, покрытая отличным старинным ковром царственных густых и глубоких красок: темно-зеленой и темно-рыжей.

Никаких украшений. Только на столе помещался черный бархатный экран, а перед ним, на его строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с одной-единственной хризантемой: чудесная манера японцев любоваться цветами, не рассеивая внимания и не утомляя зрения.

Не сетуй, мой старый дружище, что я так утонул в подробностях. Ах! там, в этом прекрасном ателье, меня посетили величайшие радости и – по моей вине – отчаянное горе, которое выбило меня из жизни.

Я повернулся лицом к той стене, которая до сих пор была у меня за спиной. И я вдруг увидел удивительную вещь. Прямо напротив меня, совсем закрывая ясеневое панно, стоял необычайной величины великолепный павлин, распутивший свой блистательный хвост. Сначала мне показалось, что я вижу редкостное, по размерам и красоте, чучело, потом я подумал, что это картина, прекрасно написанная масляными красками, и, только подойдя поближе, я убедился, что передо мною – изумительная вышивка на светло-оранжевом штофе зелеными и синими шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и поразительных, незаметных переходов из цвета в цвет.

Я искренне восторгался: «Какое волшебство! Это уже не рукоделие, а настоящее художественное творчество! Кто сделал такую прелесть?»

Она ответила с кокетливой застенчивостью и с легким реверансом:

– Ваша скромная и покорная служанка, о мой добрый господин.

И потом она спросила:

– Тебе в самом деле нравится этот экран, Мишика?

– Бесконечно. У нас в России были очень искусные вышивальщицы золотом и шелком, но ничего подобного я не мог даже вообразить!

– Так он правда нравится тебе? Я рада и горда, он твой. Возьми его.

Я поцеловал одну за другой ее милые руки и решительно отказался:

– О моя Мария, этот подарок чересчур королевский! Место твоему павлину на выставке гобеленов или в королевском дворце, а не в моем временном бараке или в номере гостиницы.

Я рассказал ей о том, что на мусульманском Востоке существовал, а может быть, и теперь еще кое-где существует, древний величественный обычай: если гость похвалил какой-нибудь предмет в доме – посуду, утварь, ковер или оружие, то ему тотчас же эту вещь преподносили в подарок.

Она захлопала в ладоши.

– Вот видишь, Мишика! Ты должен взять павлина!

Но я продолжал:

– Однако о таком щедром обычае вскоре узнали европейцы, которых великое назначение – нести цвет культуры и цивилизации диким народам. И вот они начали злоупотреблять священным обычаем гостеприимства. Они в домах магометан стали умышленно хвалить то то, то это, пока не потеряли умеренности и не принялись расхваливать хозяину огулом все самые лучшие, самые древние драгоценности, собранные еще прапрадедами. Мусульмане морщились, кричали, беднели с каждым днем, но, верные преданиям, нарушить старый неписанный закон, «адат», не решались. Тогда, сжалившись над ними, пришел им на помощь один знаменитый, мудрый мулла.

– В Коране написано, – сказал Хаджи, – что все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха. Поэтому и гостеприимству есть предел. В твоём собственном доме даже кровный враг считается выше хозяина. Он больше, чем родственник, он друг, и особа его священна для тебя. Но как только он переехал за черту твоих владений – закон гостеприимства исчезает. Враг снова становится врагом, и от твоего разума зависит, как ты должен поступить с ним. А разве не враг тебе жадный и бесцеремонный человек, который, под защитой твоего великодушия и уважения к старинному закону, безнаказанно обирает твой дом, да еще вдобавок искренне считает тебя ослом?

Верные сыны пророка приняли к самому сердцу это поучение. Послушный закону хозяин по-прежнему терпеливо подносит назойливому гостю все, что ему понравилось в доме. Он почтительно провожает его до порога и желает ему доброй дороги, но спустя малое время он седлает коня и скачет вслед обжорливому гостю, и, настигнув его в чужих владениях, хоть бы даже на соседнем поле, он отнимает у хапуги все свои вещи, не забыв, конечно, вывернуть его карманы и отнять у него все, что имеет какую-нибудь цену. Вот видишь, Мария, до чего доводит ложно понятая щедрость.

Она засмеялась:

– Благодарю за веселую притчу.

Но потом ее влажные темные глаза стали серьезны. Как тогда, в первый день нашего знакомства, у меня в «Отель дю Порт» четыре месяца назад, она положила мне руки на плечи. Ее губы были так близко к моему лицу, что я обонял ее дыхание, которое было так сладостно, точно она только что жевала лепестки дикого шиповника. Она сказала:

– В Испании есть похожий обычай. Там, когда впервые приходит гость, хозяин говорит ему:

– Вот мой скромный дом. Начиная с этого благословенного часа, прощу вас, считайте его вашим собственным домом и распоряжайтесь им, как вам будет угодно.

И она страстно воскликнула:

– Милый мой, любимый Мишика, мой славный бурый медведь! Я от всей души, от всего преданного сердца повторяю эти слова испанского гостеприимства. Этот дом твой, и все, что в нем, – твое: и павлин твой, и я твоя, и все мое время – твое, и все мои заботы – о тебе.

Медленно опуская ресницы, она прибавила тихо:

– Мишика, мне стыдно и радостно признаться тебе... Знаешь ли, теперь мне все чаще кажется, будто бы я всю жизнь искала только тебя, только тебя одного и наконец нашла. Ах, это все болтовня о каком-то далеком, где-то вдали мерцающем идеале. Ну, какой же ты идеал, мой дорогой Медведь? Ты неуклюжий, ты тяжелый, ходишь вперевалку, волосы у тебя рыжие. Когда я тебя увидела в первый раз на заводе, я подумала:

«Вот чудесный большой зверь для приручения». И я сама не помню, как и когда это случилось, что добрый зверь стал моим господином. Я тебя серьезно прошу, Мишика, поживи у меня, сколько тебе понравится. Я не стесню твоей свободы, и когда ты захочешь, мы опять можем вернуться в нашу морскую каютку.

– Мария! а где же твое гордое, брезгливое одиночество? Твоя абсолютная свобода? Отвращение к тесной жизни бок о бок?

Она улыбнулась кротко, но не ответила.

– Поцелуй меня скорее, Мишика, и пойдем завтракать. Я слышу, идет моя Ингрид.

Действительно, открылась боковая дверь, и в ней показалась какая-то женщина и издали поклонилась.

У Марии была уютная светлая маленькая столовая, незатейливая, но очень вкусная кухня и хорошее вино. Прислуживала нам молчаливо эта самая Ингрид – чрезвычайно странное и загадочное существо, по-видимому, откуда-то с севера, из Норвегии, Швеции или Финляндии, судя по имени; светловолосая, с необычайно нежной кожей. Лицо и фигура у нее были как бы двойные. Когда она глядела на Марию, голубые глаза становились необыкновенно добрыми и прекрасными; это был умиленный взор ангела, любующегося на свое верховное божество. Но когда эти глаза останавливались на мне, то мне казалось, что на меня смотрит в упор ядовитая змея или взбешенная, яростная, молодая ведьма. Или мне это только мерещилось? Но такое впечатление осталось у меня на очень долгое время – вернее, навсегда. Достаточно сказать, что каждый раз впоследствии, когда я чувствовал ее присутствие за моей спиной, я невольно и быстро оборачивался к ней лицом, подобно тому как каждый человек инстинктивно обернется, если по его пятам крадется коварная дрянная собака, которая хватается за ноги молчком, исподтишка.

Пользуясь минутой, когда Ингрид вышла из столовой, я спросил Марию:

– Где ты достала эту странную женщину? – И тут же осекся: – Прости, Мария, я опять спрашиваю...

Она на секунду закрыла глаза и печально, как мне почудилось, покачала головой. Может быть, она слегка вздохнула?..

– Нет, Мишика. Это прошло. Теперь спрашивай меня о чем хочешь, я отвечу откровенно. Я верю твоей деликатности. Я тебе сейчас скажу, откуда Ингрид, а ты сам рассуди, удобно ли мне открывать чужую тайну?

– Тогда не надо, Мария... не надо...

– Все равно. Я вытащила ее из публичного дома в Аргентине.

Я не знал, что сказать. Замолчал. А вошедшая Ингрид, точно зная, что разговор шел о ней, пронзила меня отравленным взглядом василиска...

А все-таки наш завтрак кончился весело. Ингрид разлила шампанское. Мария вдруг спросила меня:

– Ты очень любишь это вино?

Я ответил, что не особенно. Выпью с удовольствием бокал-два, когда жажда, но уважения к этому вину у меня нет.

– Послушай же, Мишика, я должна тебе сделать маленькое признание. Мне до сих пор бывает стыдно, когда я вспоминаю о том, как я фамильярно напросилась на знакомство с тобой в ресторане этой доброй толстухи испанки (и она в самом деле покраснела: вообще она краснела не редко). Но я, пожалуй, здесь не так виновата, как кажусь. Видишь ли, у нас в Марсели был один русский ресторан. Теперь его уже больше нет, он разорился и исчез. Я однажды пошла в него с одним моим знакомым, который много лет прожил в России, очень ее любит и отлично говорит по-русски. Я не учла того, что он хотя и умный и добрый человек, но великий шутник и мистификатор. А я, – признаюсь, – плохо понимаю шутку.

В этом ресторане он был моим гидом. Я заметила, что все служащие женщины были дородны и важны, почти величественны. Иногда, с видом милостивого снисхождения, они присаживались то к одному, то к другому столику и пригубливали вино. «Кто эти великолепные дамы?» – спросила я моего спутника. И он объяснил мне: эти дамы – все из высшей русской аристократии. Самая незаметная среди них – по крайней мере, баронесса, остальные – графини и княгини. Потом плясали и пели какие-то маленькие курчавые люди с золотыми тубиками, нашитыми на груди камзола. Одну из их песен мой гид перевел по-французски. В ней говорилось о том, что русские бояры не могут жить без шампанского вина и умирают от ностальгии, если не слышат цыганского пения. Ведь это неправда, Мишика?

– Конечно, неправда.

– А я доверчива до глупости. Я думала, там, у Аллегриа, показать тебе и почет, и тонкое знание аристократической русской жизни. Ну, не глупа ли я была, добрый Мишика? А теперь выпьем этого вина за наше новоселье!

Я сказал шутя:

– За наш брак!

Она отпила глоток вина и ответила:

– Только не это.

Глава X Фламинго

После завтрака Мария показала мне свой дом. Есть на свете старая-престарая пословица: «Скажи мне, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков». С не меньшим смыслом можно, пожалуй, было бы сказать: «Покажи мне твоё жильё, а я определю твои привычки и твой характер». Комнаты Марии носили отпечаток её простоты, скромного изящества и свободного вкуса. Сразу было видно, что в устройстве комнат она до крайней меры избегала всяких тряпок, бумаги и безделушек.

Первое, что она мне показала, была её спальня – небольшая комната, вся белая: белые крашенные стены, белая соломенная штора на окне, белая, узенькая, как у девочки или монахини, постель. Над изголовьем висело небольшое черное распятие, за которое была заткнута ветка остролистника. На ночном столике, у кровати, стоял бурый плюшевый медведь, растопыря лапы.

– Мишика, ты узнаешь, кто это такой? – спросила Мария лукаво.

– Вероятно, я?

– Конечно, ты. Не правда ли, большое сходство? Но пойдем дальше. Вот в этом простенке моя маленькая библиотека. Ты в ней найдешь кое-что интересное. А здесь наша ванная комната. Посмотри.

Она открыла дверь, и я с восхищением увидел не ванную, а скорее просторный бассейн, с кафельными блестящими стенами и полом с четырьмя ступеньками, ведущими вниз, в воду. Легкий запах вербены улавливался в воздухе. Я сказал, что все это великолепно.

– Поверь мне, мой Мишика, – ответила Мария, – единственная роскошь, которую я себе позволяю, – это вода. Я не могу, физически не могу мыться в тяжелых фаянсовых чашках, или в раковинах под кранами, или в этих противных ваннах, крашенных под мрамор. Вот почему в путешествиях я всегда скучаю по моей ванной комнатке.

Теперь, Мишика, я покажу тебе твою собственную комнату, хотя я тебе уже говорила, что весь дом, с живым и мертвым инвентарем, принадлежит тебе.

Я засмеялся.

– Во всяком случае, ты можешь оставить себе прекрасную Ингрид.

– Да, – сказала она, – эта девушка ни на кого не производит приятного впечатления. У нее дикая мания, что все люди, которые бывают у меня, – злые враги или коварные шпионы, всегда умышляющие гибель ей, а главное, и мне. Но она, бедняжка, так много перестрадала в своей недолгой жизни! Я тебе расскажу когда-нибудь, и ты поймешь ее.

– Ну вот, смотри, Мишика. Твоя комната, – распахнула Мария дверь.

Это было прекрасное, очень большое помещение, меньше, чем ателье, но также обшитое ясенем; с большим и глубоким диваном из замши, с массивным ясеневым письменным столом. Все, в чем я мог бы нуждаться, было здесь под рукою, внимательно обдуманное и любовно устроенное, от прекрасных письменных принадлежностей до шелковой вышитой пижамы, сигар, папирос, содовой воды и виски.

Я поцеловал ее.

– Как ты добра и мила, моя Мария.

– Твоя! – весело воскликнула она.

– В доме, кроме нас двоих, еще три человека: кухарка – она почти невидима, но ты можешь заказывать меню по своему вкусу. Затем один отставной матрос Винцет; зимою он истопник, а летом садовник, предобрый малый. Ты его можешь посылать с поручениями, он знает наизусть всю Марсель. Он же, когда нужно, подаст автомобиль – гараж напротив. А на Ингрид ты не обращай внимания. Пусть она гримасничает. Все твои приказания она исполнит

беспрекословно. Ей, вероятно, тоже не особенно будет приятно, если я прикажу ей взять рукою раскаленную добела железную полосу, однако она схватит ее, ни на секунду не задумавшись... Теперь ты введен в свои владения. Я забыла только сказать, что к твоим услугам всегда готов шофер. Это – я. Пойдем теперь ко мне в мастерскую пить кофе.

Восточная оттоманка. Низенький японский лакированный столик. Кофе с гущей по-турецки, ароматный и крепкий, принесенный в кофейнике из красной меди; сладкий дым египетской папиросы. Прекрасная Мария, сидящая на ковре у моих ног... Я бы смело мог вообразить себя восточным султаном с табачной этикетки, если бы не маленькие графинчики из граненого хрусталя. Павлин на стене сиял, блистал и переливался при ярком свете во всем своем пышном великолепии.

Я сам тогда не знал, почему так часто привлекал мой взгляд этот удивительный экран и почему он возбуждал во мне какое-то беспокойное внимание... Позднее я узнал...

Я говорил Марии:

– Мне кажется странным, почему ни один великий земной владыка не избрал павлина эмблемой своей власти. Лучший герб трудно придумать. Погляди: его корона о ста зубцах, по количеству завоеванных государств. Его орифламма вся усеяна глазами – символами неустанного наблюдения за покоренными народами. В медлительном и гордом движении его мантия волочится по земле. Это ли не царственно?

Она слушала меня, улыбаясь. Потом сказала:

– Я думаю, Мишика, что государи выбирали себе гербы не по красоте эмблемы, а по внутренним достоинствам. Орел – царь всех птиц, лев – царь зверей, слон – мудр и силен. Солнце освещает землю и дарит ей плодородие. Лилия – непорочно чиста, как и сердце государя. Петух всегда бодр, всегда влюблен, всегда готов сражаться и чувствителен к погоде.

А у павлина ничего нет, кроме внешней красоты. Голос у него раздражающий, противный, а сам он глуп, напыщен, труслив и мнителен.

Я возразил:

– Однако участвует во всех королевских церемониях горностаевая мантия? Между тем тебе, конечно, известно, что горностаи, этот маленький хищник, – очень злое и кровожадное животное.

– Знаю. Но зато о нем вот что говорит народное сказание. Он очень гордится чистотой своей белой шкурки, и все время, когда не спит и не предается разбою, он непрерывно чистится. Но если на его мехе окажется несмываемое пятно, то он умирает от огорчения. Оттого-то на старинных гербовых горностаевых мантиях можно прочесть надпись: «Лучше умереть, чем запачкаться». Смысл тот же, что и у белой лилии, – непорочность души.

А ты знаешь, Мишика, что во многих южных странах павлин считается птицей, приносящей несчастье и печаль?

– Нет. Я не слышал. Думаю, что это просто суеверный вздор.

– И я тоже.

Так мы пили кофе и мило болтали. Нет-нет, а я все поглядывал на павлина, чувствуя все-таки, что какая-то странная, неуловимая связь есть у меня с этой художественной вещью.

Мария спросила:

– Ты все любишь своим павлином? Как я рада, что угодила тебе. Завтра я начну работать над новым экраном. Хочешь, я тебе скажу, какой будет мотив? Представь себе: маленькое болотце, осока и кувшинки. Вдали едва встает заря, а на болоте несколько птиц фламинго, все в разных позах. Та стоит на одной ноге, другая опустила клюв в воду, третья завернула шею совсем назад и перебирает перышки на спине, четвертая широко распустила крылья и перья, точно потягиваясь перед полетом... Я все это вижу сейчас перед глазами так ясно-ясно. Боюсь только, что не найду нужных мне оттенков шелка. У фламинго прелестная, необычайная окраска оперения: она и не розовая и не красная, она особенная. А кроме того, очень трудно

проследить, как бледнеет эта окраска, постепенно исчезая в белой... Таких нюансов не знает никто: только – природа.

Я сказал:

– По всему видно, что ты любишь свое искусство. Это, должно быть, большое счастье!

– Да, большое. Но моя работа – только полуйскусство, а потому не знает ревности и зависти...

Тогда я спросил:

– Мария, ты великодушно разрешила мне задавать иногда тебе вопросы, полагаясь на мою осторожность... Как много ты уже сделала таких прекрасных панно?

– Я не помню. Около пятидесяти.

– Тут же ты, конечно, считаешь и копии?

– Нет. Я бы не могла повторяться. Скучно. Самое приятное – это когда находишь тему и думаешь о ней.

– А потом, когда картина окончена, тебе не жалко расставаться с ней?

– Нет, не жалко. Хочется только, чтобы она попала в хорошие руки. Но зато, когда я увижу спустя некоторое время у кого-нибудь мою работу, то я чувствую тихую грусть: точно мне случайно показали портрет давно уехавшего, доброго друга.

Я покачал головой.

– Друг – это тоже большое счастье. Я не верю, чтобы у человека могло быть больше одного друга. Сколько же у тебя, Мария, друзей, если ты раздала на память около пятидесяти панно?

– Друзей? У меня есть три-четыре человека, с которыми я выдаюсь без неудовольствия и чаще по делу, чем для интимной беседы. Друг у меня только один – это ты. Что же касается до моих экранов, то я их отсылаю в Париж, в известный магазин редких вещей, и, надо сказать, мне там очень хорошо платят. Такие вещи могу и умею делать только я. Больше никто. Есть богатая американская фирма, которая покупает каждую мою вещицу. Магазин берет не очень большой процент. Ну, что же: признаваться – так признаваться до конца.

Последние слова Марии поразили меня не так чтобы очень приятно. Я сразу даже не сообразил того, как не вяжутся эти два положения. С одной стороны, образ жизни Марии: ее прекрасный особняк, трое человек прислуги, редкая обстановка, чудесные и очень дорогие, несмотря на их простоту, парижские костюмы и широкая трата денег... С другой стороны, ручная работа шелком по атласу, весьма медленная и кропотливая. Что она может дать? Не более тысячи, ну, скажем, щедро, двух в месяц...

Нет, эта мысль не бросилась мне первой в голову.

Самые слова «ручная работа» показались мне какими-то уж очень прозаичными, будничными, жалкими, годными для швей и портных. И весь роман мой как бы замутился, потускнел, сузился и обесцветился.

В ту пору, когда еще, не зная имени моей новой, неожиданной и прекрасной любовницы, я мысленно делал ее то международной шпионкой, то курортной сиреной, то контрабандисткой, то фантастической Мессалиной, – во мне играла, щекоча мужское самолюбие, гордость завоевателя. Тогда я выбивался из сил, чтобы никогда не позволить ей платить за себя, и, наоборот, щеголял щедростью и предупредительностью.

И вот она оказалась всего лишь трудящейся женщиной, живущей вышивальной работой... Наверное, ребро указательного пальца левой руки привычно истыкано у нее иголкой. Замечал я это или не замечал? Словом, я чувствовал себя разочарованным. Моя связь с женщиной загадочной, немного роковой, а главное, богатой и эффектной, обратилась в обыкновенную интрижку с швейной мастерицей. Я чувствовал себя обманутым, как бы обкраденным. Боже мой, как глуп и как ничтожен был я в эти минуты. Ах! Мы, русские, слишком много читаем без всякого разбора, слишком часто воображаем себя героями прочитанного!

Я долго и уныло молчал. Поняла ли Мария? Прочитала ли она мои мысли? Она взяла мои руки (и я мог потихоньку убедиться, что указательный палец у нее гладок и нежен), она притянула меня близко к себе и сказала следующее:

– Мишика, у меня нет тайн от тебя, и ты надо мною не будешь смеяться. Я не верю ни в демократию, ни в филантропию. Я знаю только одно: мне стыдно есть, если около себя я вижу голодного человека или голодную собаку. Мне издали стыдно и при мысли о них. Дела мои так устроились, что я получаю достаточно много, несколько больше, чем мне нужно. Но меня всегда стесняла и тревожила мысль, что я получаю эти деньги ни за что. И вот мне однажды пришла верная, по моему убеждению, мысль. Я должна заработать по возможности столько же, сколько трачу на себя, и эту сумму раздавать там, где мне всего яснее, резче кидается в глаза настоящая нужда. Так я квитаюсь с обществом и с моей совестью. Ты понял меня, Мишика?

* * *

Мне стало стыдно. Но о подлой причине этого стыда и о низких мыслях не сказал ни слова. А надо бы было, – для собственной казни...

Этот день мы провели чудесно. Я чувствовал себя, как большой добрый пес, который утром напроказил и уже был за это наказан, даже прощен, но еще до вечера нет-нет да и попросит извинения, то печальным взглядом, то хвостом... Мария – точно она видела эту занозу в моей душе – была необыкновенно мила и нежна со мною.

Она пробыла в моей новой комнате до глубокой ночи. Она уже собиралась уйти, но вдруг остановилась.

– Мишика! – сказала она почти робко. – Ты не рассердишься, если я у тебя останусь до утра? Ты не прогонишь меня?

А утром, когда она еще спала, я увидел на ее лице тот неопишимо-розовый нежный оттенок, который бывает на перьях фламинго перед переходом в белый цвет.

Глава XI

Зенит

В конце декабря Мария получила из Неаполя короткое и весьма безграмотное письмо, нацарапанное ужасным почерком по-итальянски. Оно было от сестры Джiovанни, того самого красавца матроса «суперкарго», с которым мы едва не разодрались насмерть. С наивной и глубокой простотой писала итальянка, что брат ее погиб в Бискайском заливе, во время крушения парохода «Geneva». Уходя в последнее плавание, он оставил дома адрес госпожи Дюран и просил известить ее в случае его смерти.

«Молитесь о нем вместе с нашей осиротевшей семьей» – так кончалось это письмо. Когда Мария переводила мне его, у нее на опущенных ресницах дрожали слезы.

Она никогда не скрывала от меня своих действий. Я знал, что она послала семье погибшего Джiovанни крупную сумму денег и заказала по нем в соборе Nostra Dama della Guarda заупокойную мессу.

Я не мог понять и не допытывался: сохранился ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружеской спокойной благодарностью за прошлое счастье.

Впрочем, мужчины, пожалуй, никогда не освоятся с тем, что женщине трудно разлюбить, но если она разлюбила, то уже к прошлой любви никогда не вернется. Мужчин же этот возврат часто тянет.

Я был очень сдержан в эти дни, но «черная болезнь» – нелепая ревность к прошедшему, – признаюсь, нередко охватывала меня.

«Он знал ее адрес на Валлон-де-Л'Ориоль. Может быть, он и бывал здесь. Может быть, мой широкий диван из замшевой кожи...» – думал я иногда, и у меня перед глазами ходили огненные круги и ноздри раздувались. Я сказал Марии, что хочу переехать в «Отель дю Порт». Она охотно согласилась со мною: там пришла к нам наша внезапная и горячая любовь, там осталось так много воспоминаний, необыкновенных и трогательных.

Но оказалось, что наш отель с корабельной каютой на чердаке затеял капитальный ремонт. Пришлось остаться в доме у Марии. Да и нужно сказать, мое ревничее люмбаго довольно скоро прошло: так мила, нежна, предупредительна была со мною Мария.

Жизнь снова и безболезненно наладилась. Каждое утро Мария отвозила меня на завод, а вечером заезжала за мною. Завтракал я на службе.

Отношения мои с сослуживцами были по-прежнему добрые, приятельские, но где-то в них уже таилось едва заметное, едва ощутительное охлаждение.

Я уже не принимал участия в прежних беспечных эскападах в теплые темные уголки Марсели с их портовыми приманками, я не сидел вместе с нашей ладной горластой компанией у Бассо за пламенным буйабезом. Я не ходил с друзьями в тесной гурьбе по театрам, циркам, музеям и народным праздникам, не открывал с ними новых уютных кабачков.

Конечно, они знали о связи моей с Марией, и это обстоятельство тоже содействовало взаимному отчуждению.

Это ведь постоянно так бывает: из дружного, слаженного кружка закадычных холостяков вдруг выбывает один перебежчик, чтобы навсегда погрузиться в лоно семейных тихих радостей, и весь кружок долго чувствует себя разрозненным, опустелым, пока не зарубцуеться, не станет привычным изъян. Встречи с ним, внешне, остаются по-прежнему сердечными, но в них невольно скользят и легкое презрение к изменнику, и укор, и сожаление о добровольной утрате им холостой свободы. «Ну что? как? Здоров? весел? счастлив?» И с лукавой, недоверчивой приязнью слушают прокуренные холостяки его немного театральные восторги.

– Да вы приходите когда-нибудь ко мне. Жена моя – это такой славный товарищ! Она давно знает и любит вас по моим рассказам. Навестите же нас при первом случае. Для каждого из вас всех найдется уголок у камина, старая сигара и стакан доброго вина. Вспомним нашу бурную проказливую молодость.

Коренастые замшелые холостяки кивают головами, крикают, благодарят и лукаво переглядываются: «Знаем мы, как бывают любезны молодые жены к холостым друзьям мужа-новобранца...» И с удовольствием думают про себя, что ни в клубы, ни на суда – военные, торговые и даже пиратские – вход женщине не допускается.

А еще более дело осложняется, когда друзьям известно, что ренегат не закрепил своего сожителства формальным образом: ни в церкви, ни в мэрии, ни у нотариуса. Тут бог знает из каких глубоких недр вылезают наружу старые, заржавленные, давно забытые предрассудки.

Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья позволили бы себе в присутствии «законной супруги». А во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шуточных брачных намеках были неискренность, натянутость, приподнятость, вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие, циничные мысли: «Твое дело – капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прехорошенькие девчонки и пили с тобою из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте, игра судьбы, что эта досталась тебе, а не мне». Смешно сказать: все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше пятидесяти лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому не доступная великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды: «Неужели ты до сих пор не замечал, что я вся твоя?» «Рюи-Блаз» – героическая пьеса, однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере – это их излюбленная пьеса.

И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости, с одной стороны, и в своей собственной неотразимости – с другой, большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах?

И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание: «Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости, оно все равно непременно случилось бы...»

Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами.

Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощанье, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала:

– Это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах.

И, чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь:

– Впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды.

Это замечание обидело. А ведь надо сказать правду: мы, русские, целуем дамские руки раз по тридцати в сутки, целуем знакомым, ползнакомым и вовсе незнакомым дамам, и при этом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки – это высшая, интимная ласка. С какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя?

И тоже: надо наконец серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы, при случайном знакомстве, должны пожать, несмотря на то, что ваша рука – этот тончайший аппарат чувстви-

тельности – содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон, ну, в крайности, даже глубокий, черт побери, поклон?

Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марсели. Отношения мои с сотрудниками стали вежливо деловыми, хотя порою мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины.

Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс и я получил деньги, для меня в то время довольно большие.

Был, впрочем, один человек, который казался мне искренно привязанным к Марии и глубоко ее уважавший. Это – главный директор нашего завода, господин де Ремильяк, старый, сухой гасконец, с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремильяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода.

В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской свободной компании. Видишь ли: есть у татар такое словечко – «хардаш», что значит, товарищ, друг. Но у них товарищи бывают разного рода: товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке... Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется киль-хардаш, и им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот: Мария как раз была чудеснейшим киль-хардашем.

Она обладала той быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям, но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздает женщинам, умным и искренно любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы.

Мы любили путешествовать наудачу. Брали карту Прованса, кто-нибудь из нас, зажмурив глаза, тыкал пальцем куда попало, и какой город или городишко оказывался под пальцем, туда мы и ехали в ближайшую субботу. Прованс неистощим в своих красотах.

Странно: чаще всего в этом гаданье выпадал у нас городок с весьма забавным названием: Cheval-Blanc – Белая Лошадь! Но он был точно заколдован: всегда нам что-нибудь мешало открыть его. Мария однажды сказала о нем очень мило:

– Ты знаешь, как я себе рисую этот таинственный город? Там давно уже нет ни одного живого существа. Плющом повиты развалины старых римских домов и разбитых колонн. А на площади высится лошадь из белого мрамора, раз в десять выше натурального конского роста. Крошечные жесткие колючие кустарники, и кричат цикады... и больше ничего нет. Но я думаю, что ночью, при лунном свете, там должно быть страшно...

Удивительно: этот неведомый городок всегда тревожил мое воображение каким-то смутным предчувствием. Не суждено ли мне умереть в нем? Не ждет ли меня радость? Или, может быть, глубокое горе? Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя.

Незабвенные жаркие дни под южным солнцем; сладостные ночи под черным небом, усеянным густо, до пресыщения, дрожащими южными звездами. Прохладная тихая полутьма и строгий мистический запах древних каменных соборов, уютные остеллеры и обержи¹⁰, где пища была так легка и проста, незатейливое местное вино так скромно пахло розовыми лепестками, а ласковая улыбка толстой хозяйки так дружески поощрительна, что нам казалось, будто мы пьем и едим на голой груди матери-земли, прильнув ртами к ее всеблагим напряженным сосцам.

¹⁰ Постоялый двор (от *фр.* auberge).

Старый друг мой, дорогой мой дружок! Никому я обо всем этом никогда не говорил и, уж конечно, больше не скажу. Прости же мне мое многоречие...

Есть у меня утешение – моя исключительно точная память. Но как сказать: не источник ли этот дар и моих бесплодных мучений? Когда жаждающему дают морскую воду, он радуется ее прохладе, но, выпив, терзается жаждой вдвое.

У меня в памяти большая коллекция живых картин. Сюжет всегда один и тот же – Мария, – но разные декорации. Стоит мне только вытащить из моего запаса экзотическое название любого провансальского городишки или станции, связанной с нашей любовью, – какой-нибудь «Cargneiranne», или «Pont de la Clue», или «Mont des Oiseaux», или «Pas de Lancieres», или «La Barque», – вытащу, и вот передо мной полосатые навесы от солнца, длинное одноэтажное здание, крашенное в желтую краску, запах роз, лаванды, чеснока и кривой горной сосны; виноградный трельяж и непременно Мария. Она видится мне так резко и красочно, точно в камере-обскуре. Я слежу за ее легкими движениями, поворотами головы, игрой света и тени на ее лице. Я слышу ее голос, вспоминаю каждое ее слово.

Вот теперь мне вспоминается Борм... Такой небольшой уездный городишко между Тулоном и Сен-Рафаэлом. Мы в гостинице (Hostellerie), которой насчитывается около пятисот лет. Несколько раз она меняла свое название вместе с хозяевами. Последний владелец, бретонец, назвал ее «La Corriganne», что на его языке значит «Морской грот».

Там было чистенько, уютно, прохладно, но ни одного намека на грубоватую прелесть утекших веков...

Нас проводили наверх, в крытую веранду. Сквозь ее широкие арки виден был весь город, в котором все дома сверху донизу тесно и круто лепились по скалам, без малейших промежутков, совсем как соты; едва намечались какие-то узенькие проходы, винтовые лестницы, слепые черные дыры. Наверху, как на шпиле, громоздилось неуклюжее серое здание замка «Chateau fort» – бывшее страшное разбойничье гнездо.

Внизу жило, дышало, рябило, сверкало далекое море такой глубокой, густой синевы, которую можно было бы скорее назвать черной, если бы она не была синей.

Мария стояла с биноклем в середине арки, облокотившись обоими локтями о подоконник. Вдруг она воскликнула:

– Мишика, иди скорей! Посмотри на эту лодку! О, как красиво!

Я подошел, взял у нее бинокль, поглядел и подумал: что же тут необыкновенного? Сидит на веслах человек в белом костюме с красным поясом и гонит лодку.

Но она говорила:

– Нет, ты посмотри повнимательнее: весла – как крылья стрекозы. Вот она мгновенно расправила их, и как остр, как прекрасен их рисунок. Еще момент, и они исчезли, точно растаяли, точно она потушила их, и опять, и опять. И что за прелестное тело у лодки. А теперь посмотри вдаль, на этого шоколадного мальчика.

На скале стоял почти черный мальчуган, голый. Левая его, согнутая в локте рука опиралась на бедро, в правой он держал тонкую длинную палку, должно быть, что-то вроде остроги, потому что иногда, легко и беззаботно перепрыгивая с камня на камень, мальчик вдруг быстрым движением вонзал свою палку в воду и для противовеса округло подымал левую руку над головой.

– О Мишика, как это невыразимо красиво! И как все слилось: солнце, море, этот прозрачный воздух, этот полудетский торс, эти стройные ноги, а главное – что мальчишка вовсе не догадывается, что на него смотрят. Он сам по себе, и каждое его движение естественно и потому великолепно... И как мало надо человеку, чтобы до краев испить красоту!

Странно: в этот момент как будто бы впервые раскрылись мои внутренние душевные глаза, как будто я впервые понял, как много простой красоты разлито в мире.

Весь мир на мгновение показался мне пропитанным, пронизанным какой-то дрожащей, колеблющейся, вибрирующей, неведомой многим радостью. И мне почувствовалось, что от Марии ко мне бегут радостные дрожащие лучи. Я нарочно и незаметно для нее приблизил свою ладонь к ее руке и подержал ее на высоте вершка. Да, я почувствовал какие-то золотые токи. Они похожи были на теплоту, но это была совсем не теплота. Когда я вплотную прикоснулся рукою к руке Марии – ее кожа оказалась гораздо прохладнее моей.

Она быстро обернулась и поцеловала меня в губы.

– Что ты хочешь сказать, Мишика?

Тогда я рассказал ей о золотых лучах, проникающих вселенную.

Она обняла меня и еще раз поцеловала.

– Мишика, – сказала она в самые губы мне. – Это любовь.

В каждом большом счастье есть тот неуловимый момент, когда оно достигает зенита. За ним следует нисхождение. Точка зенита!.. Я почувствовал, как моих глаз тихо коснулась темная вуаль тоски.

Глава XII

Тангенс

Ах, друг мой, друг мой. Обоим нам приходилось когда-то изучать тригонометрию. Там, помнишь, есть такая величина – тангенс, касательная к окружности круга. Меня, видишь ли, ее загадочное, таинственное поведение приводило всегда в изумление, почти в мистический страх. В известный момент, переходя девяностый градус, тангенс, до этой поры возраставший вверх, вдруг с непостижимой быстротой испытывает то, что называется разрывом непрерывности, и с удивлением застаёт самого себя ползущим, а потом летящим вниз, – полет, недоступный человеческому воображению. Но еще больше поражало меня то, что момент этого жуткого превращения совершенно неуловим. Это ни минута, ни секунда, ни одна миллионная часть секунды: ведь время и пространство можно дробить сколько угодно, и всегда остаются довольно солидные куски... Где же этот таинственный момент?

Был у меня один приятель, Колька Цыбульский, талантливейший математик и музыкант и в то же время не только отчаянный эфироман, но и поэт сернистого эфира. Он как-то рассказывал мне об ощущениях, сопровождающих вдыхание этого наркотика.

– Сначала, – говорил он, – неприятный, даже противный, сладкоприторный запах эфира. Потом страшное чувство недостатка воздуха, задыхания, смертельного удушья.

Но мысль и инстинкт жизни ничем не усыплены, ничем не парализованы.

И вот, – совсем не «вдруг», без всяких границ и переходов, – я живу в блаженной стране Эфира, где нет ничего, кроме радостной легкости и вечного восторга.

– Часто, ложась на диван, – говорил Цыбульский, – и закрывая рот и нос ватной маской, пропитанной эфиром, я настоятельно приказывал себе: «Сознание не теряется сразу, заметь же, заметь, непременно заметь момент перехода в нирвану...» Нет! все попытки были бесполезны. Это... это непостижимо... Это вроде превращения тангенса!

– Вот так же, мой друг, я думаю, неуловим и тот момент, когда любовь собирается либо уходить, либо обратиться в тупую, холодную, покорную привычку. И может быть, именно в Борме, в тот самый миг, когда души наши до краев были налиты счастьем, – тогда-то и пошла на убыль, незаметно для меня, моя любовь к Марии.

Она сказала ласково, почти вкрадчиво:

– Мишика! Здесь так хорошо. Оставим здесь наш шатер еще на один день?

Я вспомнил нашу давнюю маленькую ссору, еще там, в «Отель дю Порт», в нашей корабельной каюте, и вдруг почувствовал себя утомленным и пресыщенным.

Я возразил:

– А моя служба на заводе? А долг чести? А верность слову?

Она поглядела на меня печально. Белки ее глаз порозовели.

– Ты прав, Мишика. Я рада, что ты стал благоразумнее меня. Поедем.

Мне стало жалко ее. Я поторопился сказать:

– Нет. Отчего же? Если ты хочешь, я останусь с удовольствием...

– Нет, Мишика. Поедем, поедем.

Я согласился. Дорога до Марсели была длинна и скучна. Мы много молчали. Чувство неловкости впервые легло между нами. Потом оно, конечно, рассеялось, и наши новые встречи казались по-прежнему легкими и радостными.

* * *

Теперь-то я многое обдумал и многое понял, и я убежден, что мы, мужчины, очень мало знаем, а чаще и совсем не знаем любовный строй женской души. У Марии, так смело и красиво исповедовавшей свободу любви, было до меня несколько любовников. Я уверен, ей казалось вначале, что каждого из них она любит, но вскоре она замечала, что это было только искание настоящей, единственной, всепоглощающей любви, только самообман, ловушка, поставленная страстным и сильным темпераментом.

Большинство женщин знает – не умом, а сердцем – эти искания и эти разочарования.

Почему наиболее счастливые браки заключаются во вдовстве или после развода? Почему Шекспир устами Меркуцио сказал: «Сильна не первая, а вторая любовь»?

Мария, невзирая на свою женственность, обладала большой волей и большим самообладанием. В любви не ее выбирали: выбирала она. И она никогда не тянула из жалости или по привычке выветрившейся, нудной, надоевшей связи, как невольно тянут эту канитель многие женщины. Она обрывала роман задолго до длинного скучного эпилога и делала это с такой ласковой твердостью и с такой магнетической нежностью, какую я увидел впервые на примере покойного суперкарга Джиованни. Ведь позднее, уступая моей неумемной ревности к прошлому, она мне многое, многое рассказала.

Еще я тебе скажу: есть неизбежно у женщины, нашедшей наконец свою истинную, свою инстинктивно мечтанную и желанную любовь, есть у нее одно великое счастье, и оно же величайшее несчастье: она становится неуголимой в своей щедрости. Ей мало отдать избраннику свое тело, ей хочется положить к его ногам и свою душу. Она радостно стремится подарить ему свои дни и ночи, свой труд и заботы, отдать в его руки свое имущество и свою волю. Ей сладостно взирать на свое сокровище как на божество, снизу вверх. Если мужчина умом, душой, характером выше ее, она старается дотянуться, докарабкаться до него; если ниже, она незаметно опускается, падает до его уровня. Соединиться вплотную со своим идолом, слиться с ним телом, кровью, дыханием, мыслью и духом – вот ее постоянная жажда!

И невольно она начинает думать его мыслями, говорить его словами, перенимать его вкусы и привычки, – болеть его болезнями, любоваться его недостатками. О! Сладчайшее рабство!

Такую-то любовь и принесла мне моя Мария. Ты, конечно, скажешь, что этот божественный дар был безумие, бессмыслица, дикое недоразумение, роковая ошибка? Тысячу раз говорил и до сих пор говорю я себе то же самое. Но кто же от начала мироздания сумел проникнуть в тайны любви и разобраться в ее неисповедимых путях? Кто взял бы на себя смелость, устранив любовные связи, соединять достойных и великодушных с великодушными, красивых с красивыми, сильных с сильными, а осевшую гущу выбрасывать в помойную яму?

Впрочем, это все философия. Бросим! Допьем наше вино, и я расскажу тебе о себе самом. Сделаю это без всякой пощады, со злобным удовольствием.

– Я – как бы тебе сказать?.. – я... «заелся». Так у нас говорят ярославские мужики про своего же брата мужика, который случайно разбогател, а следовательно, загордился, заважничал и захамил: «Чего моя левая нога хочет!» Вот про него-то и говорят: «Ишь, заелся, сладкомордый!» Видишь, друг, я не щажу себя.

С первых дней нашего знакомства я очень скоро и с восхищением убедился, что Мария гораздо выше меня – и интеллектом, и любовью к жизни, и любовью к любви. От нее исходила живыми лучами здоровья теплая, веселая доброта. Каждое ее движение было уверенно, грациозно и гармонично. Она была красива своей собственной оригинальной красотой, неповторимой и единственной. Разве я не видел постоянно, как пристально на нее глядели мужчины,

и какими долгими, испытующими, ревнивыми взглядами ее провожали женщины, и как они по многу раз оборачивались на нее.

Я уже говорил тебе, что в первые розовые дни нашей любви я чувствовал себя перед нею и некрасивым и неуклюжим... Она для меня была богиня или царица, полюбившая простого смертного. Ее свобода еще более подчеркивала мою русскую стеснительность...

Но как бездонно глубока область интимных любовных восторгов. Ни для кого не прощупываемая, альковная жизнь связывает двоих людей – мужчину и женщину – ночной эгоистической тайной; делает их как бы соучастниками сокровенного сладостного греха, в котором никому нельзя признаться, о котором, даже между собою, стыдно говорить днем и громко.

Эта сила любовной страсти побеждает все неловкости, сглаживает все неровности, сближает крайности, обезличивает индивидуальности, уравнивает все различия: пола, крови, происхождения, породы, возраста и образования и даже социального положения – так несказанно велика ее страшная, блаженная и блажная мощь!

Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!

* * *

Не знаю сам, когда и как это случилось, но вскоре я почувствовал, что проклятая сила привычки уничтожила мое преклонение перед Марией и обесцветила мое обожание. Пафос и жест вообще недолговечны. Молодой и пламенный жрец сам не замечает, каким образом и когда обратился он в холодного скептического хитреца.

Я не разлюбил Марию. Она оставалась для меня незаменимой, обольстительной, прекрасной любовницей. Сознание того, что я обладаю ею и могу обладать, когда хочу, наполняло мою душу самолюбивой, павлиньей гордостью. Но стал я в любви ленив, небрежен и часто равнодушен. Меня уже не радовали, не трогали, не умиляли, не занимали эти нежные словечки, эти ласковые, забавные имена, эти милые, глупые шалости, все эти маленькие невинные цветочки насыщенной любви. Я потерял и смысл и вкус в них, они мне стали непонятны и скучны. Я позволял себя любить – и только. Я был избалованным и самоуверенным владыкой.

Но так же, как Марии не пришло бы никогда в голову мерить и взвешивать свою щедрую, широкую, безграничную любовь, так и я совсем не замечал перемены в моих отношениях к ней. Мне казалось, что все у нас идет по-прежнему, просто и ровно, как и в первые дни. Да. Постепенность и привычка – жестокие обманщицы: они работают тайком.

Но это еще не все. Та прежняя Мария, которой я еще недавно так любовался, Мария-друг, Мария-собеседник, Мария-спутник – «киль-хардаш», веселый, живой ее ум, прекрасный характер, светлая любовь к жизни, милость ко всему живущему – все это потеряло в моем сознании и пленительность и ценность. Скажу даже, что многое в Марии мне начинало не нравиться.

Было у нее, например, одно маленькое удовольствие: кормить лошадей. Для этого она всегда носила в сумочке сахар. Как увидит на улице серого, слоноподобного, огромного першерона, сейчас подойдет к нему и безбоязненно протянет ему на плоско вытянутой маленькой розовой ладони кусок сахара. И добрый серый великан бережно нащупывает мягкими дрожащими губами белый кусок, возьмет, захрустит и отвешивает головой низкие поклоны. Тогда Мария, не глядя на меня, протягивала мне руку, и я должен был старательно вытереть ее носовым платком.

Эта забава всегда была для меня очень приятной. Но вот однажды, когда Мария, по обыкновению, подошла к лошади с сахаром, я ни с того ни с сего заартачился. Видишь ли, забава эта вдруг показалась мне слишком детской и, пожалуй, даже неприличной. «На нас смотрят!» И я сказал:

– Мария, я бы на твоём месте так не рисковал. У лошадей часто бывает сап. Легко можно заразиться.

Она быстро, удивленно взглянула на меня и бросила сахар.

– Хорошо, Мишика, ты прав. Я не буду больше.

И с тех пор она никогда не подходила к своим серым любимцам.

Потом вышел ещё случай. Надо сказать тебе, что она никогда не подавала профессиональным нищим, но всяких уличных певцов, музыкантов, фокусников, чревовещателей, акробатов и других бродячих артистов одаривала не по заслугам милостиво.

И вот однажды мы увидели на каком-то окраинном бульваре полуголого атлета в рваных остатках грязного трико. Он стоял на разостланном дырявом ковре, широко расставив ноги, растопыря опущенные руки, склонив воловью шею, и тупо глядел в землю. Железные гири, тяжёлая наковальня, огромные дикие камни и кузнечный молот валялись около него. Собралась небольшая толпа ротозеев и безмолвно разглядывала силача и его тяжести. Щупленький, вороватого вида человечек в морском берете с красным помпоном, стоя посередине, выхвалял атлета: «Чемпион мира, король железа, мировые рекорды, почётные ленты и золотые пояса; личное одобрение принца Уэльского, орден льва и солнца!..»

Потом он останавливался на минуту, обходил круг зрителей с тарелкой, в которую скупо брякали медные и никелевые су, и опять принимался звать почтенную и великодушную публику.

– Подойдем поближе, – сказала Мария.

Я поморщился:

– Дитя мое, что ты находишь здесь интересного? Здоровенный детина, которому лень работать, ломается перед бездельниками. И какая тупая морда у этого ярмарочного силача: наверное, прирожденный взломщик и убийца.

О, черт бы меня побрал! Откуда вдруг явилось во мне это благоразумие, эта брезгливость, эти гражданские чувства? Никогда раньше я в себе их не находил. Мария сказала:

– Пожалуй, ты прав, Мишика. Мне просто его жаль. Пойдем отсюда.

Но, прежде чем уйти, она быстро скомкала синюю кредитную бумажку и кинула ее в середину круга на ковер. Зазывальщик быстро ее подхватил и, отвесив Марии шутовски низкий поклон, закричал:

– Благодарю вас, бесконечно благородная дама, столь же прекрасная, сколь и великодушная. Дамы и господа, следуйте доброму примеру очаровательной герцогини!..

Вдобавок он еще послал нам обеими руками воздушный летучий поцелуй.

Я заторопился:

– Уйдем, уйдем поскорее. На нас смотрят.

Мне показалось, что она вздохнула... Или, может быть, зевнула?

Ах, милый, я наделал в эту пору глупостей и пошлостей без конца.

У нее, например, были свои «розовые старички». Так она называла те семьи, где осталось только двое стариков – муж и жена. А остальные перемерли или разбрелись по свету. Так и доживают старички свой век: оба седенькие, оба в одинаковых добрых морщинах, оба постарчески розоватые и крепкие и трогательно похожие один на другого.

У Марии было две парочки таких «розовых старичков», у которых и деды и бабки были рыбаками и рыбачьими женами. Жили они в старом порту, и Мария нередко их навещала, всегда принося с собою подарки: теплые вязаные вещи, табак, ром от застарелых морских ревматизмов, кофе, чай и фрукты. Часто она брала меня с собою, и помню, с каким теплым удовольствием слушал я прежде ее неторопливую, умную и ласковую беседу со стариками, когда она сидела по вечерам у огня с какой-нибудь ручной работой на коленях. У нее был редкий дар доброго внимания, которое так естественно и мило располагает пожилых людей к любимым дальним воспоминаниям, о которых память еще свежа, а ненужные мелочи давно отпали.

Никогда она не уставала внимать этим морским наивным повестям – пусть уже не раз повторяемым – о морской и рыбацкой жизни, о маленьких скудных радостях, о простой безыскусственной любви, о дальних плаваниях, о бурях и крушениях, о покорном, суровом приятии всегда близкой смерти, о грубом веселье на суше. От этих рассказов чувствовалась на губах соль: соль морской пены, соль вечных женских слез и соль трудового пота.

О, Мария, как ты любила эти бесхитростные рассказы. Недаром в тебе текла напоенная озоном кровь морских волков, флибустьеров и адмиралов, а в моих жилах течет медленная кровь сухопутного интеллигента!

Однажды я отказался сопровождать ее к «розовым старичкам», оправдываясь спешной работой. В другой раз отказался уже без всякого повода. Просто сказал, что мне не хочется.

– Они тебе не нравятся, Мишика, мои «розовые старички»?

– По правде сказать, не очень. Всегда одно и то же. Скучно. Да и не особенный я любитель моря, и морских рассказов, и морских стариков.

Ее нижняя губа нервно вздрогнула. Я понял, что Мария обиделась. Не на мою грубость, не за себя, а за своих «розовых старичков».

– До свидания, Мишика, – сказала она сдержанно.

Сказала и ушла.

Глава XIII

Белая лошадь

Она сказала «до свидания», встала с персидской оттоманки и ушла быстрыми, легкими шагами.

Я думал, что она вскоре вернется, чтобы объяснить мне причину этого внезапного и резкого прощания. Я сидел и ждал. Она медлила, а я молча вспенивал, взвинчивал в своей душе ненависть. В этом мелком, беспричинном и бессмысленном озлоблении я уже готовил ей новые, ядовитые обиды. Я собирался высказать ей грубо мое мнение о ее благотворительных экранах и вообще о ее кустарной филантропии: «В основе все это ложь, фальшь и лицемерие. Это нечто вроде копеечных Евангелий, приносимых старыми английскими девами в тюрьмы и публичные дома; взятка Богу; свеча, поставленная перед иконой неумолимым ростовщиком, страховка трусливого богача против будущего народного гнева, а в лучшем случае, – это всего лишь детская клистирная трубка во время пожара...»

Я еще хотел рассказать ей об одной жестокой сцене, происшедшей между Львом Толстым и Тургеневым и чуть не доведшей их до дуэли. Во всяком случае, после нее великие писатели остались надолго врагами. Во время завтрака у Толстых Тургенев с неподдельным восхищением говорил живописно о том, как английская гувернантка приучает его побочную дочку, Полину, к делам благотворительности.

– Каждое воскресенье, – умиленно говорил Тургенев, – они обе идут на самые жалкие окраины города, в хижины нищих, в подвалы бедных тружеников, на чердаки горьких неудачников... И там обе они смиренно и самоотверженно занимаются целый день починкой и штопкой их убогого белья. О, как это трогательно, прекрасно и просто. Не правда ли?

Тогда Толстой вскочил из-за стола, стукнул кулаком и воскликнул:

– Какое лицемерие! Какое ханжество! Какое издевательство над нуждой!

Тургенев ответил жестким словом и выбежал из дома. Дуэль едва-едва удалось предотвратить.

Но это не все. В душе моей кипели ревность и обида. Я готовился упрекнуть Марию ее всегдашним влечением к простолюдинам, к плебсу, к морским и уличным бродягам, к первобытной силе, к грубому здоровью, к чему всегда тянет пресыщенных женщин, как тянуло, например, гордых римских матрон...

Но Мария не приходила... Друг мой! Она так и не вернулась... Не вернулась никогда. Послушай меня – никогда!

У меня хватило мужского самообладания: я одолел в себе страшное желание постучаться к ней в комнату. Я решил поехать к себе на завод. Завтра вечером, думал я, она заедет за мною. Тогда мы объяснимся. Может быть, я был не прав перед нею? Я могу извиниться. Женщинам надо прощать их маленькие причуды. А не приехать она не может. Это сверх ее сил. Любовь ее ко мне – это даже не любовь, а обожание.

С такими мыслями я проходил в переднюю мимо царственного, великолепнейшего павлина, переливавшегося всеми прелестными оттенками густо-зеленых и нежно-синих красок. Вдруг меня качнуло мгновенное головокружение, и я остановился перед экраном, чувствуя, по сердцебиению и по холоду щек и губ, что бледнею. В памяти моей вдруг пронеслись недавние слова Марии:

– У павлина нет ничего, кроме его волшебной красоты. Это существо надменное, мнительное, глупое и трусливое да вдобавок с пронзительным и противным голосом.

– Черт возьми! Не обо мне ли это сказано? Хорошо еще, что красотой я не блещу.

И очень поспешно сбежал я с винтовой дубовой лестницы.

Но на другой день моя влюбленная Мария не захала и не дала ничего знать о себе и на третий день.

На четвертый день я, совсем унылый, робкий, покаянный, решил пойти на Валлон д'Ориоль. Сам себе я казался похожим на мокрого, напроказившего пуделя или на недощипанного петуха.

Мне отворила дверь эта проклятая змея Ингрид, эта бешеная колдунья. Я вошел в ателье и спросил:

– Дома ли мадам Дюран?

– Мадам Дюран уехала три дня назад. Но она приказала мне быть в вашем распоряжении.

Я спросил ехидно и сердито:

– Она мне подарила вас?

– Совершенно верно. Подарила до вашего или до ее распоряжения. Итак, господин, я готова вам служить.

Я ответил:

– Я нуждаюсь в вас, сударыня, менее, чем в ком бы то ни было на свете. Скажите мне ее адрес.

– Если бы я и знала его – все равно я бы не сказала вам.

И какие дерзкие, какие ослепительно гневные глаза выпятила на меня эта белокурая дьяволица, эта маленькая, никогда не доступная моему пониманию помесь ангела с чертенком!

– Вы свободны! – так я крикнул ей и побежал. На бегу мелькнул мне боком в глаза блистательный павлин. От злобы и отчаяния, душивших меня, я невольно, но очень громко хлопнул дверью, и когда лестница вся загудела, я успел расслышать голос маленького чудовища:

– Imbecile!¹¹

Мария по-прежнему не давала о себе знать. Наконец недели через две я получил от нее письмо.

«Милый Мишика, благодарю тебя за то великое счастье, которое ты мне дал. Все это время я думала о тебе, о себе и о нашей любви. Бог знает каких усилий мне стоило, чтобы не сорваться, не полететь к тебе первым попавшимся поездом. Наконец я поняла, что нам нельзя жить ни вместе, ни близко друг от друга. Что-то есть в нас такое, что постоянно разъединяет нас и мешает нам жить в полном счастье, а всякие поправки, всякие новые пробы и испытания повлекли бы новую и все более сильную вражду. Пишу тебе из маленького городка „Белая Лошадь“. Я ошиблась, когда воображала его в таком поэтическом и величественном виде. Здесь почти две тысячи жителей, английские отели, проводники, живописные виды, фотографии и даже лаун-теннис. Завтра я покидаю Европу. Мы больше не встретимся, и мой дружеский совет – забудь обо мне совсем и как можно скорее.

Прощай. Целую тебя.

Твой друг Мария».

И постскриптум:

«Я знаю, ты некорыстолюбив и горд, но если тебя постигнут нужда или несчастье, обратись от моего имени к директору завода г. Ремильяк. Он охотно придет тебе на помощь.

М.».

Вот так-то все кончилось, мой старый дружище... Ничего... Я покорен велениям судьбы... Колеса времени не повернешь обратно... Живу по инерции. Но одна, одна мысль не дает мне

¹¹ Дурак! (фр.)

покою: почему я не умел любить Марию так просто, доверчиво, пламенно и послушно, как любил ее матрос Джиованни, этот прекрасный суперкарго? Да! Из разного мы были теста с этим итальянцем.

Или в самом деле меня сглазил проклятый павлин?

(1929)

Жанета

I

В юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестиэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям – немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инока. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашенный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро¹² мадам Бюссак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в древние времена, название не то макфарлана, не то пальмерстона, его рыбацью широкою шляпу, насунутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»¹³ и вообще пылили, но теперь по привычке и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, – с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром – словом, всего того, что французы считают выражением «ам сляв»¹⁴ и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо.

¹² Ресторанчиком (от *фр.* bistro).

¹³ Ну, что же! (*фр.*)

¹⁴ Славянской души (от *фр.* L'âme slave).

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяйину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

– Мсье, да-ам!..

– Мсье! – произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается – идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

– Но какой прекрасный день!

Или:

– Ах, какой дождь!

– О да! – убедительно подтверждает патрон и, в свою очередь, с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: – Тужур промнэ?¹⁵

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно – в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз – а они все порядочны – отлично знает, что гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же снует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки – ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться – на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великолепные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на частных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимут плечи до ушей и возразят:

– Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их давят автомобили. Улица не для философов и рогозеев, а для пешеходов. Вуаля ту!¹⁶

«А ведь они правы», – думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рявкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

¹⁵ Все прогуливаетесь? (От *фр.* Toujours promenez?)

¹⁶ Вот и все (от *фр.* Voilà tout).

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии, по физике, органической химии и дендрологии.

У него были все возможности для того, чтобы стать звездой в ученом мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в обработке мелочей. Он был лишен профессионального честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше.

Быстро загораясь и так же быстро охладевая, – о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменял, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон Жуаном науки. Но он был и ее Дон Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете, явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

– Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг – электрическая батарея, непрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком грядущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревью парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях апокалипсиса и тому подобное.

Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувырком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческим ревматизмам в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову.

Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши полудикий кот – черный, длинный, худой, наглый, – настоящий парижский апаш кошачьей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк.

Кот требовательно мяукал, распяливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой безгловостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачистил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздиравательные кошачьи вопли, он думал: «Это мой Вандреди¹⁷ там воюет».

Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее, – кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем недоступны профессору.

Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор отворил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширявшихся, то сжимавшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

– Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе Библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, – прапращур профессора дрожал, голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах корявой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем. Это случалось в душные вечера пред ночной грозой, когда неподвижные, набухающие облака свинцовеют и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о кремь.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессорские колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя.

¹⁷ Пятница (от *фр.* vendredi).

Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель – пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в Петровской академии. С ним вместе они, случалось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому лесу», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, – художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику – профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезок молодого месяца.

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная – значит, завтра будет ветер», – подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли.

У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки – пусть даже и вздорные, – как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе – позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскачиваются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почувствовал отдаленный, еле уловимый, кисловатый, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ним она как-то вскользь сказала:

– О мсье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, – мой самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и, несомненно, в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хриплыми, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и посвистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть – опять закричат, навстречу солнцу, уже совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется, потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется изда- лека низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разно-голосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоюют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со сви-сающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать еже-дневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду не прекращающимся гулом, который, привычно неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и

трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

– Заворчал апокалипсический зверь, – сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

По бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля-Мюетт (бонжур, мсье, да-ам), пшена, муки и соли в бакалейной (За ва? – За ва!¹⁸), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» – «Но ветер». – «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ, мсье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай.

Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищулив один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад.

Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево – радуги побегут вправо; наклонишь направо – они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на перехватах.

По улице носится порывистый шальной ветер. Под его капризными ударами вся нежная паутиная постройка, сверкая радугой, вздрагивает, трепещет и вдруг упруго надувается, как переполненный ветром парус.

Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

¹⁸ Идет? – Идет! (фр.)

Самого архитектора не видно. Он, должно быть, очень мал или искусно спрятался. Какую громадную массу строительного материала вымотал он из своего почти невесомого тела.

Сколько бессознательной мудрости, расчета, находчивости и вкуса вложено сюда. И все это ради одного дня, может быть, одной минуты, ради ничтожной случайной цели.

«Как богата природа, – размышлял почтенный профессор, – с какой щедростью, с каким колоссальным запасом она одаряет все ею созданное средствами к жизни и размножению. На старом сибирском кедре до тысячи шишек, в каждой до сотни орешков, а конечная цель – всего лишь одно зернышко, случайно попавшее в земную колыбель, лишь один росток слабой жизни, которой грозят тысячи гибелей. Но зато и кедров не один, а миллионы, и живут они, ежегодно оплодотворяясь, многие сотни лет, и все кедры – порука за род.

В хорошем осетре – пуд икры, миллионы икринок, но конечная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого количества зародышей вырастет хотя бы десяток рыб. Пара мух, если бы яички самки оставались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, как теперь ее покрывает человечество, разросшееся не в меру».

«Да, – думает профессор, – жизнь есть благо. Благо, и размножение, и еда. Но и смерть так же благо, как все необходимое. Мечта о человеке, который победит наукою смерть, – трусливая глупость. Микробам так же надо есть и размножаться и умирать, как и всему живущему.

И как разнообразно вооружила природа все существа для борьбы за жизнь. Панцири, клыки, жала, пилы, иглы, насосы, яды, запахи, самосвечение, ум, зрение, мускулы. Кто видел блоху под микроскопом, тот знает, какое это страшное, могущественное, невероятно сильное и кровожадное создание... Будь она ростом с человека, она перепрыгнула бы через Монблан и уничтожила бы в несколько секунд слона.

Или вот этот паучишко... Какой сильный ураган выдерживает теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну разве можно хоть в малейшей степени сравнить это божественное сооружение с таким жалким и грубым делом рук человеческих, как Эйфелева башня, столь похожая в туманный день на бутылку от нежинской рябиновой? Во сколько раз Эйфелева башня тяжелее, прочнее и долговечнее легкой паутины? Это невысказанно высчитать, – получится число со столькими знаками, что их не упишешь в одну строку самым мелким почерком. Возьмем, однако, для простоты, скромный, ничтожный миллиард.

Положим, я обозначу то давление ветра, которое испытывает теперь паутина, четырьмя баллами, по метеорологическому исчислению. Тогда для того, чтобы Эйфелева башня испытывала то же самое давление ветра, как паутина, надо это давление увеличить пропорционально силе сопротивляемости башни, то есть до четырех миллиардов баллов. Это великолепно! Ветра силою в сорок баллов не может себе представить воображение человека. Ураган в четыреста только баллов в одно мгновение свалил бы Эйфелеву башню, как картонный домик, как здание из соломинок, и сбросил бы этот мусор в Сену. Нет! Он сдунул бы весь Париж и помчал бы его камни, его развалины на юго-восток. Он выплеснул бы всю воду из рек и разбрызгал бы моря по материкам. Да, уж конечно, не паук строит лучше инженера, но природа строит крепче и мудрее всех инженеров мира, взятых вместе, – природа – одна из эманаций Великого, единого начала, которому слава, поклонение и благодарность, кто бы оно ни было».

V

На этом месте своих отвлеченных размышлений профессор вдруг перестал комкать рыжую бороду. Уже давно, в то время как его сознательное «я» занималось построением пропорций, – его «я» подсознательное ощущало какое-то смутное беспокойство в правой руке. Профессор склоняет голову направо и вниз. Действительно, в его сжатой ладони спокойно лежала маленькая шершавая ручонка, а рядом с ним стояла девочка лет пяти-шести, ростом немного повыше его бедра. Как он мог не почувствовать этой детской лапки, прокравшейся в его руку? Впрочем, с ним бывали случаи еще более странные. В Гельсингфорсе он зашел однажды в парикмахерскую, где, обыкновенно через день, очень ловкая женщина-парикмахер обравнивала его бороду и подстригала волосы на щеках машинкой ОО.

Он ни разу в жизни не брился.

В этот день, садясь в кресло, он молча показал рукой на обе щеки и даже не заметил, что вместо знакомой парикмахерши над ним хлопочет какой-то новый мастер. Он и до сих пор помнит, какой предмет захватил тогда его внимание. Еще по дороге в парикмахерскую ему пришло в голову, что почти все человеческие лица, – особенно мужские, – можно при всем их кажущемся бесконечном разнообразии разделить по внешнему сходству на несколько сотен, а может быть, даже и десятков определенных типичных групп. И вот, сидя в кресле, повязанный по горло белым полотенцем, глядя прямо на свое отражение в зеркале и не видя его, он так увлекся вызыванием в зрительной памяти всех знакомых ему мужских физиономий, что совсем не замечал, как парикмахер опенивал мылом обе его щеки. Он опомнился только тогда, когда перед его глазами блеснуло губительное лезвие бритвы.

В тот самый миг, когда профессор увидел девочку, она тоже очнулась, отвела свой взгляд от паутины и устремила его вверх, в глаза странного, большого старого человека. Указательный палец правой руки еще оставался у нее во рту, прикушенный острыми белыми зубками, – известный знак напряженного внимания и удивления.

У нее был смуглый кирпично-бронзовый цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы размазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был затрепанный балахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху. Прямые, жесткие, черные – в синеву – волосы падали ей на лоб и на виски, как у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в ее черных сладких глазах, нешироких и прорезанных чуточку вверх от переносья. У нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, застенчивости и упорства, ласки и недоверия.

Тут только девочка и сама заметила, что ее рука нечаянно попала в плен. Ни дети, ни молодые домашние животные не переносят, когда их члены лишены свободы. Миленькие обезьяньи пальчики вдруг все пришли в движение. Они стали точно крабом или большим жуком со множеством лапок, и эти лапки начали упираться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконец, не вывинтились на свободу из кулака.

– Как ваше имя, прекрасное дитя? – спросил Симонов.

– Жанет, – ответила девочка и, показав головой на паутину, сказала: – Это очень красиво!

Не правда ли?

– Очень красиво.

– Кто это сделал?

– Паук. Такое насекомое.

– Зачем сделал?

– Чтобы ловить мух. Летит маленькая мушка и не замечает этих ниточек. Запуталась в них, не может никак выбраться. Паук видит. Пришел и съел мушку.

– А зачем?

– Потому что он голодный. Хочет есть.

– А он большой? Где он?

– Подожди, я попробую его позвать.

Профессор роется в карманах разлетайки, наполненных тем мусором, которым всегда полны карманы рассеянных мужчин, лишенных зоркого женского досмотра, достает измятый обрывок бумажки и, выждав короткую передышку ветра, начинает нежно щелкать ее уголком нити паутины. Из-за черного железного прута медленно высовываются две тонкие ножки, коленчатые ножки паутинного цвета, за ними виднеется что-то бурое, мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной головки. Профессор и Жанета переглянулись. Лица у них сосредоточены, как у двух соучастников важного дела, требующего особой осторожности. Но паук, тоже не торопясь, складывает свои ножные суставы и втягивает их назад.

– Ушел, – шепчет профессор.

– Да-а. Он – хитрый. Он увидел, что это мы, а не муха.

– Где же ты живешь, Жанета?

– Здесь и там.

Она указывает пальцем сначала на соседний дом, потом вдоль улицы на газетный киоск и поясняет:

– Здесь мы спим, а там продаем газеты.

– Почему же я тебя раньше не видел?

– Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще до деревни. Вы очень смешной.

– Много благодарен. Пойдем, дитя мое, со мной, я куплю газету.

Он берет ее за руку. Теперь ручка девочки доверчива, но живые пальцы не могут не шевелиться и не подрагивать: так много в них электрического чувства свободы.

Газетный киоск втиснулся между забором железной дороги и перекинутым через нее воздушным мостиком. Это – деревянная будочка с квадратным оконцем и наружным прилавком, на котором газеты лежат стопками, прихваченные сверху, чтобы не развеял ветер, свинцовыми полосами. Коричневых стен киоска почти незаметно из-за множества покрывающих их иллюстрированных журналов, сцепленных между собой деревянными прачечными защипками. По обе стороны прилавка – два ящика с покатыми стеклянными крышками. В них различный мелкий товар для подсобной грошовой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шерсти, наперстки, шпильки, кружки ленточек и тесьмы, карандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы роговые, деревянные, костяные, наконец, конфеты в фольге, в бумажках и простой леденец. Внутри домика есть переносная железная печь с плитой. Над крышей высится коленом черная жестяная труба. Когда из этой трубы валит дым, Симонову кажется, что вот-вот киоск-вагончик засвистит и вдруг поедет.

К киоску прислонена, загромождающая тротуар, детская клеенчатая, сильно подержанная коляска с откинутым верхом, в каких возят годовалых детей. Вся она полна разной игрушечной, отслужившей свой век инвалидной рухлядью. Тут и плюшевые мишки, и коричневые суконные обезьянки с глазками из черных бисеринок, и рыжие курчавые пудели, и головастые разноглазые бульдожки, и дырявые слоны из папье-маше, и множество полуодетых и вовсе голых кукол, иные без волос и без носов, иные с вылезшими наружу паклевыми и стружковыми внутренностями.

– Очень хорошо, не правда ли? – шепнула ему Жанета.

– Великолепно!

– Это все мое.

– О!

Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся в глаза иллюстрированный сельскохозяйственный журнал большого формата, довольно толстый, с двумя серыми гривастыми мохноногими орденами на голубоватой обложке. Но устрашала цена в два франка пятьдесят сантимов. Газет он не читал, ни русских, ни иностранных. Газеты, говорил он, это не духовная пища, а так, грязная накипь на жизни-бульоне, которую снимают и выбрасывают. По ней, правда, можно судить о качестве супа, но я не повар и не гастроном. А если произойдет нечто исключительно важное, то все равно кого-нибудь встретишь – и расскажет. Газеты тем и сильны, что дают людям праздным, скучным и без воображения на целый день материал для пересказа «своими словами». Пришлось взять листок с первой попавшейся стопки – оказался «Journal des Débats». Когда он расплачивался, маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась.

Профессор начал было рассказывать о пауке, но у него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сантимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, еще цветущая женщина, с значительной долей еврейской или цыганской крови в жилах, далеко не такая смуглая и черноволосая, как Жанета, и совсем на нее не похожая. Общее у них было только в рисунке рта, но не в выражении. Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по забывчивости еще сохранили форму поцелуя.

Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, – она бывала еще груба со своими клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami¹⁹, – должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевиной гарью. Она держала его в строгости. Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той свободной откровенностью, какая повелась в Париже со времен войны.

– До свиданья, мадам, – сказал профессор. – Ваша Жанета очаровательный ребенок.

Газетчица почти рассердилась.

– О, вовсе нет, мсье, вовсе нет. Она – дьявол.

– Мадам, разве можно так про ребенка?

– Я вам говорю, что она дьявол. Она злая, она очень злая... Она дьявол.

И вдруг без всяких переходов:

– Поди ко мне, поди скорее, моя крошка.

Когда Жанета протиснулась к ней через узенькую боковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притиснула к своей пышной груди и стала осыпать бешеными поцелуями ее замурзанную мордочку, а в промежутках ворковала стонущим, нежным, голубиным голосом:

– О мой цыпленок, о мой кролик, о моя маленькая драгоценная курочка, о моя нежно любимая!

«А через три минуты она опять ее за что-нибудь нашлепает, – подумал, уходя, профессор. – Такие страстные, нетерпеливые матери – только француженки и еврейки».

Черный кот встретил Симонова странно-холодным и точно недружелюбным взглядом. «Это оттого, – подумал профессор, – что я опоздал». Кот съел свою порцию грудинки с необыкновенной жадностью и быстротой. Но, окончив еду, он не лег, против давнишней привычки, на полу, в золотом теплом солнечном луче. Он тяжело прыгнул на стол, выгнув спину вверх, по-верблужьи, и пронизательно, с яростной враждой уставился большими зелеными глазами в глаза профессора.

– Ты что, брат Пятница? – Профессор нагнулся, чтобы его погладить, и протянул руку. Но кот не позволил. Он злобно фыркнул, мгновенно повернулся к человеку задрапав хвостом и в два упругих прыжка очутился на карнизе и на крыше.

– Сердится, – сказал смущенный профессор и мотнул головой. – Но за что?

¹⁹ Дружку (фр.).

Проходят день и ночь. Наступает мутное и сухое утро. В полдень Симонов смотрел на флюгер чужой виллы. Стрелка его ни на мгновение не оставалась в покое. Она капризно, с разными скоростями вертелась то по солнцу, то против солнца, по всем тридцати двум румбам. В четыре пополудни стало жарко.

– Ну и здоровенная же будет нынче гроза, – сказал самому себе вслух профессор, выходя из дома. – Ого, уже начинается.

И правда: людям и животным не хватает воздуха. У них сохнут губы, языки и горла и кровью набухают затылки. Порывистый, изменчивый южный ветер сирокко не приносит облегчения, а только обдаёт на мгновение огненным дыханием, летящим из Сахары.

Сорванные с пешеходов соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребром по пыльной мостовой, а за ними козлом скачут люди с развевающимися полами пиджаков. Безобидно смеются зрители. Смеются и сами пострадавшие, крепче натягивая шляпы на затылки. Зонтики с треском выворачиваются спицами вперед. Женские юбки тюльпанами вздымаются вверх или вдруг тесными морщинами облипают груди, животы, бедра и ноги. Женщины идут против ветра, нагнувшись, низко склонив головы, прихватывая левой рукой шляпку, а правой непослушные легкие одежды.

В Булонском лесу этот взбалмошный ветер раскачивает, треплет, рвет и ерошит старые, могучие, шумящие деревья и крутит их шипящие от злобы вершины, как половые метлы. Он то заголит всю листву на светлую изнанку, то внезапно перевернет ее на темное лицо, и от этой размашистой игры весь лес то мгновенно светлеет, то сразу темнеет. И весело переплетаются в листве, на зелени газонов, на желтом песке дорожек узорчатые подвижные пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащих теней.

Под широким шатром могучего разлатого каштана, лицом к ветру, сидит человек в сером балахоне, так низко опустивший грудь и голову, что проходящим, из-под его рыбачьей шляпы, виден только кончик его огненно-рыжей седоватой бороды. Этот кончик он иногда задумчиво пощипывает двумя пальцами, иногда рассеянно сует в рот и пожевывает. Прохожие с легкой улыбкой замечают также, что порою этот большой, живописный старик вдруг то ударяет себя кулаком по колену, то пренебрежительно пожимает плечами и резко вскидывает голову, то гневно стукнет палкой по земле: дурные привычки людей, умеющих думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и последовательно.

Но проходим только так кажется, что здесь, на зеленой скамейке, сидит всего один человек. Им ни за что не догадаться, что близ них ведут бестолковый и неприятный семейный разговор два совершенно разные существа, неразрывно спаянные в одном человеческом образе. Первый – профессор химии, физики, ботаники, физиологии растений, ученый лесовод и лесничий, дважды доктор *honoris causa*²⁰ европейских университетов, вечный старый студент, фантазер, непоседа, святая широкая душа с неуживчивым характером, бессребреник и ротозей. Другой – просто Николай Евдокимович Симонов и больше ничего, человек, каких сотни тысяч, даже миллионы на свете. Николай Евдокимович знает очень и очень многое. Ему, например, известно, что в ожидании дождя порядочные люди берут с собою зонтики, выходя на улицу, что, возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно без грохота затворять за собою входную дверь, что лестницы для того обнесены перилами, чтобы за них держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуют оплаты, что автомобиль на крутом повороте способен свалить с ног замечтавшегося зеваку. И еще бесконечное количество подобных умных и полезных законов. Наконец, как важнейший параграф домашнего катехизиса, он исповедует строгую истину о деньгах. Деньги чеканятся круглыми для удобного ношения в кошельках, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать их ребром катиться по свету, и наоборот: им придана плоская

²⁰ Ради почета (*лат.* выражение, означающее получение ученой степени без защиты диссертации).

форма, дабы красивее было их складывать в стопочки перед тем, как, пересчитав, отнести в солидный банк.

Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока презирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кряхтит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимович говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.

Сидят теперь оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой беседе и принимают в ней тревожное участие.

VI

Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raupouard, рука великого человека, все знавшая, все испытывавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.

Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:

Ici

Un

*Rembrandt*²¹

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.

Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:

– Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.

Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:

– Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уже третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.

Ну да – все это мило, хорошо и трогательно, тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое

²¹ Здесь Рембрандт (*фр.*).

увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.

– Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь – вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!

«Все тут, и баста, все тут, и баста», – шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.

Николай Евдокимович сдаётся:

– Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.

– Перестань, старая шарманка, – раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служащий не сдаётся.

– Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачехталась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, – а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, ткет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.

– Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленом лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора

Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неутомимый филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спасительной боязни, благоразумного умалчивания, политического воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых истин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:

– Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! Ведь я никогда не испытал и не перечувствовал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, прятные радости отлетают от них. Ах! Я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?

Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников, и бездарностей, и необразованных лентяев.

Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарки, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокойным достоинством принимал казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию до самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен.

«Гениальная скотина», – назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык великий циник граф Витте.

Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странен как по своей неожиданной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода.

Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским Абрау-Дюрсо, могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитой старого дерева.

Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздумавшей подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но, во всяком случае, этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покорило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «Поговорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. А это – немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским, – и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»

Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:

– У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюжинском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умею, и никогда работы не боялся, и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете.

Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:

– Если бы я не поверила вам, то неизбежно должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светиле науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдем к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным размещителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в удесятеренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! – сказала Лидия с гордой похвалой...

Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.

Впоследствии Симонов много раз возвращался памятью к этому странному времени жениховства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее

типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из последних. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус, для того чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами.

В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распушенности и из-за снобизма юноши и девушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:

– Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цветей киндер систем» право гражданства. Это и необходимо и достаточно.

Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и несколько не удивился тому, что, родив вторую, и последнюю, девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.

Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала она, правда, – и то с грехом пополам, – слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи, и базары, и прочие веселые пустяки с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предложениями заказывать новые модные костюмы.

Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, – у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустраиватели мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Такое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбегать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с прото-дьяконом Шаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, – эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего декадента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и

безумно дорогую литературу, а московские дебелие девичьи бредили во сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра.

И покупали.

Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра Первого привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статейки в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить.

Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сэндвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».

Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасаемой огненной звездой.

Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты – просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были футуристические музыканты и кубистические художники. Этим не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках быть непонятым считалось первой ступенью к гениальности.

Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэму, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-голубой верзила спросил в нос:

– Ну, что же, Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшими из всех русских поэтов?

Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво про-
бормотал:

– Я думаю, что все-таки Пушкин...

– О, ослица Валаамова! – возопил прыщеватый декадент. – Весь ваш слащавый европеец Пушкин не стоит одного ногтя с моей ноги. – И вдруг, схвативши массивную чернильницу, декадент с быстрым размахом швырнул ее в лицо Пушкина, раздробив стекло и залив портрет чернилами. Симонов, весь побелев от негодования, схватил с необыкновенной силой поэта за шиворот и потащил к выходным дверям, беззвучно говоря дрожащими губами:

– Ах ты, сукин сын! Чтобы тут больше твоего духу не было! А то насмерть убью стервеца! Вон сию же секунду!

Претендент на высокое звание прекраснейшего из русских поэтов всех времен поспешно выскочил в переднюю, сбитый с толку и точно скомканный. За ним, с глухим ворчанием, посыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симонова не обошлась ему даром. Во-первых, Лидия после громадного истерического припадка, с рыданиями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поехать к желто-голубому поэту и просить у него прощения. Во-вторых, ему на веки вечные запрещено было присутствовать на декадентских радениях, хотя бы даже издали через шелку. А в-третьих, с того злополучного вечера совсем прекратились всякие человеческие отношения между мужем и женой. Здесь не было ни злости, ни мести, ни взаимного отвращения. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нет и никогда не было между ними ничего общего, сближающего, душевного и что скоропостижный брак их можно было бы объяснить только холодным, бессонным наваждением северной белой ночи и мгновенным капризом анемичной, избалованной петербургской барышни.

В начале этого расхождения Симонов даже был рад этой домашней свободе. Легче работалось, легче думалось. А главное, в эти одинокие тихие дни Симонов наконец нашел подход и дорогу к умам и характерам своих двух дочек, которые до сих пор пребывали в глупом баловстве и в капризном невежестве. Он с нежной и веселой радостью уже стал замечать, как входили в детские умы и сердца те избранные книги, которые он им читал: русские, умело подобранные сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Доде, «Хижина дяди Тома», приключения Жюль Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» Пушкина и тому подобные вещи, легко и удобно входящие в ум и в воображение детей. Он при первой возможности водил девочек в Зоологический сад, в зверинцы, музеи и галереи. Каждый листик, каждая зверь и зверюшка, каждый жуки и мушки являлись для него и для детей предметами жадного внимания и удивительных рассказов. Эти два года мирного общения с маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаниями. Прежде бывало так, что, рассерженный безалаберностью жены и ее вечным мотанием по знакомым, и по лавкам, и по заседаниям, он молчаливо повторял про себя жестокое изречение из притчей Соломоновых: «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ея». Теперь же он все чаще ловил себя на унылой мысли брошенного человека, уже свыкшегося со своим одиночеством:

– А все-таки, куда как лучше и приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и обворожительной хозяйки Лидии.

Но давно уже известно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойным молчанием. Так и Лидия вскоре стала неутомимо пилить и заедать мужа, выбрав для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое больное место – деньги.

Настало время, когда в маленькой, когда-то мило уютной комнате на Песках с утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово – деньги.

– Вы, как кажется, позабыли о деньгах? Где же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о рае в шалаше, а не о деньгах? Вы, кажется, совсем забыли, что у нас завтра – гости и, чтобы принять их, надобны деньги? Оленьке нужны деньги на башмачки, Юленьке нужны деньги на

шубку. Кухарке нужны деньги на базар, мне нужны деньги на замшевые перчатки и на билет на Вагнера. – Деньги, денег, о деньгах, деньгам, деньгами, деньгам, деньгами... Вкус ржавого железа появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлические слова, требующие денег. Вскоре и дочери, сначала как невинные попугайчики, а потом все сознательнее и настойчивее, научились этой минорной песне о вечных деньгах.

– Папочка! Почему ты нам купил аграфы сердоликовые, когда теперь все носят жемчужные? – Папочка! Почему ты купил места в партере, а не в бельэтаже? – Папочка! Почему у нас елка была с парафиновыми свечами, а у Х электрическая? Почему у Z свой собственный выезд, а мы должны трястись на извозчике-ваньке? – Папочка! Почему мамочка всегда плачет, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь давать ей деньги и что ты, кроме того, страшный лентяй и не хочешь работать?

«Какая пакость со стороны тех матерей, которые ложью восстанавливают детей против отцов, – думал часто Симонов и тотчас же поправлял самого себя: – А еще хуже длительная, текущая годами семейная злобная вражда, в которой обе стороны считают себя великомучениками и только тем занимаются, что отыскивают против врага укусов поядовитее».

Симонов, со свойственным ему мягким великодушием, рыцарски самоотверженно причислял себя к одной из враждующих сторон. Носить в себе вечную неугасимую злобу казалось ему тяжким и горчайшим бременем, и он как бы навьючивал на себя молчаливо половину общего проклятого груза. Нет, никогда он не был лентяем или скупцом. Как однажды, в далекую белую ночь, дал он Лидии торжественное обещание работать не покладая рук для счастья своего гнезда, так и держал это слово с непоколебимой энергией, с радостным сознанием исполняемого священного долга. Он успевал читать лекции в петербургских сельскохозяйственном и лесном институтах и на женских курсах, преподавал физику, химию, космографию и естественную историю в кадетских корпусах, в военных училищах, женских институтах. Одно время он руководил геодезическими триангуляционными съемками в Академии генерального штаба. Он написал много статей, как строго научных, так и популярных. Журналы принимали их охотно, редакторы рассыпались в похвалах и комплиментах... Однако гонорары повсюду были мизерные. И все-таки жить было можно, и даже жить с небольшим комфортом, несмотря на то, что тесть слукавил на приданом. Беда была в том, что Лидия никогда не знала цены деньгам, и они сыпались у нее сквозь пальцы, а Симонов во всю свою жизнь так и не научился ладить с нужными людьми, обходя их услужничеством, лестью и подбострастием: бывал, когда не надо, горд, независим, противоречив, самостоятелен и неуступчив. А эти свойства люди сильные не всегда любят.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессор Кошельников однажды любезно спросил его, как бы мимоходом:

– Что ты скажешь, милый зятек, если узнаешь, что университетский совет назначит меня быть твоим оппонентом на диссертации?

По профессорской этике такой любезный вопрос всегда имеет и огромный вес, и серьезнейшее значение. В нем как будто бы уже заранее признаются и талант и заслуги молодого диссертанта, и не чем иным, как благодарной улыбкой, на него нельзя было бы ответить. Но Симонов как-то сухо, по-медвежьи коряво возразил:

– Я бы, конечно, был весьма обрадован и польщен, господин профессор, но... но согласитесь с тем, что мы с вами все-таки в свойстве... и бог знает что могут наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, nepoтизм, протекции... и так далее. Обоим нам будет неловко.

Тесть поднялся с кресла и желчно сказал:

– Дело ваше. Как знаете, как знаете... – и, надевая шляпу в передней, еще раз прибавил: – Как знаете.

Кончилось тем, что диссертацию свою Симонов сдал в Москве, и сдал самым блестящим образом. Когда он приехал назад в Петербург, тесть не дал себе труда поздравить его.

Кошельников был не злопамятен; к тому же он очень любил свою анемичную дочку. Поэтому спустя некоторое время он сделал зятю у себя на дому великолепное предложение в духе той финансовой мудрости, которой когда-то так восхищалась Лидия. Дело заключалось в том, что несколько влиятельных и высокостоящих чинов генерального штаба предпринимали в военных целях гигантскую работу по осушению Полесья. В настоящее время начинают разыскивать и подбирают опытных инженеров, гидротехников, землемеров, лесников, геодезистов. Проектируется работа на многие десятки миллионов. Дело большое и верное, и на нем можно честным путем сделать хорошее, солидное состояние, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрые знакомства с генеральным штабом, тесть поможет своими влияниями. Надо только ковать железо, пока оно горячо.

Симонов попросил две недели отсрочки для размышлений. Аккуратно в назначенный срок он пришел к тестю и попросил у него сепаратного разговора. С первых же слов он решительно отказался от работы на Полесье, а когда профессор Кошельников спросил о причинах такого крутого отказа, зять нарисовал картину мрачную, зловещую и устрашающую.

– Во-первых, – сказал он, – осушение Полесья стоит не миллионы, а миллиарды. Во-вторых, осушение Полесья, кроме дороговизны, повлечет за собою непременно обмеление всех водных источников, речонок и рек, как малых, так и средних и больших. Это же со своей стороны грозит оскудением сельских хозяйств на громадных пространствах, остановкой водяных мельниц, прекращением путей сообщения и в особенности пароходному движению по рекам, питаемым водами Полесья. Подумайте: Днепр и теперь уже нуждается в землечерпалках, что же будет дальше, когда он высохнет. В-третьих, кто инициатор и глава этого осушительного предприятия? Полковник генерального штаба Ж. Он поляк, действительно – Ж. С идеей осушения он возится давно уже, связывая эту идею с возможностью оборонительной войны. Умный теоретик военного искусства Михаил Драгомиров сказал однажды по этому поводу: «Умный, храбрый вождь пройдет шутя через топь. Трусливый дурак разобьет голову на ровном месте».

Однако полковник Ж. теперь снова вылез наверх... И наконец – четвертое: мне удалось узнать фамилии будущих предполагаемых подрядчиков. Все это – народ жох, тертые калачи, а главное, жестокие специалисты по лесному делу.

– И что же?

– Да то, что вся суть осушения сводится к неслыханной по размерам вырубке Полесья и распродаже леса в дьявольских размерах. Военные интересы – одна только вывеска.

– Однако, – возразил тесть, – ведь там в числе пайщиков есть и высочайшие персоны.

– Тем более, – угрюмо буркнул Симонов, – мне в эту компанию не ход.

– Глупая щепетильность, – пожал плечами Кошельников, и собеседники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидия пришла к нему в кабинет и без обычной ссоры, вялым, деловым голосом предложила ему развестись с ней. Он ничего у нее не расспрашивал, сразу же согласился. По ее же просьбе он согласился и взять вину развода на себя, как на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человеку пришлось выслушать консисторских пакостей, пока развод не был зарегистрирован в порядке.

Одно условие развода огорчало и удручало Симонова: обе его дочери, по утверждению Святейшего синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось их духовное и моральное воспитание в началах и указаниях Святой православной католической церкви. «Хорошими началами она их напичкает», – сурово ворчал про себя Симонов; и, предвидя неизбежные в разводе сцены ревности из-за детей, возрастающую на этой почве неутолимую ненависть и тяжелое влияние на девочек родительской вражды, он с глухим горем оставил навсегда Петербург, чтобы занять профессию в родной, знакомой и давно любимой Москве.

Так-то порвались навеки для него все сношения с бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь ко всем детям, умиление над их беспомощностью, радость слышать их голоса и видеть их улыбки, созерцать их игры и их первые попытки к общежитию постоянно наполняли его душу целительным бальзамом. Он не ради щегольской фразы, но от глубины чистого и любящего сердца произнес свой афоризм на большом московском собрании матерей:

– Тот, кто написал хорошую книгу для детей или изобрел детские штанишки, не связывающие движений и приятные в носке, – тот гораздо более достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и завоеватели стран.

А удушливый, горячий ветер сирокко не только не хочет уняться, но все больше и больше набирает силу, злобу и упругость. Профессор давно уже устал вести бесполезную ссору со своим тупым и мещански настроенным двойником Николаем Евдокимовичем. Приближающаяся и все не решающаяся разразиться гроза точно приплюскивает его к земле и лишает воздуха. «Что же я так сижу и изнываю?» – думает он. Ведь даже гимназистам первого класса известно, что ничего нет опаснее, чем стоять в грозу под деревом.

– Пойду-ка к себе домой. У меня над моей голубятней проведен громоотвод. Молодцы французы в этом отношении. Впрочем, и во всем они молодцы, что касается стихийных бунтов и восстаний.

Он подымается, с трудом выпрямляя члены, затекшие от долгого сидения. Бесчисленные мурашки бегут под его кожей.

«Точно электрический ток, – думает профессор. – А почему бы и в самом деле этому ощущению не быть электрическим явлением?» – и в этот момент Симонов тяжело падает на землю, оглушенный и ослепленный яростными, одновременными молнией и громом. Страшный ураган срывается, как взбесившаяся лошадь. Небо, воздух и земля заволакиваются густым зловещим мраком. Ревут деревья, трещат ломающиеся ветви, с чертовским грохотом и жалобным стоном падает столетний могучий каштан, выворачивая из земли свое огромное корневище, зарытое в землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молния и гром не перестают ни на минуту. Водяные хляби разверзлись точно при потопе. Ничего не видно, кроме тяжелой, сплошной воды, закрывшей весь горизонт.

Симонов, весь промокший и потерявший дорогу, с великим трудом пробирается между деревьями, инстинктом находя дорожки и вновь теряя их. Маленькая, нежная ручонка вдруг касается его пальцев, и дрожащий, испуганный голосок говорит снизу:

– О господин. Я боюсь. Помогите мне. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мне надо идти.

– Ах! Боже мой! Ведь это Жанета, – с радостью и с ужасом узнает профессор. – Как ты попала сюда, под мой непромокаемый плащ? Вот так, вот так, моя дорогая девочка, вот так. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчас донесу до вашего киоска. – И, ловко окутав Жанету своим пальмерстоном, он храбро шлепает по лужам.

Время от времени тоненький, жалобный голосишко попискивает из узла:

– О, как я боюсь, как боюсь, мой добрый господин! – И умиленный Симонов ласково и успокоительно похлопывает ладонью по разбухшей разлеталке. Так они выходят из Булонского леса, проходят по бульвару Босежур, и там, под перекидным мостом, профессор сдает свой мокрый груз в газетный киоск, наполняя его водой и крикливым изумлением хозяйки, которая уже успела до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету в эти страшные часы бури, молнии и зловещего мрака. Она, с той быстротой и приятной ловкостью, какие свойственны всем любящим матерям на свете, освобождая девочку от бесконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движениями ее промокшее тельце, сморкала ей нос и в то же время не забывала шлепать ее по задушке и скороговоркою то браниться, то в сотый раз пересказывать Жанете, профессору и всем ближайшим соседям о тех ужасах, которые она сегодня претерпела.

– О дорогой господин, – обращалась она к Симонову. – Надеюсь, что вы извините меня за то, что я сначала подумала, будто это вы завели Жанету в Булонский лес, и вот я прибежала к вашей госпоже консьержке и осведомилась у нее о вас. И я была очень рада, когда услышала самые почтенные и добрые рекомендации о вас с ее стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бедной матери. Надеюсь, что у вас самого были сестры, дочери или внучки?

Но тут сама Жанета, решительно высвободив головку из кучи тряпья, великодушно идет профессору на помощь и защиту.

– О моя дорогая мама, – говорит она с восторгом и ужасом. – Если бы ты видела, какой это был ужас. Я пошла в Булонский лес с Жермен, с дочерью мясника, господина Колэн, и мы разошлись там, когда настала гроза. О, мой бог, как это было страшно и как я испугалась. Ветер был такой, что сломились все деревья и разрушились многие большие дома. Молнии летали по всем направлениям, толстые, как моя рука, и большие, как Эйфелева башня. А гром был такой громкий, как фейерверки на четырнадцатое июля или как пальба из пушек, и дождь был ужасно большой, ну вот совсем как потоп, о котором нам читал господин аббат и который потопил весь мир. Я так испугалась, так испугалась, что думала, что сейчас же вот-вот умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господин пришел мне на помощь в бурю, грозу и молнию и точно святой ангел покрыл меня своим манто, чтобы вынести меня из настоящего ада. О мама, этот отважный жантильом²² был моим спасителем, которого мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и рассмешила профессора до слез, а мать вставила уже спокойным голосом:

– Этим декламациям Жанету научила ее лучшая подруга Жермен, которая старше ее и, к сожалению, чрезвычайно много читает.

Профессор сказал:

– Конечно, это маленькое приключение – просто пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадам, я в один момент схожу в бистро к мадам Бюссак за липовым цветом, он у нее превосходного качества. Ведь ваша бедная девочка все-таки сильно промочила ноги.

– О нет, мой господин. Я вас, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвет есть у меня на квартире, а я вам приношу миллионы благодарностей и, в свою очередь, прошу вас заняться своим здоровьем. Эти летние простуды гораздо опаснее зимних.

«Экая твердая баба! – покачал головой Симонов, уходя из киоска. – И все-таки прекрасная любящая мать».

Пройдя шагов пять, он обернулся назад. В киоске, из-за каких-то платков и тряпок, глядел на него веселый, ласковый, улыбающийся глазок Жанеты.

И вот вскоре настал для профессора Симонова моральный скучный ущерб. Прежде хоть изредка удавалось ему на минутку-две увидеть живое, веселое личико Жанеты под разными приличными предлогами: то покупая газету, то просто проходя мимо киоска с нарочно сделанным серьезным, деловым лицом. Теперь он стал стыдиться своих прежних невинных хитростей и бояться, что Жанетина мать подумает, будто русский старый чудак, особенно после грозы в Булонском лесу, захочет втереться в чужую семью. И он стал наблюдать за милой девочкой с осторожной украдкой, на далеком расстоянии, стараясь не попадаться на глаза ни матери, ни дочке, благодаря Бога за свою лесную привычную дальноркость.

Весело, пестро, разнообразно, затейливо проводит Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлениями. Ноги ее не успевают бегать, легкие – дышать, глаза – все жадно видеть, уши – все слышать, ум – все воспринимать. Будь Жанета совсем свободной – для нее мало было бы всего Шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо большой Франции. Но, к ее досаде, строгий надзор матери и острая наблюдатель-

²² Дворянин (от *фр.* gentilhomme).

ность услужливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпсьон и бульваром Босежур.

Профессор уже давно это заметил и сам для себя в уме называет Жанету принцессой четырех улиц.

Правда, эта быстроногая принцесса в неудержном беге врывается и в другие близлежащие улицы: в бульвар Монморанси и в улицу Доктора Бланш. Но это только резвые наскоки принцессы-амазонки, жаждущей невинных приключений.

Самый суровый запрет положен на Булонский лес, да и сама храбрая Жанета трепещет перед его ужасами и до сих пор не может понять, какие силы занесли ее в густой парк во время бури сирокко. Там, по уверениям старинных обитательниц Пасси, прячутся в густых деревьях злые мошенники, которые нападают на гуляющих и, бросая их в автомобили, увозят бог знает куда, чтобы взять потом за них большой выкуп; там появляются беспощадные люди-сатиры, не жалеющие ни женщин, ни детей; там бродят часто кровожадные дикие звери, убегающие из соседнего зоологического сада, и, наконец, там ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния.

Но на всем протяжении своего маленького суверенного владения Жанета является настоящей, всеми признанной принцессой: принцессой доброй, приветливой, заботливой и любимой. Ее подданные души в ней не чают. Когда она весело, легкими быстрыми шажками проходит по улицам своего государства, то с обеих сторон слышатся ласковые приветствия:

– Добрый день, Жанета! Добрый день, маленькая Жанета!

Так встречают ее все: почтальоны, несущиеся с толстыми кожаными сумками, взрослые девушки, развозящие по домам в ручных тележках молоко и булки, девочки, спешащие говорливыми группами в школу, рабочие, только что принявшие в бистро очередную порцию аперитива или джестива, чиновники и посыльные, старающиеся сохранить на лицах выражение деловой серьезности, между тем как свет нежной улыбки освещает их уста, пожилые женщины, идущие быстрым ритмическим шагом на базар.

– Добрый день, Жанет! Добрый день, Жанет!

И Жанета разбрасывает налево и направо свои звонкие приветствия вместе с ландышами и маргаритками своих сияющих улыбок:

– Добрый день, господин Топэн! Добрый день, госпожа Тиру. Добрый день, Ирэн, Симон, Мадлэн...

И как мило заботлива она к работе и к интересам своего народа. Вот идет по тротуару молодой, весь в лохмотьях, савояр, дудя гнусаво в допотопную деревянную свирель. Рядом с ним, на мостовой, тесно сплотившись, движется густое, лохматое стадо коз. Савояр только и знает, что наигрывает тысячелетнюю печальную мелодию, а за порядком стада ревностно, строго и неутомимо следит умный, черный, большой пес, не устающий бегать вокруг бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямо-игривую козу в общее тесное, блеющее стадо. Он достигает этого лаем, ударом головою, иногда осторожным укусом, а всего больше огненным взглядом своих человеческих глаз. Прохожие, знающие злобный и решительный характер савойских овчарок, обходят их подальше, но для Жанеты не существует ни страха, ни боязни за свое тело, и руки ее никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она с беспечной старательностью помогает черному барраку загонять коз, и мохнатая, с ног до головы обросшая шерстью собака порою возьмет и лизнет Жанету длинным, красным, горячим языком, стараясь пройтись по всему лицу.

И меланхоличный савояр, не останавливая стада и оставляя его на попечение пса, останавливает одну лишь из коз, с ловкостью фокусника доит ее грушевидное вымя в небольшой стаканчик и молчаливо протягивает его Жанете. Теплое козье молоко не особенно вкусно; к тому же оно так сильно отдает терпким запахом неистового козла, что пьют его только боль-

ные и редкие любители. Но как же обидеть савояра и его прекрасного пса? Молоко мужественно проглочено одним мгновением.

– Благодарю, до свиданья, мой дорогой пес. До приятного свиданья.

Проходит, мелодично позванивая большим звонком, древний, но крепкий, как дуб, точильщик ножей, бритв и всякого кухонного металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везут ее на колесах вдвоем: хозяин-мастер и его трудолюбивая собака-волк. Часто Жанета с умилением удивлялась той добросовестности, с какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою обязанность. Она напрягала все свои силы, налегая на постромки, и как бы распластывалась по земле, стараясь облегчить груз своему божеству, хозяину.

– Добрый день, господин Перье!

– Добрый день, моя малютка!

Он останавливался и опять звонил, ощупывая глазами этажи и дома, из которых могли бы дать работу. Рыжий собака-волк в это время укладывался калачом на земле под точильным прибором. Там же оставался он и в то время, когда господин Перье визжал, верещал и яростно жужжал своими орудиями. Не подымался он и тогда, когда хозяин заходил освежиться от трудов праведных в кабачок «Au relouse» (лужайка). Может быть, ему не нравилось, что в этом кабачке на улице Доктора Бланш обитало множество чуть-чуть синеватых сеттеров, порода которых так и зовется «голубые оверньские», а может быть, он вообще пренебрегал всяким обществом на свете. Он был молчалив, необщителен, всегда скучен. Гладить себя он никому не позволял, а хозяин, кажется, ни разу в жизни его не погладил. Жанета, конечно, могла это делать, но что же приятно гладить собаку, которая на это не обращает никакого внимания.

Странен был сумрачный характер этой собаки. (Не лежало ли на ее душе какое-нибудь тяжкое преступление?) Тем более что господин Перье был всегда весел и общителен. Жанета очень любила издали слушать, как он пел в своем любимом кабачке старые-престарые, веселые песни, с трудом понимаемые нынешними французами. Немножко странным казалось Жанете, что господин Перье некоторые слова песен заменял мычанием и многозначительным побрякиванием.

Все были добрыми приятелями Жанеты: и необыкновенный крикун, покупавший тряпки-железо, а также торговавший разными костюмами; и садовники из роскошного цветочного хозяйства, принадлежавшего какой-то таинственной, никем никогда не виданной миллионерше, и девушки из лаборатории, и страстные игроки в конский тотализатор, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать им на счастье какую-нибудь цифру, и нищие, которым она никогда не скупилась подать монету в два су, если она находилась в кармане передника, и так далее. Но были у нее еще дружки, особенно ценные, интересные, занятые и любимые. Появлялся, например, раза три в месяц в пределах Жанетиного властвования старый, бодрый шарманщик. У него не было левой руки и правой ноги, которые он потерял на войне, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура из истинных знатоков и тонких любителей загородной шарманочной музыки или, как ее вернее называют, – органной. Через каждые десять дней регулярно он приходил под окно очередного меломана, укреплял каким-то непонятным способом при помощи костылей свою шарманку и давал на ней превосходный концерт, начинавшийся всегда с итальянской канцонетты «O sola mia»²³, военной французской песенкой «Madelon» или «Марсельезой». Надо сказать, что избранная (по его мнению) публика любила его. Во время концерта и после его окончания разные монеты, завернутые в бумажки, так и летели изо всех этажей, брякая об уличные тротуары и о мостовые.

Но, кроме изысканной музыки, однорукый и одноногий шарманщик приспособил к крышке своего органа небольшую шкатулочку, из которой уличная публика могла за пять сантимов вытаскивать свернутые в голубые, зеленые и красные трубочки предсказания судьбы,

²³ «О моя единственная» (ит.).

разрешения любовных и коммерческих дел, астрологическое значение планеты каждого человека и прочие премудрости. Однако музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно и неудобно заниматься одновременно несколькими делами: вертеть ручку шарманки, следить за любителями предсказательной лотереи и подбирать с земли завернутые монеты, шкандыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успевая посылать добрым клиентам летучие поклоны во все этажи, от рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, в котором гнездились горничные, кухарки, швейки и прочая беднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствие. Однако шарманщик терпеть не мог, когда кто-нибудь из собравшейся вокруг него публики проявлял желание помочь ему. В этих случаях он стучал костылем и с недовольной торопливостью говорил:

– Нет, нет, благодарю, благодарю, я сам, я сам. Благодарю!

Но удивительно – когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку с двумя толстыми «гро су»²⁴, шарманщик нежно похлопал ее по плечу и, улыбаясь, сказал:

– О, мерси, гранд мерси, моя крошка. Как вы очаровательны!

И правда, в этой смуглой, грязноватой девочке, с черными живыми глазами, было очень много того, что французы называют шармом и что в Жанете ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек.

В следующий свой визит на Пасси, в герцогство принцессы Жанеты, шарманщик уже разыскивал озабоченно глазами, где его недавняя помощница, и, отыскав, с улыбкой поманил ее к себе, а когда она подошла, вся сияя от радости, он вытащил из отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу и галантно поднес ее девочке. С этих пор Жанета, как только услышит издали гнусавые, тягучие звуки шарманки, – стрелой летит к своему импресарио и добросовестно работает, избегая лишь переступить через запретные зоны. И неизменно она получает от музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цветок. Эти подарки – ее гордость. Они заработаны чистым артистическим трудом.

Другой увечный человек – самый любимый друг Жанеты, предмет ее жалости и особой заботы, – это слепец. Он – кроткий пожилой мужчина, с бледным лицом и мягким голосом прекрасного печального тембра. Ему каждый день утром надо зачем-то переходить через улицу Ранеляг, которая в этот год загромождена новыми строениями, полными мусора, кирпича и досок, что делает непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячего. Жанета помогает ему много дней, недель и месяцев. Каждый день, кроме праздников, в семь часов утра дожидается Жанета на перекрестке авеню Мозар и улицы Ранеляг появления своего тихого и милого друга. Он показывается ровно в семь, минута в минуту, секунда в секунду. В руке у него белая палочка. Он не видит, но движениями головы как бы хочет учуять то место, где находится девочка, и она тотчас же подает звонко свой тоненький голосок:

– Здравствуйте, господин Гастон.

Его проваленные глаза черно-мертвы. Но на губах его разливается теплая, всегда грустная улыбка.

– Здравствуй, душа моя. Что видела во сне?

Но Жанета так еще молода, что снов не видит, а если и видит, то мгновенно же их забывает.

– Ничего, господин Гастон.

– И слава богу, – утешительно произносит слепой.

Они берутся за руки и идут. Слепой уже привык ощупывать почву своей палкой, но иногда Жанета, слегка пожимая его руку, предупреждает:

– Направо кирпич! Налево ямка!

Иногда они садятся на уличную скамейку и разговаривают. Слепой вдруг спрашивает:

²⁴ Монетами в десять сантимов (от *фр.* gros sou).

– У нас сегодня понедельник?

– Кажется, господин Гастон.

– А как ты думаешь, Жанета, какого цвета понедельник?

– Темно-зеленого, – отвечает девочка.

– И мне кажется так же. А вот – слышишь? – солдаты в трубы трубят. Теперь какой цвет?

– Красный, – не задумавшись, отвечает Жанета.

– А я думаю, что красный с желтым оттенком. Не правда ли?

– Да, правда, господин Гастон, с желтым.

Они замолкают. Через несколько минут господин Гастон тихо говорит:

– Ну да. Я ослеп. Ничего не вижу. Но ведь судьба оставила мне великодушно слух, осязание, обоняние, вкус и разум. А я мог бы лишиться всего этого и лежать бы теперь в вечном бессознательном мраке. Разве я не счастлив, милая Жанета?

– Я вас люблю, господин Гастон, – шепчет девочка и ласковой рукой нежно проводит по его лицу. А потом они рука об руку идут до бульвара Босежур, где расстаются.

Профессор Симонов не раз видел эти тихие, меланхолические свидания. Нет! Его светлая душа не знает ревности, особенно к такому человеку, как господин Гастон, столь жестоко наказанному судьбою. Он только иногда смутно думает о том, что если бы он сам был слепцом, то величайшим утешением в этом несчастье была бы для него дружба с Жанетой. И вот он однажды решается на невинную, смешную мальчишескую уловку. Водиться с русским профессором строго-настрого запрещено, но, встречаясь с ним случайно на улице, Жанета никогда не упустит возможности поздороваться с ним улыбкой или кивком головы. Иногда даже перебегает через улицу на другую сторону, причем у нее несносная манера лезть под каждый трамвай и камион²⁵, что приводит Симонова в холодный ужас. И вот как-то раз утром, вывернувшись чудом из-под огромной, ревушей и пытящей машины, Жанета застаёт старого друга совсем расслабленным, хилым, разбитым, измученным.

– О господин профессор, что с вами? Вы, кажется, очень больны? – говорит жалобно Жанета. – Чем я могу вам помочь?

– Ах, дорогая Жанета, – кряхтит и стонет Симонов. – У меня большое горе. Я ослеп! Не будешь ли ты так добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульвар Монморанси.

– О, с удовольствием, господин профессор. Не угодно ли вам будет опереться на мою руку?

Они идут. Проходят шагов с пятьдесят. Походка профессора становится все спотыкливее и неувереннее, и, не доходя до квартиры профессора шагов на тридцать, Жанета вдруг раздражается веселым, громким хохотом, звенящим, как золотой дождь по серебряному блюду.

– Ах, шутник! обманщик! – заливается Жанета. – Разве меня можно одурачить! Ваши руки слишком жестки для слепого, и разве я не вижу, как дрожат ваши ресницы, когда вы через них поглядываете на меня? И шаг ваш гораздо тверже, чем у слепца. Ну, алор, марш домой, господин слепой! И пожалуйста, не делайте над собой таких фокусов, а то и навсегда останетесь слепым. На небе таких шуток не любят.

Симонов уходит посрамленным и сконфуженным. Но в дорогу Жанета посылает ему ласковое утешение:

– Вы не думайте. Я люблю господина Гастона, но люблю и вас. Гастон хороший, и вы тоже хороший, всякий по-своему. Подождите, я когда-нибудь вас познакомлю, и вы станете друзьями.

Много странностей с течением времени замечает профессор за Жанетой. Так он открывает, что эта милая девочка совсем чужда брезгливости.

²⁵ Грузовик (от фр. camion).

Однажды, ранним утром, спустившись со своего высоченного чердака вниз, на уличный асфальт, профессор увидел обычное зрелище, которое он привык созерцать каждый день. У выхода из дома, как всегда, стоял высокий, вместительный автомобиль около заранее выставленных консержками цинковых кубов со всяким накопившимся за сутки домашним мусором. Трое бойких овернцев ловко подхватывали эти кубы и опораживали их в автомобиль. И вдруг Симонов услышал громкий веселый голос оверньята:

– Эй, Жанета! Держи.

Тут только увидел профессор маленькую фигурку девочки, до сих пор заслоненную боком машины. Жанета искусно поймала на лету небольшой серый предмет, брошенный для нее. Это был уже сильно поношенный плюшевый медвежонок с наивной, удивленной мордочкой.

– Благодарю, господин Антуан! – крикнула радостно Жанета.

А Симонов подумал: «Так вот откуда у нее в детской колясочке такая богатая коллекция старых, потрепанных игрушек. Из ордюров, а по-русски говоря – из помоек. Черт возьми, ведь эти чаны самое удобное гнездилище всевозможных бактерий. Здесь захватить опасную инфекционную болезнь – одна секунда. Почему мать Жанеты такая росомаха? О чем думает городская полиция? Чем занят санитарный надзор?» Обратиться к Жанетиной матери с предупреждениями и увещаниями профессор не отваживался, давно узнавши ее деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношению к дочери. Смешно и нелепо было бы также рекомендовать людям, занятым чистотой и здоровьем громадного города, чтобы они следили за гигиеническим поведением и за чистоплотностью каждой бойкой и резвой парижской девочки семи лет. Это – дело матерей и школы. Но изобретательный ум профессора выдумал уловку – безвредную для Жанеты и приятную для него самого.

Один из мусорщиков, господин Антуан, похожий наружностью на грузина, а характером на русского ярославца, был с ним в дружбе. Они посещали одно и то же бистро госпожи Бюссак и уже много раз успели сыграть в беллот и угощали один другого очередными турами красного вина. У Симонова с давних пор был дар ладить с простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стакан розового вина, профессор сказал:

– А кстати, господин Антуан, у меня к вам маленькая просьба.

– К вашим услугам, мосье.

– Видите ли... Маленькая Жанета – очаровательная девочка... прелестная, но ее почтенная мамаша ужасно строга к ней. Никогда не сделает ей какого-нибудь детского удовольствия и ни за что не позволяет подарить девочке хотя бы самую невинную, самую пустячную безделушку.

– О господин, – возражает серьезным тоном Антуан. – Мы, французы, мы очень любим наших детей, и мы никогда не пойдем, с какой стати иностранец, хотя бы жантильом, вдруг станет дарить нашим детям игрушки. Что у него на уме? Откуда такой странный каприз? Разве у иностранцев нет своих собственных детей?

Профессор вздыхает.

– Ах, господин Антуан, у меня было двое детей, две девочки. Но теперь их нет, и я никогда уже больше их не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по детям. Один великий философ сказал как-то: «Природа не терпит пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность к Жанете. Будь я богатым человеком, я бы обставил жизнь Жанеты и ее матери прекрасными комфортабельными условиями, дал бы девочке превосходное образование, сделал бы каждый день ее существования на свете радостным и полезным для нее и для окружающих ее людей. Но что же я, бедный дьявол, могу теперь для нее сделать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господин Антуан растроган словами профессора и особенно его теплым, печальным, задушевным тоном.

– Чем же я могу помочь вам, мой бедный друг?

Профессор оживает.

– О! Господин Антуан, совсем невинным пустяком. Я видел как-то: вы бросили Жанете с вашего камиона плюшевого медвежонка. Он был уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видел, каким восторгом заблестели глаза Жанеты. Вот и все. Так позвольте, я когда-нибудь принесу вам какую-нибудь неважную детскую безделицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее Жанете, и я тоже обещаю вам никому об этом и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя.

В душу каждого француза, даже делового оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дело коснется детей.

– О, – говорит оверньят, хлопая Симонова по плечу. – Конечно, мне это не доставит никакого труда. Я в вашем распоряжении.

Еще задолго до ужасной войны и до последовавшей за нею принудительной эмиграции Симонов знал поверхностно Париж, восхищаясь им в недолгие наезды. Теперь, прожив в столице мира почти десять лет, он не устает все больше изумляться ею: ее жизненной могучей силой, ее радостным, всегда молодым темпом, ее любовью к зрелищам, к острому слову, к изяществу во всех отраслях жизни, чудесной законченностью во всех делах, изобретениях и творческих произведениях. Чего только не подарил Париж всему свету. Самый блистательный, самый роскошный, самый могущественный и самый абсолютный монархизм и самые кровавые, самые непреодолимые революции; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смех Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкие афоризмы мыслителей и прекрасное в своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнейшие духи знаменитых парфюмеров и мудрую книгу Суварена «Физиология вкуса».

В продолжение многих столетий Париж был всеми признанным царем, владыкою женских мод, и останется на этом троне еще на много веков, как останется впереди прочих народов в областях математики, химии, физики, строительства, юриспруденции, медицины, инженерных искусств и всех прочих наук и искусств.

Марка Парижа – это пропускной билет в храм славы и бессмертия. Это знают не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, певцы, но и престиждитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны, сальтимбанки и предсказатели. Париж скуповат на денежные глупые подношения, но его аплодисменты звучат на весь земной шар. И как благородно хранит Париж память о том, кто при жизни удостоился сделаться его любимцем. Вряд ли есть во всем мире другой город, в котором с парижской роскошью были бы увековечены в статуях и в наименованиях улиц великие люди, ушедшие из жизни. Воистину Париж светоч и столица *мира*.

Но особенно сильно пленяло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французов. Он никогда не пропускал хозяйственных выставок в память парижского префекта Лепина и заслушивался изумительным красноречием уличных шарлатанов, которые при помощи слова и жеста умели втереть прохожему самую пустячную и никуда не годную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствие ходить по Большим бульварам в те погожие часы, когда там безвестные изобретатели и мастера продавали детские игрушки, всегда новые, всегда забавные, всегда заманчивые и остроумные. Ведь только здесь, в невольном и тяжком изгнании, он понял, что почти все милые и любимые игрушки его раннего московского детства круговым путем приходили из Парижа: и бильбоке – игра садовая, и американский чертик, разноцветные воздушные шары, и скрипучие кри-кри, запрещенные потом обер-полицмейстером Огаревым. А парижские кустари выдвывают да выдвывают все новые да новые игрушки, забавляющие взрослых и детей, стариков и старух, девочек и мальчиков. Какая веселая изобретательность и какое знание сегодняшней моды. Стали парижские дамы увлекаться фокстерьерами – на бульварах тотчас же появляются крошечные фоксы из лайки,

плюша, фланели и даже бархата. Вошли в моду мохнатые айриштерьеры – и уже на Больших бульварах продаются сотни этих добродушных симпатичных собачонок, которые и живыми кажутся, будто они наспех, неумелыми детскими руками, сделаны из ваты, пуха и домашних мелких лоскутков. Потом пришла очередь Микэ, не то мышат, не то морских свинок, не то кроликов. Эти Микэ раньше до слез смешили ребятишек, выходя в антрактах кинематографов на экране, но потом их потешный образ был перелицован в маленькие игрушки, которые и смешили по-прежнему, и вскоре оказались отличными порт-бонерами²⁶. Большой успех имели растягивающиеся и сжимающиеся игрушки ё-ё, но успех их оказался недолгим – месяцев пять-шесть, а потом он исчез. Но бывают игрушки-счастливицы, на которые не влияют ни моды, ни время, ни капризы покупателей и которые в спросе постоянно: десятками, если не сотнями лет. Тут либо ворожба, либо умно схваченный вкус всех детей одного и того же возраста. Это, во-первых, два картонные боруа, которые прекрасно изображают на столе все перипетии римско-французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточке, управляемой игрушечником. Затем утка, кричащая при нажиме на весь базар, и, наконец, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется от пружинного завода. И, двигаясь, дребезжит. Конечно, такая игрушка может прожить несколько человеческих поколений, если солидный папа вынимает ее в праздничный день из стеклянного футляра и осторожно заводит, отнюдь не перекручивая завод, а после того как кукла исполнила свой номер, осторожно запирает ее в тот же футляр, где она пролежит мирно до следующего большого праздника. Но куда же мы тогда денем невинное детское любопытство и присущее детям научное влечение ко всем механизмам?

На другой же день после своего сентиментального разговора с оверньятром Антуаном Симонов пошел на Большие бульвары. Предварительно он сделал строгий учет своей денежной кассе. Наличными оказалось одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Черному коту Пятнице печенку не покупать ввиду его безвестного отсутствия. Это – плюс. Старые мозеровские часы можно было бы продать или заложить. Ход у них как у судового хронометра. Но кто же польстится на древние серебряные, да еще пожелтевшие за долгую службу часишки? Взять аванс на одном из уроков? Спросят: зачем понадобилось? А не умею я ни лгать, ни кривить умильно подобострастного лица. Обойдусь иначе. Да вот, на что лучше. Пробные опыты вегетарианства, как лучшего стимула физического и духовного возрождения. Это – идет. Полфунта белого хлеба, немножко черствого, стоит пятьдесят сантимов и хватает на два дня. Теперь вопрос в питательных веществах и в витаминах. Хорош геркулес, недурна овсянка, хвалят квакер и поридж. Надо из них выбрать что посытнее и подешевле. Чай у меня спитой, но был в употреблении только один раз и потому смело послужит еще раз на пять-шесть. Право, все в порядке!

На Больших бульварах, как всегда, было много продавцов игрушек, пропасть покупателей и еще больше праздных зевак. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошим, было дорого, а дешевые вещицы были скучны, не интересны.

На Итальянском бульваре профессор вдруг наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На левой руке продавца, под мышкой у него, сидит крошечный веселый фокстерьерчик, трудно сказать – щенок, или уродец, или лилипут. Он необычайно мал и мил. Глазки его задорно блестят, миниатюрные лапочки, вылезшие наружу, находятся в непрерывном движении. «Ну что за прелестный песик», – думает профессор и тут только замечает, что фокстерьер сделан из какой-то белой материи, глаза – из литого стекла, лапочки его заставляют двигаться каким-то образом хозяин. Но не один профессор поддается этой ловкой иллюзии. То и дело у лотка восклицают не только мужчины, но и более их проныцательные женщины:

²⁶ Брелоками (от *фр.* porte-bonheur).

– Ах, какая прелестная собачка! Можно подумать, что в самом деле игрушечная. Но кто же сумел вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходит всякое искусство! Ах! Как он на меня сейчас поглядел. Ну просто не собака, а человек.

Симонов с унылой безнадежностью спрашивает сипло:

– Сколько?

– Десять франков девяносто сантимов.

Симонов долго и молча стоит, пришибленный своей проклятой бедностью. У него налицо всего одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Если один франк удержать у себя на всю грядущую массу расходов, то, увы, на покупку фоксика все-таки не хватает трех су.

– Три су, – кричит в молчаливом отчаянии профессор к небу, – только три су! Найти бы их хоть на земле. – Он нагибается до самого тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона Третьего, гро-су лежит на земле. Профессор почти не удивляется. Увы! Еще одного пти-су нет, одного су, на который теперь во Франции нельзя купить, кроме пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяин очаровательного фоксика добродушно говорит:

– Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су – какой пустяк! Вы лучше посмотрите, как надо управлять собачкой. Один палец сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы как бы прикрываете рукою. Благодарю вас, мосье, я чувствую, что у вас легкая рука.

На другой день, ранним утром оверньят Антуан как бы случайно находит в своем емком камине эту великолепную игрушку и дарит ее Жанете, показав сначала все чудесные движения веселого, ласкового песика. Игрушка имеет во всем квартале поразительный успех. Все друзья и подружки Жанеты целый день наполняют улицы, переулки и тупики восторженным визгом и неистовыми криками:

– О Жанета, позволь и мне подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умеет лаять? Как ее зовут, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ах, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. К тому же ее радость так чрезмерно велика, что можно в ней захлебнуться, если не поделишься с другими. Она за сто шагов увидела Симонова и помчалась к нему, как ласточка:

– Господин профессор! О мой дорогой господин профессор! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещичка. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?

Профессор сделал удивленно-серьезное лицо.

– Нет, милая Жанета, никогда не видел. Это – настоящее чудо. В том, что собачка – фокс-терьер, можно не сомневаться по всей ее наружности, но я уверен в том, что такой малюсенькой собачки никто еще на свете не видывал. Это либо англичане, либо японцы могли вырастить такую редкостную породу. Ты ее чем кормишь, Жанета?

Тут девочка раздражается звонким хохотом.

– Да ведь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сделана из какой-то материи, у нее даже нет живота, и она не дышит.

– Удивительно! – говорит профессор. – Глаза у нее совсем живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

– Мне подарили. Господин Антуан подарил, который по утрам мусор собирает.

– Ну что же, подарок забавный, – хвалит Симонов, – ты его береги.

Веский, времен Наполеона Третьего, десятисантимный гро-су, который с такой уверенностью нашел Симонов на тротуаре Итальянского бульвара, завязал в мозгу и в памяти профессора целый клубок мыслей, воспоминаний и отважных идей. Сидение на овсяном супе и на спитом чае только поощряли изобретательность и энергию ума.

Вот здесь, в Пасси, думал он, близко, стоит рукой подать, находится Булонский лес, резервуар свежего воздуха, с громадным скаковым ипподромом, с двумя озерами, по которым пла-

вают ручные птицы и где можно кататься на лодках. Этот Булонский лес вовсе еще не лес, а хорошо возделанный парк. Но если пойти вглубь, по направлению к Лоншану, то можно забрести в настоящую лесную чащобу, где иногда выбегают к людям стайки грациозных, пугливых диких козочек, исчезающих миглом при неловком движении, при резком звуке. А в другую сторону Булонского леса – зоологический сад. Слоны, медведи, гиены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко от Булонского леса – Трокадеро с интересным аквариумом, с богатым музеем, с огромным театром, где даются старые, классические, прекрасные пьесы. Всего этого никогда еще не видела милая девочка Жанета. Конечно, Симон и подумать не смеет о систематическом образовании и воспитании чумазой Жанеты. Куда ему! В свое время она пройдет материнскую школу, потом коммунальную, потом – недорогой лицей, в котором научится немного грамматике, немножко литературе, немножко физике и химии, немножко математике, немножко истории и географии, – все для того, чтобы не быть круглой невеждой. А потом, если окажется дар божий, то кто же помешает ей сделаться новой Жорж Занд или новой мадам Кюри? Но профессор умом, чутьем, инстинктом знает и верует в то, что первичные детские впечатления входят в восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом здании. Каждый свет и цвет, каждый фальшивый и музыкальный звук, каждый оттенок человеческого голоса, каждый запах и каждое движение воздуха, каждый предмет, к которому сознательно или полусознательно прикасается будущий человек, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся в несовершенном еще мозгу, каждое подобие сна во сне, каждый атом пищи, проглоченный неумелым и жадным ртом, – все эти явления, образы и предметы идут на созидание того могущественного здания, которому имя *человек* и перед которым все созданное людьми является жалким ничтожеством. «Да, – говорит сам себе с умилением профессор, – правы те мудрые учителя, которые советовали окружать рост младенца красотой и добром, рост дитяти – красотой и первичными знаниями, рост отрока – красотой и физическим развитием, рост юношей и дев – красотой и учением».

И профессор говорит дальше:

– Да, пусть Жанета ходит в свою родную школу и учится чему хочет и может на родном языке, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, под моим любящим руководством, не научиться постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную плановость мира? Здесь одна препона: властолюбивая, суеверная, недоверчивая мать, хозяйка газетного киоска. Но ничего. Такую невинную забаву, как зоологический сад, ярмарки или театр, мы уж как-нибудь состряпаем. Недаром я человек хитрый, вроде североамериканского дикаря, на мамашу мы не станем действовать непосредственно и лично. Нет, как застрельщика, мы пустим вперед ее ами, господина Огюста, ленивого и падкого к вину пломбье²⁷. Его просьбе влюбленная дама, конечно, не откажет. А главное – это что все расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макиавеллиевский прием? А дружба с пломбье давно уже началась и с каждым днем становится крепче. Она несложна: пять-шесть партий в беллот, во время которых профессор будто бы не замечает, что партнер его не прочь приписать на свой счет десять-пятнадцать туров красного вина или перно, взятых Симоновым как бы по ошибке на себя, а особенно искренняя, горячая любовь профессора к Франции и французам – вот узы этой прочной дружбы, на которую уповаet хитрый старый эмигрант. Но есть и другое трудно одолимое, почти совсем неодолимое препятствие: деньги. Их нет совсем и давно уже нет. Однако профессор не унывает. Он не напрасно считает себя счастливецem. Начиная от тех глубоких времен, когда он начал сознательно помнить себя, все его серьезные желания исполнялись. Исполнялись порою целиком, порою в половину, а чаще в пятую или десятую долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, как еще до поступления в пригостишки жил

²⁷ Водопроводчика (от *фр.* plombier).

он с родителями в Москве на Пресне, в деревянном доме, большой двор которого был настоящим ристалищем для благородной игры в бабки. И вот малышу Кольке во что бы то ни стало захотелось выиграть бабку-свинчатку, взяв ее с боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сделать или заказать литейщику, но такая бабка не имела почета и не внушала уважения. Ценилась только бабка свинчатка-битка, которая имела бы свою батальную историю, подтверждаемую свидетельством знаменитейших в квартале игроков. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось разбить столько-то конов и выбить столько-то свинчаток, играя с партнерами наивысочайших качеств. И Симонов выслужил-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, через год, будучи уже в первом классе гимназии и перейдя через великое испытание.

Потом, уже во втором классе гимназии, его страстно повлекло желание попасть в гимназический церковный хор. Это удалось не скоро и пришлось к Симонову лишь тогда, когда его сиплый теноришко переломился в приятный баритон. То же было с умением плавать, с верховой ездой, с первым застреленным зайцем, с первой робкой, наивной любовью, с первой лекцией, с первой вышедшей в свет книгой. Правда, с годами профессор стал замечать, что сила желания и послушность ему судьбы живучи только в юности, немного устают в молодости, слабеют в зрелом возрасте, а затем хотя и повинуются, но как-то спотыкливо и неуверенно, но все-таки повинуются. В Париже, в дурные дни, он нашел на улице один раз пять франков, а в другой – два. Да вот и недавний случай на Итальянском бульваре. Разве не по его желанию нашелся на земле этот толстый гро-су? Надо только собрать в комок волю и напрячь желание.

Всю ночь лил сплошной дождь. Утро проснулось теплое и туманное, солнце скрывалось в густых ленивых тучах.

Как всегда, профессор рано скатился со своего чердачка на улицу. Мусорщики уже начали свою работу. Вспомнилась Жанета, принцесса четырех улиц, и сердце заколотилось и заняло от непонятной жалости. Навстречу Симонову шел его старый друг – художник.

– Добрый день, господин профессор!

– Добрый день, Иван Иванович. Что же, пойдём в Буа-де-Булонский лес?

– Пойдем.

Они пошли далеко за ипподром, вдоль наружного озера до паромного перевоза на другую сторону. Художник выбрал политику Германии и предсказывал близость ужасной войны, размеров и жестокости которой не может представить себе человеческое воображение.

Так они дошли до той бухточки, где стояли лодки, отдаваемые напрокат. Впереди их ждало странное зрелище. Лебеди сгрудились на воде в густом тумане. Странно: перспектива совсем пропала, точно исчезла, осталась лишь плоскость. От этого птицы казались нарисованными или, вернее, нанизанными на невидимые ниточки и поставленными параллельно.

– Что за черт! – воскликнул неприятно удивленный профессор. – Кажется, весь мир сплюснулся?

– Это ничего, – пояснил художник, – это только aberrация зрения, то самое, что бывает на кораблях и в пустынях. Сейчас взойдет солнце, и все станет на свои места, указанные Господом Богом.

И действительно, художник был прав. Туман скоро осел, предметам вернулось их тело. Друзья пошли обратно, художник вдруг по дороге сказал:

– Я чуть не забыл с этими туманными превращениями, что пришел к вам по делу. Помните вашу старинную картинку по дереву?

Симонов напряг память и вспомнил. Речь шла о художественной маленькой вещице, которая множество лет валялась в родовом новгородском доме Симоновых и которую профессор почему-то вывез с собою в Париж. Она в темных тонах изображала древнюю голландскую или фламандскую харчевню, с молодцом в медном шлеме, с роскошнотелой, полуголой женщиной, с белой собакой и с мальчуганом, делающим в угол то же, что и брюссельский Мане-

кен-пис. Когда-то, очень давно, профессор дал эту вещь художнику с просьбой узнать ее автора и приблизительную стоимость. Он сказал:

– Помню. И что же?

– Это не Теньер, как я предполагал, а Тенирс, любимый ученик Теньера. Что любимый – видно из того, что он дал ему как бы частицу своего имени. Вещь хорошая. Если наскоро ее продавать в магазинах обже д'ар²⁸, дадут тысяч восемь-десять. С любителя можно свободно взять двадцать, а со знатока и тридцать. И все. И моя миссия окончена.

– Я обещал дать вам куртажные, – мягко сказал Симонов.

– Эх, бросьте глупости городить, – ответил художник. – Вы обещали, а я этого обещания и слышать не хотел. Съедем когда-нибудь ляпена²⁹ или барашка с чесночком в кабачке у мадам Бюссак и запьем их шопином красного ординера, и баста. Квиты.

Они поднимаются по перекидному мосту и по нему же спускаются на другую сторону, вниз, прямо к давно знакомому киоску. Профессор идет первым... Художник вдруг с удивлением слышит его тревожный возглас:

– Господи! Где же киоск? Что же случилось с киоском?

Легкий художник горошком скатывается вниз и застаёт профессора с руками, вздетыми к небу. Журнальная лавка полупуста и полуразрушена, повсюду пыль, грязь, клочья бумаги, обрывки веревок и шпагата, и вокруг теснятся чужие, незнакомые люди, похожие на погромщиков. Профессор ничего не понимает, но сердце у него холодеет и сжимается от дурного предчувствия. Незнакомые громы внушают ему суеверный страх. Он идет в бистро мадам Бюссак.

– Мадам, что такое случилось с киоском? Неужели какое-нибудь несчастье?

Госпожа Бюссак – истинная староста Пасси. Она всегда и все знает раньше других.

– О, ничего особенного, господин профессор. Успокойтесь.

И тут она подробно рассказывает Симонову всю суть киоскного происшествия.

Мать Жанеты своего газетного дела никогда не любила; никогда не хотела и не умела его вести. И вот теперь представился ей очень выгодный случай разделаться со своим киоском. Вчера вечером она окончила сдачу своего дела новым владельцам и поехала на вокзал с Жанетой и с господином Огюстом. Ни для кого не были тайной их отношения, но теперь они устраиваются, как настоящие буржуа. Мать Жанеты получила на днях кругленькое наследство у себя в Лангедоке или, кажется, в Бретани, а господин Огюст получает там же солидное место на большом заводе. Конечно, прибыв к себе в скучный Лангедок, они немедленно обвенчаются, сначала в мэрии, а потом в церкви.

– Ну, что же, господин профессор, пожелаем им доброго пути и счастливого брака, – сказала госпожа Бюссак.

– Пожелаем. Дай бог, – сказал профессор. – Ах, как мила была ее дочка Жанета.

– О да. Славная девочка.

Густой туман, спустившийся на Париж, стоял до вечера. Симонов вернулся домой поздно. Внезапное исчезновение Жанеты и тяжелая погода совсем его раздавили. Он сидел в темноте, без огня, и безучастно перебирал невеселые серые мысли. В первый раз за всю жизнь ощущал он тихую тоску.

Полил крупный редкий дождь и забарабанил по железному козырьку. «Вот и дождь идет, – подумал профессор равнодушно, – а зимой, может быть, и снег пойдет... Все законно...»

В эту минуту крыша выгибается с железным грохотом, кто-то царапается в стекло.

– Кто там? – кричит профессор и, не дождавшись ответа, открывает окно. Мягкий, тяжелый клубок падает на пол. Симонов зажигает огонь и нагибается. – Пятница! – восклицает он

²⁸ Антикварных (от *фр.* objets d'art).

²⁹ Кролика (от *фр.* lapin).

с удивлением и радостью. – Это ты, Пятница? – Кот прыгает ему на колени и начинает бесконечную мурчащую, рокочущую песню. Тут только Симонов с ужасом замечает, какие жесткие следы оставили на его верном друге Пятнице два протекших года: он хромает на правую переднюю и на левую заднюю ноги; на всем теле следы вырванных клочьев шерсти; на морде еще не зажившие глубокие царапины.

– Срамник ты, Пятница, – говорит, вздыхая, профессор. – Впрочем, оба мы хороши.

Кот зевает во всю пасть, показывая весь красный шершавый язык, и громко требует, – мняю, мняю... – я голоден, как собака.

Молча надевает профессор свою непромокаемую разлетайку и бежит по дождю в бистро мадам Бюссак за остатками говядины и молока.

Рассказы и очерки

Храбрые беглецы

Нельгин, Амиров и Юрьев – соседи по кроватям в спальней казенного сиротского пансиона. Каждому из них между десятью и одиннадцатью годами.

Юрьев – мальчик вялый, слабенький. У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки, – оттого его и кличут в классе «Баба», – светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты.

Амиров – альбинос с белыми волосами на большой, длинной от лба до подбородка голове, с красными белками глаз и бледной шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец – такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приемной зале (пансион помещается в бывшем дворце графа Разумовского) в опрятненьком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблоки и вкусные темные деревенские лепешки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решетка.

Амиров-сын – скромн, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза, не тихоня, не зубрила; все, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного старческой добротности. Он опрятно носит казенную одежду: парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой. Его собственные вещички: перочинный ножик, перышки, пенал, резина и карандаши – всегда блестят, как только что купленные. Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьезной увлекательности и милого порядка.

По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет, к общей зависти, самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками, не то, что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными фразами, заключенными в саженные строки, в которых к тому же попадаются двойные слова, по тридцать букв в каждом, – зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам толково, точно, но суховато.

Нельгин – фантазер. Его воображение неистоцимо и чудовищно пышно. Еще до классного обучения, в малолетней группе, по вечерам, в часы, оставшиеся до ужина, когда наиболее прилежные мальчики плели по способу Фребеля коврики из разноцветных бумажек, или расшивали шерстяными выколотых на картоне попугаев, или клеили домики, или просто, без всякой мысли, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусленного пальца облака и макароны, – Нельгин рассказывал своим мечтательным слушателям пестрые чудесные истории из своей прежней «домашней» жизни, от которых его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нельгин был увезен трехлетним ребенком, стоит, забытый Богом и людьми, ежегодно выгорая, среди плоской безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепных историй, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика, и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных имений, деревни Щербаковки и села Зубова, проигранных и прокученных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нельгин все это знал умом, но все это было скуч-

ное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил, а верил в собственное, яркое, заманчивое и сказочно-прекрасное, верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались непроходимые болота, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьёю, великодушным баринном. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой: одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Иннокентий изобрел и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водою и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом готовить одежду цвета воздуха: надев ее, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдышного, бывшего на целую версту.

Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные дебри наровчатских лесов. И – бог мой! – что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров. Как часто четыре брата беззвучно, целыми часами, подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мертвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они, спасаясь от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист! А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойников свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности рассказа, всегда носил под штанами привязанные ходули, а на лице прицепные усы и бороду, свои разговоры с разбойниками вел страшным, толстым, звериным голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, но так как с их исчезновением пропадала и канва для жутких и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом.

Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна, маленькая румяная толстушка с черными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих, желтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, – она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упреков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова, иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой, повязанной полотенцем, с запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой, кричала, стучала маленьким кулачком по столу и сама плакала от раздражения. Любила и поощряла нашептывание и даже до такой степени, что случалось, в угоду ей, один мальчишка ехидно втраивал другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлебываясь от восторга, с пузырями на губах, доносил.

И вот случилось так, что однажды, в ту полосу, когда Нельгин был в немилости, кто-то из его товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши, и она совершила большую несправедливость: позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой правдой доказала вздорность его рассказа и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего ее гнева, назвала его ввалишкой и лгуном. Услужливый хохот других мальчиков еще более ее подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нем чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела Нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальне.

Тогда мальчик сжался, затаился, но увлекательность вымысла была сильнее его воли: он разделял четвертушку бумаги на правильные квадратики и в них очень мелко рисовал знаменитую историю борьбы разбойников с защитниками справедливости.

С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук приходили настоящие учителя в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки, Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина с княжеским титулом, серолицая, сероглазая; в ушах у нее были вдеты большие золотые колокольчики, с языками из каких-то синих камешков, и когда еще издали в коридоре слышался шум ее каменных шагов и легкий перезвон сережек, – мальчишки цепенели от ужаса.

И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением, уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам.

Единицы да нули:
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А четверок не бывало.

Рассказчицы таланты Нельгина расцвели в этом году с новой, пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения: его влекло к действию. Ранее всего он, конечно, изобрел свой собственный удальской язык, затем он основал бесшабашную шайку молодых людей, которые, в зависимости от прихоти, являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке Нельгина «сацаро-даярами». Принимался в шайку только тот, кто выдерживал двадцать-тридцать ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти бравые молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках кидались в чашу жимолости, шиповника и бузины и рубили налево и направо, холодея от восторга, с волосами, вставшими дыбом на головах.

Потом как-то накатило на Нельгина стих набожности, молитвы, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка, и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам, в спальне, он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочередно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших, вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при ее помощи творить чудеса. У золотушного Добросердова всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга ни бился, ни отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, громко творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли и давал смоченную ватку за щеку для удачного ответа на уроке.

Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные деньги из разноцветной бумаги, по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно плохо сделанные. В них охотно играли понарошку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного перышка, и денежная затея лопнула.

Тогда Нельгин решился делать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав, опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путем не наткнуться на изобретение золота?

С глубокой верой, с таинственным видом он подолгу жевал, обильно смачивая слюной, большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, с известкой из стен, с мелом, с замазкой, с песком из плевательницы и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс: под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня, с бьющимся сердцем, он вынимал сухую бесформенную лепешку и шептал сам под нос с важным, значительным видом:

– Не тот состав. Чего-то не хватает...

Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила полоса влюбленности.

Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев Петр Алексеевич – круглый, седой, гибкий, подвижной, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный – в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приемную залу, в блестящем паркете которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирали с разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались низшими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «па-де-баск» и «па-де-глицсе», считалось особенным мужским шиком дернуть ее за косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую Мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал, что тому, кто будет становиться в пару с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно побьет морду до крови. Нельгин не был из первых силачей, но он сам давно уже распространил таинственный, многозначительный слух, что он «скрывает силу». Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда, по утрам, в умывальнике очень сильно намыливал себе руки и так долго тер их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал с сумрачным видом, топорща плечи:

– Так надо. Чтобы кулаки были крепче...

И тогда во всем классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблились самовольно, поделив между собою девочек, точно средневековые завоеватели рабынь. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили слабеньким, зеленым и хилым. Нельгин пошел еще дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирал от усердия щеку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил наlepную картинку. На первом же уроке танцев он, потев от стыда и страха, сунул Мухиной в руку свое послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать: она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не покраснела. А на другой день во время урока Закона Божьего раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нельгина похолодело и затосковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем:

– Нельгин! Иди-ка сюда, любезный!

И бедного влюбленного повели наверх, в дортуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розог. Так, сама собою, как-то незаметно пресеклась, а вскоре и вовсе забылась первая любовь.

Только образ хорошенькой смуглой Мухиной с ее заспанными глазками и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь.

Трудно было бы перечислить все увлечения Нельгина. Предпоследнее было – свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя ее через голову, перепрыгивает ногами, вроде того, как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что, учащая темп вращения, он становится легче и легче, наконец отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется обратить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени «апахов» или «черноногих», прокрался в запрещенный лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на концах, принес его на мальчишеское поле и, твердо уверенный в чуде, подобно мифическому Дедалу, легендарным Аполлонию Тианскому, и Симону Волхву, и нашему почти современнику крылатому Лилиенталю, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину, и крикнул:

– Смотрите! Я сейчас полечу!

Но тотчас же запутался в веревке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку.

Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в нее и окончить курс было очень трудно, во-первых, потому, что «разумовских воспитков» вообще принимали неохотно, во-вторых, потому, что они все были подготовлены плохо, в-третьих, потому, что, проведши лучшие годы под влиянием капризных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы.

Из пятидесяти мальчиков выдерживали экзамен десять-пятнадцать; из них после телесного осмотра оставался самый надежный отбор в количестве пяти-шести мальчиков; но даже и эти счастливицы, пройдя через горнило науки и товарищества, уменьшались до трех-четырех. Самых худших, а почему знать, может быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение – в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам: если виноват, то за вину, а если не виноват, то в поучение, а за особые провинности – вдвое; где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать несколько известных, но скромных военных имен в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия.

Но Нельгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грезах он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким (а время было как раз после окончания войны 1877—1879 годов), иногда даже – до чего простирается мальчишеская дерзость! – Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось верить в чудо...

Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, пробовал выжать из себя хоть немножко слез и даже делал (надо заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем) в виде невинной взятки почти неосуществимые обеты: «Милый Бог! Добрый Бог! – говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела. – Ведь ты все можешь. Тебе ничего не стоит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом... потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковку... то есть нет: маленькую церковь или хорошую часовню. Только устрой».

В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также, на прогулках, всякой травяной дрянью: просвирками, свербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналег и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и, наоборот, сдержать грубую вольность языка.

Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много нагрешил такой невинный и веселый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьезное испытание. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск классная дама Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая, холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье – уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого пригготовительного гимназиста, поиграть с ее мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол (он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага), наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нельгин, а уже после него, поддерживая свою славу главного силача, выступил ленивый Сурков, – однако Нельгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксера были красны от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того и другого, а другие дети в это время с лицемерно-добродетельными лицами пили шоколад, пригготовленный классной дамой для первого знакомства пригготовишки с воспитанниками.

Но ушла Ольга Петровна, а на смену ее временно была назначена Вера Ивановна Теплоухова. Ее Нельгин знал еще по группе. Это была длинная, но при этом коротконогая девица, с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От нее всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а формой – на рог носорога. Совсем неизвестно, где рок фабрикует людей такой наружности и такого характера.

Самое же ужасное в ней было то, что она была твердо убеждена в непоколебимости и верности нравоучительных анекдотов и воскресных прописей и каждое свое слово, взятое из книжки, считала священным.

Конечно, она сразу же, по естественному отвращению, возненавидела Нельгина, в котором, даже и в его юном возрасте, чувствовался настоящий бунтарь, – возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, мелочные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движения Нельгина, и звук его голоса, и невольные привычные гримасы, и живость его воображения, и еще многое, чего она себе объяснить не умела и о чем она потом забыла, как забыла о самом Нельгине.

Это еще ничего, что Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда – он и так почти ничего не ел, – и что его лишали свиданий – к нему никто не приходил, – но Вера Ивановна выбрала с терпением и пронизательностью мстительницы самое больное, чувствительное место: она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом и стоял кому-то назло добросовестно и терпеливо. Игры товарищей ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаймленный густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стариком, он убедился, что луг был не более ста квадратных сажень, а лес – кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии, пампасы и льяносы. Стоял Нельгин столбом и думал: «Хорошо бы было нестись по этой зеленой степи, скривив челюсть набок, как будто закусив удила, склонив голову, галопом; по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми неведомыми цветами и остро пахучими травами». И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что, отбив стояние столбом, ты не побежишь опять по траве», – то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но все-таки побежал бы... Словом, в мнении воспитательниц он навсегда оставался мальчиком-лгуном.

– Она ко мне придирается, и я больше не могу. Совсем никак не могу, – говорил ночью Нельгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. – Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а вы – как хотите. Впрочем, это, конечно, будет свинство и вы не товарищи. Читали вы «Дети капитана Гранта»? Пятнадцати лет был мальчик, а он командовал трехмачтовым кораблем: фок, бизань, такелаж, грот, и там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по одиннадцати лет – все равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман, потом мы пойдем на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева: Сергей Фирсович и Аглаида Семеновна – они меня знают. Мама теперь в Пензе, и они ни о чем не догадаются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы...

Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нельгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать.

– Ну что же? – продолжал Нельгин. – Ну что же? Нас здесь мучают, притесняют, из-за каждой ерунды ругают и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась! Но очень просто удрать и в Америку.

– В Америку – это на пароходе, – деловито заметил Амиров.

– Да, на пароходе. Но можно и вплавь, то есть не вплавь, а на лодке. А главное – нужно запастись провизией и деньгами. Мы (он теперь уже говорил не «я», а «мы» – замечательный прием всех заговорщиков) переночуем у Сергей Фирсыча. Он нам даст несколько денег, потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата (меня там все знают) едем в наше имение Щербаковку и Зубово (тут его фантазия разгорается, по обыкновению), нас встречают крестьяне... Молоко, деревенские лепешки, все что угодно... Я им продаю сто десятин леса, тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу, на паром и едем в Америку. Впрочем, это все я могу и один, а вы – как хотите.

– Это верная дорога, – сказал Юрьев.

Амиров подумал и сказал шепотом, но веско:

– Да! А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает? А потом кто-нибудь профискалит? Потом, мы не знаем, как ехать по паровику. Да.

– Ну, паровик – это чепуха. Я все знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной, – жжик в кусты, а там через парк. Через Язу вплавь. До Кудринской площади дойдем к вечеру, а потом, уж вы поверьте мне, все будет как следует. Я даю мое честное, благородное слово.

Нетрудно было ему увлечь мальчиков: Юрьева, который всегда шел за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было из обязательного молодечества отказать от компании. Надо еще раз отметить, что Нельгин не хотел их обманывать: он просто душой поэта и сердцем путешественника верил в то, что все делается, как он предполагал.

На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение, решившее судьбу побега. Вера Ивановна рассказывала мальчикам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она зла и придиричива. Вероятно, у нее был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нельгина, и он просунул свою стриженую большую голову вперед, забыв в эту минуту о своем побеге, хотя хлеб с солью у него был уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, понюхала, брезгливо сморщилась и сказала:

– От тебя всегда пахнет воробьем.

У всех мальчишек летом, когда волосы немного выгорают, пахнет от головы птицей, но почему-то Нельгин обиделся и ответил:

– А от тебя, дура, пахнет мышами. И потом, ты старая, у тебя грязное лицо.

Готово. Нельгин стоит столбом. Вера Ивановна Теплохова хватается за голову и кричит:

– Нет! Я больше не могу! Уберите мне его отсюда, уведите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя не ручаюсь! Дядька! Где дядька! Дети мои! Никогда не берите пример с таких глупых и гадких детей! Нельгин! Будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до самой могилы.

Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал: «Вот говорят, что только орлы прямо глядят в лицо солнцу, а вот я не орел, а гляжу, хотя слезы текут градом». Другие мальчики насыпали горсточку песку, обложили сырой землей, потом снизу отковырнули маленькую дверцу, осторожно пальцами выгребли песок – получился великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера. «Какие дураки, – думает Нельгин. – Тут нужно вставить прутик с зеленым листиком – это будет флаг, кругом воткнуть разные цветы, какие попадутся, и получится дивный замковый сад». Но все-таки же одним краем своего сознания он знал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев. Выждав момент, они, правда, подошли к нему, как заговорщики.

– Что же, – спросил небрежно Нельгин, – слово дано. Бежим?

Оба помялись.

– Да мне все равно. Я один убегу. Потом вы обо мне услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас найду места, вроде генералов. Только я прошу не фискалить. Я с вами не знаком, вы со мной не знакомы.

Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрьев первый сказал:

– Так что же? Раз дали честное слово и клятву друг другу, так пойдем?

Амиров немножко замялся:

– Да вот я не знаю... папа придет в воскресенье...

Но Нельгин уже овладел положением:

– Папа, папа... Подумаешь тоже: папа! Когда мы приедем в Наровчат, я ему вышлю целый воз битых индюков, кур, гусей, соболю шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмем с собою и будем вместе с ним обрабатывать Кордильеры.

Вера Ивановна ходила взад и вперед, окруженная толпой прилежных учеников. Оставляю на ее совести все то, что она, невежественная и злая, говорила в это время! Но едва только она поравнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травы, а третий предавался танцевальному искусству, – поравнялась, повернулась спиной и проплыла назад, – как они все трое бросились в кусты.

Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись – волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просвирняк, и сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было пробираться. Мальчикам казалось, что они катятся по какому-то бесконечному лесному обрыву, затем чаща немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им послышались детские голоса. Нельгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились в совсем незнакомом месте. Там текла черная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, ее приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал:

– Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придет в воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание.

Какой решительный характер был у Нельгина! Четыре забытых доски, вероятно, остатки портомойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остается навеки в истории взрослых.

– Ну что же, Амиров! Это твое дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывем реку и потом дальше. Юрьев! Снимай обшлага! Мигом!

Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов. Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло верх.

– Прощайте.

– Все-таки не профискалишь? – спросил для верности Нельгин.

– Честное слово! Вот ей-богу!

Амиров ушел. Ребятишки сели на неустойчивый плот и кое-как, обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями: если бы они скувырнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбрались ползком на противоположный берег и только тогда ясно почувствовали, что все расчеты с прошлым покончены.

И тотчас же они услышали лай, подобный грому. Два больших холеных сенбернара летели прямо на них.

Надо сказать, что мальчики, если и видали собак, то только на картинке, но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай – это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нельгин с быстротой обезьян вскарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса.

Пришел какой-то человек, грязный, с черным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков:

– Откуда вы? Кто такие? Где живете? Куда идете?

Нельгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась «Красная Шапочка»:

– Мы идем в Кудрино, к бабушке. И вот заблудились. Как бы нам пройти?

Черный человек все-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железодельного завода «Дангаузер и К^о». Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и черный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлагов, однако, навели его на почти правильную мысль:

– А все-таки вы, может быть, из этих самых, как его называется? Елизаветинское училище?

Елизаветинский институт был рядом с пансионом, и если бы он сказал из «Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нельгину.

– Помилуйте! Елизаветинский институт – это женский институт, а мы просим указать дорогу.

Немец их отпустил, сказав, однако, черному человеку:

– Ты гляди, чтобы чего-нибудь не украли.

Черный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасавшего летнего дня цветились радугой лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором.

Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андрониевского монастыря. Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый: «Поверни направо, потом еще направо, там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрено – там и увидишь Кудрино», или «Вы, мальчики, идите все прямо, никуда не сворачивая. А где ваши папа-мама? Ай, ай, ай! Такие маленькие мальчики ходят одни! Как ваши фамилии?»

Но чутье подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер... Юрьев куксился, говорил о том, что он, конечно, пошел бы за Нельгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе кошелек с семью копейками и образок – благословение покойной матери (она и не думала умирать). Нельгин понимал, что уступить, поколебаться, сдать – значит потерять все и сделаться навеки смешным. И он по своему был велик в эти минуты.

– Давай, – говорил он Юрьеву, – прикинемся, что мы – бродячие итальянцы.

– Молякаля селя малям! Лям па ля то налям калям.

От них прохожие шарахались. Неизвестно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов. Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали ее и – о подлая, бессердечная Москва! – один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и едва раздышался. Был еще один жуткий момент, когда они очутились в центре города, шли по какой-то людной, узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный и, должно быть, честный человек сказал:

– Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево. Тогда вы попадете как следует.

Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина по карте было около восьми верст. Вероятно, ребяташки со всеми нелепыми кривулями сделали верст больше двадцати, но все-таки они, наконец, дошли до Кудрина и нашли напротив Вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка.

Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако в память прекрасной покойной женщины и побежденные красноречием Нельгина, они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка (одно окно в коридор), случайно пустовала. Нельгин, усталый, изодранный, врал из последних сил:

– Мама теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться.

Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен: «А вдруг догадаются, что мы ничего не ели?»

– Спасибо: мы только что пообедали.

Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе писарем и раньше, еще во времена бабушки, не без остроумия говорил о себе: «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я – безгласный». У него и у жены не было детей, но зато у них были шесть или семь собачонок, маленьких, черных, короткошерстных, с рыжими пятнами под глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а вечером кормил собак вареной печенкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал.

Но Нельгин знал отлично, что собаки печенку не доедают; поэтому он сказал Юрьеву:

– Теперь лежи, не шевелись. Сейчас я достану «пищу».

И, правда, ощупью в темноте он набрел на тарелку с печенкой (сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились) и принес ее Юрьеву. Должно быть, в печенке весу было около полуфунта, но этого хватило, и затем... блаженный сон усталых тружеников, без сновидений, без просыпа...

Наступило утро. Мальчики проснулись освеженные. Нельгина не оставил дух предприимчивости, но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дергая носом:

– Что мы будем делать дальше?

На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня еще не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щелку и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках: стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернет свой шелестящий лист. Милый, добрый Сергей

Фирсович! Да будет тебе земля пухом: ты, должно быть, о чем-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю. Они ответили: «Спасибо, мы очень торопимся» (этакие деловые люди!)... И отпустил их с миром.

До сей поры почти все предположения Нельгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но все-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Очутившись на улице. Юрьев заныл:

– Хочу домо-ой, в пансио-он!

– Это подло, – сказал Нельгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится сдачей. – Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово.

– Бою-юсь!

– Ладно, – сказал Нельгин, – только сначала сходим в зоологический сад.

– Да-а. У нас денег не-ет.

– Ничего. Ты, как я. Я знаю.

Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые триста шагов. Направо каланча, налево церковь Покрова, затем – налево какие-то пруды, направо – зоологический сад, между ними – мост. Нужно так: мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса: тогда ты не проходишь через контроль. Нельгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как черт. Юрьеву нечего было делать: оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, невыспавшиеся, они посетили и какаду и страуса, причем Нельгин стравил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов, посетили и слонов, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой; подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их, это до сих пор остается загадкой. Вероятно, все-таки человеческая воля – это область до сих пор не исследованная.

Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нельгина:

– Ты скажи, что это ты затеял, а я только так.

– Хорошо.

На этот раз путь был не так долог. Помогли и бессознательная животная память местности, и дневной свет. Часам к трем пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки, полотеры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания, и так они сначала не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно быстро их все-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты, со строгим запрещением видаться друг с другом. Нельгин сдержал обещание: взял всю вину на себя.

Тяжело было одиночество: ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком: одиннадцатилетний Нельгин додумался до разговора стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нельгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на «ять». Но вот однажды, около полудня, раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков.

«Ну! все равно выдерут, – подумал он. – А вдруг я возьму и умру внезапно? Потом они все будут жалеть...» Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову... Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала свое почетное место княжне Л., и поэтому в его лазаретную каморку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть веселых светских барынь и почти все утлые классные дамы.

– Вот посмотрите, княжна, если угодно, – сказала княгиня. – Сокровище! Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. Вот с чем вам придется бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей.

Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо:

– Ну ничего: широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, что он и пропадет, но, может быть...

– Вы смотрите через розовые очки.

– Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания.

– Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену?

– Конечно, я согласна наперед с вашим мнением, княгиня, но один маленький опыт, если позволите...

– О, конечно. Прошу вас.

– Благодарю вас. Вы очень любезны.

И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нельгин ровно ничего не понял, но как мог – он все-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала:

– Не выпороть ли нам этого мальчишку?

А другая сказала:

– Нет, зачем же: он такой маленький и худой...

А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нельгин услышал легкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, полная княжна могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдоль коридора:

– Pardon, princesse...³⁰

Княжна вошла в скучную больничную комнату, взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла ее кверху, внимательно-долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нельгина, потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала:

– Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе пришлю куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена.

Она уже готова была уйти, но вдруг остановилась.

– Это правда, что ты один задумал побег и уговорил товарища?

– Правда, – твердо сказал мальчик.

И прибавил с презрением:

– Он такая баба!

Милое, полное лицо княжны все осветилось прелестной улыбкой.

– Ах ты дерзкий мальчишка! – сказала она ласково и погладила его по загорелой исцарапанной щеке. – Ну, хорошо, непоседа, живи как хочешь. Только не делай ничего бесчестного. Прощай, бунтарь.

Она наклонилась к нему. На мгновение, с закрытыми глазами, Нельгин уловил чистый и сладостный запах духов, почувствовал на лбу прикосновение нежных губ, и на него повеяло слабым ветром от удаляющегося платья.

Первая ласка от чужого человека. Он открыл глаза. Никого в комнате не было. Из коридора доносились затихающие звуки легких поспешных шагов. Нельгин прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно со слезами на глазах:

– Для тебя!.. Все!

³⁰ Извините, княгиня... (фр.)

Звезда Соломона

I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал тридцать семь рублей двадцать четыре с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, – сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брендмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами.

Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунию и душистый горошек. Зимой же на внутреннем подоконнике шаршились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы-Троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка – за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи – за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство – за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареичным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось – получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зеркалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обеих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна

невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, – жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром – кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патристическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание – разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные издания, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет – и то по особо настойчивым приглашениям – в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих – голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умильных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще – церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и – старый, потертый крокодил – плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринаского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего – волосатого и звероподобного октависта Сугрובה, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.

II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом, был позван и церковный хор.

День закончился в «Белых лебедях» настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что

ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугророву, то огромному протодьякону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напряжившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему – замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

– Я и не скрываю. Чего мне скрывать? – говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. – Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смутьского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!

– Го-го-го! – загрохотал оглушительно Картагенов. – Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

– Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

– Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! – рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. – Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом написал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый договор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам – ко дню их совершеннолетия. А на руки – немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по договору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу – три рубля, за пять тысяч – десять и так далее, с

благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч – пятьдесят целковых, по тогдашнему времени – целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь – готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения номер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж – никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, – почему знать? – и в удвоенном размере? Батка по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис³¹, даже до полного расстройства стомаха³².

Наутро батка попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!» – «За что, папенька?» – «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, – сказал, – потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.

– Маловато, – заметил кто-то иронически.

– А что же? – возразил другой. – Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы...

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов:

– Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захоластья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концерттировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугрובה кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не выдывано.

– Ве-ерно, – протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

– Да-а, – подтвердил Сугробов на кварту ниже. – А я бы, – заговорил он с оживлением, – я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я – до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделию в общий великий все-ленский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды... – закончил он в нижнее контр-ля.

Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена – маленькая, тощая, язвкательная женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житнем базаре.

И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебю притянула и зажгла неутолимьм волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокою судьбу. И тут сказала, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке,

³¹ Вдоволь (от *лат.* quantum satis).

³² Желудка (от *греч.* stomachos).

об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

– Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч – дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, – одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!

– Ему бы миллион, – сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. – Известно, консистория – место хлебное, а глаза у нее завидующие.

– А что же? – спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. – Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять – это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» – «А я бы, – говорит, – сидел целый день у ворот на завалинке и лулгал бы семечки. А как кто мимо идет – в морду. Как мимо – так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

– Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

– Я? – встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. – Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь... светло, уютно... компания милых, хороших товарищей... дружная беседа... – Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. – Я хотел, чтобы был большой сад... и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей... И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили... в простоте, дружбе и веселости... Никто бы не ссорился... Детей чтобы был полон весь сад... и чтобы все мы очень хорошо пели... И труд был бы наслаждением... И там ручейки разные... рыба пускай по звонку приплывает...

– Словом – рай! – прервал его Световидов.

А протодьякон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

– Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоустройство и благоухание и небеси глубино торжественная, людие веселием играша воспевающе...»

Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

III

– Извиняюсь за беспокойство, – сказал осторожно чей-то голос.

Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди – огненно-красный галстук, под мышкой древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посередине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ – брови незнакомца, подымавшиеся от переноса круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

– Я стучал два раза, – продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. – Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас – самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. – Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. – Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело... Да нет, вы не волнуйтесь так, – заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. – На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти...

– Ах, это ужасно неприятно, – конфузливо сказал Цвет. – Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

– Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести...

– Сначала позвольте рекомендоваться, – посетитель протянул визитную карточку. – Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель.

«Странно. И фамилия как будто бы знакомая», – подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

– Очень приятно... Но я...

– Один момент... Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

– Совершенно точно.

– Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно?

– Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно... Так, какие-то мелочи... и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

– Это вовсе и не важно. Пара пустяков, – небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. – Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом – что называется – чудачком.

– Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утерjali их. Впрочем, без всякой ссоры.

– Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозяйным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист – какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обнятой в черную перчатку, было твердо и сухо.

– И чтобы не быть голословным, – продолжал Тоффель, – позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение... Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с при-

бавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та, тра-та, – забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами.

Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков.

«Как его звать? – подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. – Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью:

– Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно... Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко Черниговская губерния...

– Стародубский уезд, – подсказал Тоффель.

– Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний... Кроме того, ваши любезные хлопоты... Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

– Гонорар – второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

– О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

– Признателен, – поклонился Тоффель. – И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

– Позвольте, но это уже совсем немислимо. Надо выпросить отпуск... Необходимо достать денег на дорогу... Собраться... И мало ли еще что?

– Пара пустяков, – самодовольно и ласково возразил ходатай. – Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйста.

– Вы – волшебник, – прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим.

– И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг – это уж так водится у нас, адвокатов, – ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь послонить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет» – и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

– Вы так любезны и предупредительны... что я... что я... право, я не нахожу слов.

– Сущий вздор, – фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. – Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка.

– Это билет первого класса до станции Горынище, а это – плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio caro...»³³ – пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. – А с вашего разрешения, я пособлю вам уложиться!

– Ах, что вы, помилуйте... Ради бога! – смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой.

– Экий вы шепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек – вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж³⁴.

– Спасибо, – сказал Цвет. – Прелестная вещь. – Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, – думал он, – и как поразительно скоро совершаются все события! Право – точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо... Где же я его видел раньше?»

– Но как все это необыкновенно, – сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. – Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

– Ах, молодой человек, молодой человек... Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развалыцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего... Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я – мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проканителесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить займы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамы взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы – человек слабый, мягкий, уступчивый, – хороший товарищ. Еще завертите, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, – помните? – полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайтесь на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие, *fantaisie*. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым

³³ Пойдем, пойдем, мой дорогой... (*ит.*)

³⁴ Вознаграждение, комиссионные (от *фр.* *courtage*).

караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение – землю продать. Возиться с ней – это, как говорят голяки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу... Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее... Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря – никакого. Дом – сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть – рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все – хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии... Ведь вы человек верующий? – Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. – И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

– Даю, даю. Сделайте милость. Господи!..

– Крр... – издал ходатай горлом странный трескучий звук.

– Что с вами? – заботливо спросил Цвет.

– Ничего, ничего, не беспокойтесь... Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное.

Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так.

Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

– Не откажите принять. Это так... дорожная провизия... немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы... А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бель-вью. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты.

И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники – вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обыч-

ные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, – женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам – Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать, живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, – думал тревожно Цвет. – Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто».

К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством.

– Так-таки до самого, до паньского фольварку? – спросил он, наконец, недоверчиво. – До того Цвита, що вмер?

– Да, в имение, в господский дом, – подтвердил Иван Степанович.

– Эге ж, – старик чмокнул на лошадей губами. – А вы сами из каких будете?

Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

– Эх, не доброе дило... Не фалю.

– Почему не хвалите, дядя?

– А так... Не хочу...

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно:

– Вылазьте, ну, панычу. Бильшь не поиду.

– Как же это так не поедете? – удивился Цвет. – Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

– Ни. Не поиду. А ни за пять корбованцив. Не хочу.

Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

– Боитесь, верно?

– Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите мини мои гроши, тай годи.

Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшевой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские

репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения.

Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери – парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, – были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

– А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? – спросил он. – Всюду заперто.

– А чи я знаю? – равнодушно пожал плечами мужик. – Мабудь у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, прошю, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите – такее зробилось, що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки... И загубил свою душу, а ни за собачий хвист. И вас, панычу, нехай боронит Господь Бог и святыи Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела.

«Точь-в-точь как голос Тоффеля», – подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание.

– А ну, седайте, панычу, скорийше и поидеме до села, – сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем.

Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками:

– Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное, не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях Князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты... А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе.

Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что измороженное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался.

Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и пригласил его на завтра к утреннему чаю.

– Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии.

Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости.

– Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я – солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский. И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидений, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воров или шум какой – и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мурмур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по элекстричеству работает.

Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку.

Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, – но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все покорибилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек.

По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что

на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикетки с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «venena»³⁵.

Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на полу и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство *in folio*³⁶, в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение.

Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной.

Поставив фонарь на стол, Цвет опустил его возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и раскрыл ее.

На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с отдельными буквами в словах, с «н», похожим на «т», и «д» – на «п», тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено:

«Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии».

Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв, вроде «р», «д», «у», «з» и тому подобное, стояло:

«Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин.

Москва, Сивцев-Вражек, свой дом».

И еще ниже – мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика:

«По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г. Апреля 3-го, ус. Червоное, Черниг. губ., Стародубского у.».

С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы.

³⁵ Яд (*лат.*).

³⁶ Форматом в половину бумажного листа (*лат.*).

Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь – не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны.

Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей.

Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за ней в порядке алфавита, вместо второй – третью, вместо третьей – четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «а» значила местоимение «я», буква «к» – союз «и», «песв» расшифровывались в «огонь», часто встречающийся знак «ехт» значил – «дух», «тнсжу» – читалось, как «слово», нелепое «грлбсп» означало «возьми».

Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрытию замаскированных речей все-таки пригодилась ему.

Вся книга была вперемежку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков Зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились – одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «Звездой Соломона».

И всегда «Звезда Соломона» сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).
Асмодей.
Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).
Дагон.
Люцифер.
Молох.
Хамман (иногда Амман и Гамман).

Видно было, что все три предшественника Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, – может быть, слово, может быть, целую фразу, – и расположить ее по одной букве в точках пересечения «Звезды Соло-

мона» или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один – в своей княжеской вотчине, другой – в Москве, третий – в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan.

Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью:

«Подумать только? Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза „А“. Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливицу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?»

Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:

«Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно! Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле – сила. В силе – власть.
А. Цвет».

У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, полюбил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:

«26-го апреля 19** года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное».

И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком «Звезды Соломона» и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре.

«Странно, – подумал он. – Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же... попробуем...»

В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь – где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы.

Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой.

Astoret
Asmodeus

Dagon
Hamman
Lucifer
Moloh
Velial

И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнения в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников.

Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. «Опять верно, – подумал Цвет. – Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почему знать – не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в „Звезде Соломона“?»

В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая, и, верно, самая важная, пойдет в середину. Если начать со слова Satan, то не поместить ли S в центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: «Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца». Конечно – S». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы – a, t, a, n.

Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память. Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: Voco te, Satano! Advoco te, Satan! Veni huc, Satana³⁷.

Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается.

И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет!

Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромн. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать *совершенно не пропускали света*. Это были следующие буквы: a, a, e, f, g, i, m, n, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: e, g, i, m, o, o, r, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола.

Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям «Звезды Соломона» справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, ониг, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. «Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе...» Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг... точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.

– Афро-Аместигон! – воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их

³⁷ Зову тебя, сатана! Призываю тебя, сатана! Приди, сатана (*лат.*).

изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тоффель! – мелькнуло быстро в памяти Цвета. – Меф-ис-тоффель!»

Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом:

– Кш! Проклятый! Брысь! Афро-Аместигон!

Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом.

– Мэ-э-э! – угрожающе заблеял козел и наклонил рога.

– Ах, так? – крикнул в исступлении Цвет. – Афро-Аместигон!

Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета.

И он потерял сознание.

V

Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молеедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и зашекотал своим жгучим прикосновением.

Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле.

Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальне комнате, на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана.

Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой.

«Ах, хорошо жить! – подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. – Только, вот стаканчик бы чаю... А как его достанешь?»

Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар.

– Добрый день, паныч, – прошамкал он в свою зеленую бороду. – А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Подождите трошки, я зараз принесу.

Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый съезженный временем лимон.

– Самовар я у батюшки-попа занял, – деловито объяснял сторож. – А citronу достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с citronой пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давношнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе – вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко.

– Садитесь и вы, дедушка, – предложил Цвет. – Давайте стакан, я вам налью.

– Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание.

Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат – большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам – все это бабы сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну, да это, как сказать, – каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо... Не пьют, не курят, в карты не играют... Чисто вокруг себя, ходят... Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок...

Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал.

– А уж не горит ли что у нас часом? – спросил он, бережно ставя блюде на стол.

– И то, горит, – согласился Цвет. – Пойду посмотрю.

Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь.

– А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, – посоветовал храбрый старик. – Давайте я. Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу.

– Оставьте. Можно потушить.

Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо.

– От так! – крикнул с удовольствием сторож. – Туда ее, к чертовой матери.

– А и правда, – спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно...

С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечи-

вали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью...

– Ну, и хлам! – сказал Цвет, качая головой.

– И правда, – согласился сторож. – В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить.

По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травой, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами.

Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы поскорее домой, – подумал он. – Ни за что здесь не стану жить».

В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот.

– Никак почта из Козинец? – сказал сторож. – У нее такой звонок.

Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице.

– Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма! – крикнул почтальон на ходу. – С приездом имею честь.

Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля.

«Козинцы нарочным.

Червоное усадьба помещику Цвету.

Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель».

Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался.

– Надо, дедушка, мне ехать обратно, – сказал он деловито. – Как бы лошадь достать в селе?

– А вот не угодно ли со мной? – охотно предложил почтальон. – Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку – мигом доставит. И как раз к курьерскому.

– Мало погостили, – заметил древний церковный сторож. – А и то сказать, что у нас вам за интерес?.. Человек вы городской, молодой... Покорнейше благодарю, ваше благородие... Тяпну за ваше здоровье... Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам...

– Ладно, ладно, – весело перебил Цвет. – Подождите, я только сбегаю за чемоданом и – езда!

VI

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быст-

рее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса.

Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно-фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса – все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь.

Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным.

Слегка поражало его – хотя лишь на неуловимые, короткие секунды – то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, – точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, – давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.

Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынице, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, – веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ, с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из ножен шашку, а с правого – десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.

Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горынице, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкус-

ной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.

Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.

«Неважная штучка мои часы, – подумал Цвет, – а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка... можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце...»

Он сказал ласково:

– Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет... – и, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: – ...вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым брелком...

– Го-го-го! – добродушно захохотал почтальон. – Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.

И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортонна. Случайно притиснутая материей пружинка сообщила с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенок с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.

– Извините... такая дорогая вещь, – пролепетал смущенный почтальон. – Мне, право, совестно.

Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», – подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:

– Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.

VII

Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались.

– Чудесный вы человечина, – сказал растроганный Цвет. – От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе.

Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния.

– Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, – увя мне, чадо мое! – так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна... в Стародубе... звать Клавдушкой... Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но – куда! Отец – лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая

того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, – сказала, – я вас извещу». Но вот и апрель кончается... Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути... Всего вам наилучшего... Бегу, бегу.

Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками.

«Как хороша! – подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. – Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она – единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!»

Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздь цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.

Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне!» – мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез.

Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича.

– Дорогой мой... если бы вы знали... Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота... Подождут один день... Провожу вас до первой станции... Такой день никогда не повторится... Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун...

– Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю.

– Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните?

– Помню.

– И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее... Верно?

– Ну да.

– И вот, представьте себе... как по щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уж старый и трухлый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только.

Он совал в руки Цвета два конверта. Один – казенный, большой, серый; другой – маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно:

– Может быть, в этих письмах что-нибудь такое... что мне неудобно знать?..

– Вам? Вам? Вам все дозволено! Вы – мой благодетель. Смотрите! Читайте!

Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися наклепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками.

– И прекрасно, – сказал ласково Цвет, возвращая письма. – Сердечно рад за вас.

– И я безмерно счастлив! – ликовал почтальон. – Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?

– Что же. И я бы не прочь, – отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке.

– Завтракать будете?

– Вот что, – уверенно ответил Цвет. – Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам... – Он задумался, но всего лишь на секунду. – Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов.

– Слушаю-с, – ответил почтительно, с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант и скрылся.

– Я вам говорил, что вы кудесник, – обрадовался почтальон. – Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется.

Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха.

И он произнес слабым, дрожащим голосом:

– Хорошо. Пусть будет музыка.

Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: «O solo mio...»³⁸

Модестов выглянул из купе.

– Бродячие музыканты! – доложил он. – Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство.

Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон – всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю – сторож принес чай. Он подумал – и то мимолетно, – что хорошо бы было развязаться с усадьбой, – получила телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать – Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр» – и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета – и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд... Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая... И главное – самое главное и самое тяжелое – то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного.

Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подно-

³⁸ О единственный мой...

сил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: «А убрался бы ты куда-нибудь к черту».

Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду» – и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда – этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим.

Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» – приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка еще!» – продолжал погонять его Цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе слышались тревожные голоса мужчин и крики женщин.

Сам Цвет перепугался. «Нет, уж это слишком, – подумал он. – Так легко и голову сломать. Потихе, пожалуйста».

«Слу-ша-ю-у-у!» – загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход.

«Вот так, – похвалил Цвет, – это мне больше нравится».

Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала «тормозить». А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила...

«Как все просто», – подумал Цвет... Но в этой мысли была печальная покорность.

В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным, маленьким червяком. «А что, если упадет?» – мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент – и он сорвется.

«Не надо, не надо!» – громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но, тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста.

Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» – спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полужасных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться.

На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки.

За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем.

«А, что б ты заткнулся!» – досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет, нет, пускай благополучно!» – торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица.

– Иди, и чтобы это в последний раз! – сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно... – А то...

«Опять и опять, – подумал без удивления Цвет. – И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо-длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на „О“ и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я слышал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливицы, никогда не знающие проигрыша в карты... Они говорят – полоса. Так и я попал в какую-то полосу».

У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!»

Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета.

«Это хорошо, – решил он. – Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне».

Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная.

«Неудовлетворительно, – насмешливо сказал Цвет. – Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов „Ландыш“.

В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой:

– Вот, барин, не угодно ли вам... Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся?

– Дайте.

Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни: «Мугуст, Пинауд, Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.

«Вот это случай – так случай, – снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. – Но – баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку

поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь».

– А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? – спросил он.

Проводник помялся.

– Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием.

– Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель.

Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», – шепнул засыпающий Цвет.

VIII

Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель.

– Доброго утра, мой достопочтенный клиент, – приветствовал Цвета ходатай. – Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали.

«Где-то я его видел, – подумал Цвет. – И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!»

– Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?

– Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряджусь.

Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека, – размышлял он. – Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся... Да что это? Неужели я его боюсь. – Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. – Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, – обратился он к своему изображению в зеркале. – Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами. Идите пить чай».

В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце!

– Я должна попросить у вас прощения... Вчера я позволила себе... такую необузданную... мальчишескую выходку...

«Смелее, Иван Степанович, – приказал себе Цвет. – Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен».

– О, прошу вас, только не извиняйтесь... Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет.

– Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно...

– Позвольте от души поблагодарить вас... Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук... Я ваш вечный должник.

– Воображаю, как вы испугались... Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома.

– Ничуть. Это был такой милый, красивый и... царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным...

Дама весело рассмеялась.

– Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом: «Скоро ли мы проедем через Курск?» А он говорит: «Вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону, вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг... И села сюда... И вот утром вы... Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидела.

– Но какая неосторожность... выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться?

– Э! Я ловкая... и потом что суждено, то суждено...

– А знаете ли, – серьезно сказал Цвет, – ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?

– Этому позвольте не поверить... Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных...

– А потому, – раздался сбоку голос Тоффеля, – позвольте вас представить друг другу.

По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия.

– Ах, это вы, Мефодий Исаевич... Вот неожиданность.

Тоффель церемонно назвал Цвета. Потом сказал:

– Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна...

– А это всезнающий и вездесущий monsieur Тоффель, – ответила она и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета.

– Идемте к нам чай пить, – предложил Тоффель, – у нас сейчас уберут.

Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече.

Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна – единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человеческому горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная энженю-комик³⁹ на любительских спектаклях и так далее и так далее.

Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом,

³⁹ Комическая простушка – театральное амплуа (от *фр. ingénu comique*).

tenor di grazia⁴⁰. Немного художник и поэт... Душа общества.... Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились.

Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой:

– Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя... У вас есть записная книжка? Запишите: Озерная улица... Не знаете? Это на окраине, в Каменной слободке, – дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно.

Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила, и подумал: «У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами».

Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе.

– Хороша? – спросил, прищуря один глаз, Тоффель. – Вот это так настоящая невеста. И собой красавица, и образованна, и мила, и богата...

– Будет! – оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему – Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно:

– Надо бы автомобиль.

– Сейчас, – услужливо поддакнул Тоффель. – Мотор! В Европейскую.

Дорогой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартиру в четыре-пять комнат, изящно обставить ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево «настоящие» вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы – в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца... Словом, мы завоем весь мир!..

Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем.

Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею:

– Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню.

⁴⁰ Лирический тенор (*ит.*).

Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая злоедающая угроза – все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом:

– А слово?.. Вы узнали слово?..

– Не понимаю, – тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. – Какое слово?

Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни.

«Там... в усадьбе... книга... формулы... Красный переплет... Мефистофель...» – забродило в голове у Цвета. Тоффель же продолжал настойчиво шептать:

– Заклинаю вас, назовите слово... Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь...

У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы.

– Не знаю... не могу... не умею...

Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках, по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями.

– Слово, слово, слово... – лепетал он. – Вспомните, вспомните слово!

Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля.

– Оставьте, не надо этого, – сказал он резко. – Слышите ли – я не хочу!

Тоффель поднялся и спиной к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха.

– К черту! – воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. – К черту с. Я пьян, как фортепьян. Забудьте мой бред – и к черту! Прошу извинения. Но еще... только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить.

– Хорошо. Говорите, – согласился Цвет.

Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак.

– Что у меня в руке?

Цвет с улыбкой ответил уверенно:

– Маленькая золотая монета.

– Что на ней изображено?

– Подождите... сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя... Голая шея... Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически...

– Гм... да, – произнес Тоффель угрюмо. – Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?

IX

Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как

многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки.

В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошайек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не потеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть!» – как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве.

Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая – жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!» – кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренне произносил: «Уйди!» – и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым взглядом.

Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений.

Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирает на ключ все двери в квартире.

Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий.

Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух!» И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позабавился их легким прекрасным движением. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное!» – подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий «Фарман» № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни.

Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит!» Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог слышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди

ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу.

Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах.

Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском «свете».

В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен...

Когда по звонку лошадей одну за другой – их всех было одиннадцать – выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил:

– На кого ставите?

– Сию минуту, – ответил вежливо Цвет, – я только соображу.

Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым – негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались.

Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленях ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов.

После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращая то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья.

– А вот на эту... рыженькую, – сказал наивно Цвет. – Она придет первой.

Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса:

– Верно, как в государственном банке.

Сосед Ивана Степановича поднял вверх темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом:

– На Сатанеллу? Замеча-а-а... Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком... Мне все равно, но деньги бросаете на ветер.

Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.

– Поставьте на эту... на как ее... на рыженькую... Голубая рубашка со звездами.

– Сатанелла, номер одиннадцатый.

– Да, да.

– Сколько прикажете?

– Все равно. Ну, там билетов... десять... пятнадцать... распорядитесь, как хотите.

– Слушаю, – поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.

– Прекра-а-а... – пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы. – Изуми-и-и... Но послушайте же, – переменил он голос на более естественный. – Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок.

– В первый раз.

– Вот видите... Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье... Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион... А здесь аб-со-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете... понимаете, которая еще не родилась.

– Однако она – вот она! – весело возразил Цвет. – И придет первым номером.

– Удиви-и-и... – прохрипел сосед. – Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: номер одиннадцатый – Сатанелла... владелец Осип Федорович Валдалаев. Это мы, – ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. – И мы вам говорим, что она без места.

– Первой.

– Не пос-ти-гаю, – пожал плечами владелец. – Ну хотите, – я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей?

Цвет упрямо тряхнул головой.

– Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении.

– Но и я не хочу выигрывать наверняка, – холодно возразил сосед. – А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника.

Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета.

– А я, – сказал он резко, – ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой.

В это время лошади под жокеями живописной, волнуемой, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая.

– Не будем сердиться, – добродушно сказал Валдалаев. – Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гальтимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй.

– Первой, – уперся Цвет.

– Хорошо, – пожал плечами Валдалаев. – Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, то – ни вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?

Цвет ясно улыбнулся ему.

– Хорошо.

– И великоле-е-е...

Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались уже негодующие голоса: «Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом, и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле.

Подошел Тоффель с билетами.

– Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, – за номер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета. Чисто!

Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседелье на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастливого полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял по крайней мере сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга... Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности.

К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико неслись вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей... Остальные лошади остались на той стороне круга.

Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно:

«Ты, ты должна быть первой!..»

Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу... Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики.

– Поздравляю, – льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель...

– Ну вас к черту! – резко швырнул ему Иван Степанович.

Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник:

– Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите.

– Да мне, собственно... не надо... – залепетал Цвет. – Я ведь это просто... так... зачем мне?..

– Что-с? – рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. – Н-не на-до? Эття чтэ тэкое? А за уши? Я Вал-да-лаев! – громом пронеслось по судейской беседке.

И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него.

Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже.

– Э, черт! – тоскливо выругался Цвет. – Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? – спросил он кого-то, стоявшего у барьера.

– Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся, или подкова расхлябла... Да, впрочем, и жокеи тоже... известные мазурики.

Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых.

– Наша взяла! – торжествовал он, подбегая к Цвету. – Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал.

Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда.

– Сто? Лосадку залко? – спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски. – Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости. Едемте-ка в Монплеизир спрыснуть выигрыш.

– Тоффель! – с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: – Уйдите прочь.

Но про себя он подумал с горечью и тоской:

«Сколько еще несчастий причину я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о Боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил.

Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захопал в ладоши. «А вдруг это она. Варвара Николаевна», – подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.

Х

Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это – явь или сон? И если сон, то когда он кончится.

Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном

или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо – рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен.

Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах».

– И он это может, – прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. – Он бывший ахтырец и знаменитый бреттер.

– Тен-то може! – уверенно подтвердил граф.

А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал: «Ну, в таком случае я его убью».

На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой.

Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета... «Я прострелю ему ухо», – решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу». И сжал указательный палец.

Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойной октавой:

– Превосхо-о-о-о...

И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном:

– Извиняюсь перед вами... Я не то о вас подумал... Я думал, что вы... так себе... шляпа... А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и...

Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка.

– Пишите, Иван Степанович, – сказал Тоффель с мрачным удовольствием. – Пишите.

А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей.

– Но чтобы, – кричал он, стоя, шатаясь и расплескивая бокал, – чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами! И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый храп!.. В мордочку! Безнаказанно! Ура!

– Поедем в купеческий клуб, – сказал где-то в пространстве Валдалаев, – там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч.

– Есть. Езда! – ответил с добродушной готовностью Цвет. – Но сперва вымойте меня сельтерской водой.

Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо:

– Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их – рразом... Понимаешь?

– Рразом! Понимаю!

– Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно?

– Д-да!

– Валяй!

– Я им пок-кажу-у!

– Покажи.

В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха:

– Господа. И французов и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы – простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиной?

Его проверили. Загадывали двадцать седьмую, и девятую, и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились.

Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом:

– Сногшиба-а-а... Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги – к чертовой их матери!..

И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек.

А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски.

Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди-Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы.

Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес – три пуда двадцать пять фунтов – и его непоколебимая решимость скакать.

Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добродушную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени Mademoiselle Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но

каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства.

И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремяна, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами.

Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок «а la hausse» и «а la baisse»⁴¹. Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны и в несслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да, право, я и сам не знаю...» Но в том-то и заключалось скрытое несчастье и невидимая боль его жизни, *что он знал и не мог никому сознаться.*

Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придаться было не к чему: налицо оказывались и полученное наследство, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти.

Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахинном с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом⁴², величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереею и зимним садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта⁴³

⁴¹ «На повышение»... «На понижение» (фр.).

⁴² Дворецкий (от фр. majordome).

⁴³ Двухколесного экипажа (от англ. dog-cart).

двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти Изабелла, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми серебро-белыми гривами и хвостами.

Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире (как в этом по крайней мере уверял прежний владелец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора – всеильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств.

Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные, шуточные китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события.

Ужинали на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками.

В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.

С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью «двойного зрения», с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, – так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого, пристально и напряженно взглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, – перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, Цветом, холодно наблюдающим мастером.

Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уго-

ловные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко.

И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий – все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто произвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находится в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству.

О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза – затуманенные, влажные – искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана. Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным.

Была во всем свете лишь одна – ее имя начиналось с буквы «В» – одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала.

Чтение чужих мыслей было не единственным несчастьем Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: «Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы...» Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение... и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками.

Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение Земли вокруг ее оси и что эта остановка повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой Земле: «Остановись!»

Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло.

Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 19** году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженные вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого...»

И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебным подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановить их.

Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете. Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Ключками проносились перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне... Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю.

От усилия вспомнить у Цвета так разбалчивалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще большее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! – и тотчас же погружался в безмолвие и покой.

Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму, с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.

XI

Но всему, даже горю, приходит конец.

Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал:

– Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это... какие-то жетоны или игральные марки... не знаю...

Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно:

– Уберите куда-нибудь.
Слуга ушел.

Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше... С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S... Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его... В глубокой полночной тишине только и слышалось, что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета... И тогда-то именно случилось... Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться.

Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немного, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению *сосьяль-демократ*, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности.

– К вам домогается какой-то тип – Среброструн. Что он за тип – я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хочет, чтобы лично... Ну?

– Просите его, – сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. – А вы... – прошептал он с ненавистью, – вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда!

Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе.

«Первая галлюцинация, – подумал Цвет тоскливо. – Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях:

– Да кто там? Войдите же!

Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука.

– Неужели не узнаете? Среброструнов. Регент.

Нет. Иван Степанович не узнавал Среброструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло:

– Как же, как же... Великолепно помню... регент Среброструнов... еще бы. Прошу садиться. Чем могу?..

Среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычно просительную канитель: простудился, начал

глохнуть, голос сдал... все это, конечно, временное и проходящее, но, сами знаете, каковы люди... Конкуренция, завистники... Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды... Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены... Словом...

Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом:

– Подождите... Мне изменила память... Подождите минуточку... Ах, черт... – Он усиленно потер лоб. – Никак не могу... Да где же, наконец, мы встречались?

– Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок... Как это вы прелестно соло выводили «Благослови душе моя» иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете?

Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона... Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце.

Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал:

– Извините... Я не могу больше... Уйдите скорее...

Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: «Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик, у себя и на дому». У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозой или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: «Хоть бы поскорее!»

Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Среброструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недостижимому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета – фантастическому и скорбному.

На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку.

По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как

будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости».

Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.

Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он – издали, внутренне – суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, – бывало ли это в воде, в огне, под землей или в воздухе, – говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом:

– Афро-Аместигон!

Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые.

Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь.

– Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, – сказал он, наливая Цвету большую рюмку. – Выпейте, успокойтесь и поговорим. – Он слегка погладил его по колену. – Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло.

Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил:

– Вы – Мефистофель?

– О нет, – мягко улыбнулся Тоффель. – Вас смущает Меф. Ис... – начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?.. Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы – существа маленькие, служилые... так себе... серая команда.

– А мой секретарь?

– Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, – нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович... Ну, что же? Испытали могущество власти?

– Ах, к черту ее!

– Будет? Сыты?

– Свыше головы. Какая гадость!

– Я рад слышать это. Но не было ли у вас... Нет, не теперь, не теперь... Теперь вы во сне... А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде... Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?

Цвет прояснел и сказал твердо:

– Конечно же, было... Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке...

– Исполнено, – сказал Тоффель серьезно.

– Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решетке?..

– Без всяких чудес. Так хотите?

– Очень.

– Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово.

Цвет сказал с расстановкой:

– Афро-Аместигон.

– Вот и все, – кивнул головой Тоффель. – А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким... не обижайтесь, мой милый... с таким... как бы это сказать вежливее... простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова – носитель несомненной, сверхъестественной удачи.

Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курительни Китая, цветущая и нежная Япония – все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами... Вы не захотели этого... а теперь уже поздно...

Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидаясь мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея...

Цвет нахмурился.

– Оставим это... – сказал он тихо, но настойчиво.

Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову.

– Слушаю, – произнес он покорно. – Но дальше, дальше... Вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить... Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя. Я тогда следил

за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим.

– Да, да, – прошептал Цвет. – Вы угадали.

– Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, – а их великое множество, и в числе их таинственный радий – лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии – ваше великое счастье, мой милый друг.

Но у нас, – продолжал Тоффель, – осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня.

Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягко-табачного цвета.

– Я повинуюсь, – сказал Цвет.

– И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге «Звезду Соломона». Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий... Ну вот, хоть так... Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота.

– Не диктуйте, я знаю, я помню, – перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу.

– Верно, – сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказа и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни.

– Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся *то слово*, которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое?

– Нет.

– Значит, только кокарду?

– Только.

– Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. – Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. – Вы весь – прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом – «только» – вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь?

– Немного трушу, но... говорите.

Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету.

– Когда загорится, скажите формулу.

– Однако подождите, – остановил его Цвет. – А это... новое заклинание... Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно.

– Нет, – твердо ответил Тоффель. – Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.

«Звезда Соломона» вспыхнула. «Афро-Аместигон», – прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин.

Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать – все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и яснея, выступали венчики – зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор.

И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался.

Цвет босиком отворил дверь.

В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:

Коллежский регистратор,
Чуть-чуть не император.
Слава, слава.

С кокардою фуражка,
Портфель, а в нем бумажка.
Слава, слава.

Жаловонье получает,
Бумаги пербеливает.
Слава, слава.

Листовку пьет запоем,
Страдает геморроем.
Слава, слава.

И о числе двадцатом
Поет он благим матом.
Слава, слава!..

А Володька Жуков махал, проходясь вприпляску, номером «Правительственного вестника», в котором было четко напечатано о том, что канц. служ. Цвет Иван производится в коллежские регистраторы.

Бутилович же сказал голосом, подобным рыканию перепившегося и осипшего от рева тигра:

– Ergo⁴⁴, с тебя литки. Выпивон и закусон. А за нами следом вся гоп-компания с отцом протодьяконом Картагеновым во главе.

– Исполнено, – ответил с радостью Цвет. – Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка...

И все.

XII

Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом.

Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столике несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет вся оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Лидочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу.

Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветковский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком – шестиугольной «Звездой Соломона». Чертежи были сделаны кое-как – небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал – это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?» – подумал он.

Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волею неволей должен был вспрыгнуть свой первый чин и великолепную фуражку с зеркалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера S, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлой ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман, Цвет не мог этого представить.

Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. «Точно нарочно для меня, – сказал он. – Первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Среброструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу.

Среди этих поисков Среброструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладошкой по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета.

– Отроче Иоанне! – воскликнул он. – А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, «утопал в вольтеровском кресле», а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы... Скажи на милость – какая ерундистика привидится? А?

Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил:

⁴⁴ Следовательно (лат.).

– Да... бывает...

Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под влиянием своего сна, Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны.

Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.

В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-морьяк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову.

– Извините, – сказал офицер. – Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам.

– Слушаю, – сказал Цвет.

Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.

Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства:

– Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице.

– Ваше имя Варвара Николаевна? – спросил робко Цвет.

– Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?

– Нет. Иваном.

– Но я вас видела, видела... Не на железной ли дороге? На станции?

– Да. Там стояли рядом два поезда... Окно в окно...

– Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь на воротнике и вдоль отворотов шелками...

– Это верно, – радостно согласился Цвет. – И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами.

– Как странно, как странно, – произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз.

– И – помните – у меня в руках был букет сирени?

– Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно.

– Да, да, да! – воскликнула она с восторгом. – А наутро...

– Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой... И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать... собственный Локтева...

Она тихонько покачала головой.

– Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе... Как все это необыкновенно... С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля... Погодите... его фамилия...

– Тоффель!

– Нет, нет. Не то... Что-то звучное... вроде Эрио или Онтарио... не вспомню... И потом мы простились на вокзале.

– Да, – сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. – Я до сих пор помню пожатие вашей руки.

Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже выделялись печаль и разочарование.

– Но вы не тот, – сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. – Это был сон... Необыкновенный, таинственный сон... чудесный... непостижимый...

– Сон, – ответил, как эхо, Цвет.

Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку.

– Прощайте, – сказала она спокойно. – Больше не увидимся. Извините за беспокойство. – И прибавила невыразимым тоном искренней печали: – А как жаль!..

И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, – это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятым. Но это – только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека.

Сашка и Яшка

Про прошлое

I

Ника – известная непоседа. Ника – егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты шестисот метров.

– И даже совсем, ни капельки не страшно, – говорит она, – а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паровозы, деревья – как игрушки для самых маленьких детей.

Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец – известный инструктор; его специальность – тяжелые боевые аппараты. С огромного «Фармана» № 30 он сбрасывал бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте.

Другой брат, Александр (Ника его зовет просто и непочтительно – Сашкой), – военноморской летчик. Он перегнал отца по службе и, в шутку, подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и Георгиевский офицерский крест.

Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника шурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

– Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек... Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку. Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

– Пожалуйста, Ника, пожалуйста.

Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого.

Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она – ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках.

По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях.

II

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении.

Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие, черные копошащиеся фигуры людей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась.

Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее: еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда, после напрасных поисков, гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом.

III

Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла...

Он вынырнул спиной к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, – теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу:

– Господи! Как ужасно!

Потом он несколько раз взывал в пустое безбрежное пространство:

– Помогите! Помогите!

Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра?

Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности, вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение.

Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше: как его вытаскивали из воды в катер, как довели до берега, как делали первую перевязку и как везли восемьдесят верст до Аренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном.

Смутно он помнил, что где-то какой-то врач, при свете лампы, обстригал ему ножницами обнаженные, торчавшие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее...»

Из Аренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу, в Петербург.

– Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом, – рассказывает Ника. – Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме: «Вот, прочти. Нога сломана в двух местах. Оторвана ступня... Надо ехать в Ревель».

Они поехали втроем.

Из игрушек Нике позволили взять с собою только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно: обезьянку, мохнатую, плюшевую, с премилой выразительной мордочкой.

– Может быть, она немного развлечет Сашу, – сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем.

IV

Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница – все это истомило и обессилило его.

– Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец, – тонким жалобным голоском говорит Ника, – а губы были белые-пребелые.

Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам мичман, прошептав еле слышно:

– Неужели мне больше не летать?..

Подумать только: он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества. Нет, точно каменная плита, угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы!

Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни.

– Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил. А потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится,

все болит, а он сидит со мною рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек».

Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.

Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции – больной был чересчур слаб. Но стойкая, живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться.

Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа – родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома:

«Подпоручик Георгий Прокофьев упал; перелом обеих ног».

И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать зараз к двум больным.

– Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу, – говорит Ника. – А Сашка ничего – точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив «Маргариты».

А Прокофьев о ноге не тужит,
С деревяшкой родине послужит...

А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка. Преважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.

V

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры (а вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить родине с деревяшкой или не сможет? Оказалось, смог.

Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл ввысь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к гаргроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову вбок и назад. «Знай наших!»

С той поры Никин Сашка и храбрая обезьяна Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладанку, в которую зашит псалом девяностый «Живый в помощи вышняго».

У капитана Казакова, сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая-чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами, вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов.

Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой: и как амулетом и как памятью о козегозе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике. Он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием.

Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около двух часов. Один из четырех сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому «Альба-

тросу» и, приблизившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета.

Мичман ясно видел (и никогда этого зрелища потом не забыл), как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, «заело», и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накренился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью, багровое лицо, бешено затряс над головою огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство. И вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыряясь, вниз, с высоты двух тысяч метров, и упал в море.

VI

Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненный в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных, около тридцати. На его счастье, ни одна пуля и ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки.

Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие. А Ника говорит с гордостью:

– Мой Сашка и мой Яшка, оба получили по Георгию. У Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди. Так и в приказе было напечатано.

– Полно, Ника. Неужели в приказе?

– Ну, я не знаю наверное. Но, во всяком случае, оба имеют по Георгию. Впрочем, поглядите сами...

Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смотрит открытое, худощавое лицо двадцатидвухлетнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке. И тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерия, растарашенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке.

– Правда твоя, Ника, правда. Прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забинтована. А также и руки. И когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно–оранжевой ленточкой?

Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще два германских аэроплана в Моонзундском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали Церельские укрепления четырнадцатидюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то церельские артиллеристы взмолились:

– Оставайтесь, пожалуйста, лейтенант. Он без вас совсем нас заклюет.

Прокофьев ответил:

– Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снесите по радио.

Они снесли и получили такой ответ:

«Лейтенант может остаться, но это зависит только от его желания».

Он остался, и оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких семидесятипудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, в котором был контужен.

Германцы хорошо его знали. Их пленники летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слышали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш.

Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Десять-двенадцать лет прошло от того времени, а кажется – сто или двести. Кажется, никогда этого и не было: ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни... Был сон... Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю...

Пегие лошади Апокриф

Николай-угодник был родом грек из Мир Ликийских. Но грешная, добрая, немудреная Русь так освоила его прекрасный и кроткий образ, что стал извека Никола милостивый ее любимым святителем и ходатаем. Придав его душевному лицу свои собственные уютные черты, она сложила о нем множество легенд, чудесных в их наивном простосердечии. Вот – одна.

Ходил, ходил однажды батюшка Николай-угодник по всей русской земле, по городам, по деревням, сквозь леса дремучие, через болота непролазные, путями окольными, дорожками просельными, в дождь и снег, в холод и зной... Всегда у нас ему много дела: умягчить сердце жестокого правителя, обличить судью неправедного, построить жадного не в меру торговца, вызволить из сырой тюрьмы невинно заключенного, испросить помилование приговоренному к напрасной смерти, подать помощь утопающему, ободрить отчаянного, утешить вдову, пристроить сироту к добрым людям...

Народ наш – темный народ, слабый, неученый. Весь он грехом оброс, как старый придорожный камень грязью и мхом. Куда ему обратиться в тяжелой беде, в болезни, в прискорбный покаянный час, когда глаза сквозь стены видят? К Господу – далеко и страшно. Заступницу Небесную можно ли тревожить мужицкой коростою? Другие святители и преподобные – каждый по своей части. Некогда им. А Никола – он свой, небрезгливый, простой, скоропоспешный и для всех доступный. Недаром к нему не только православные прибегают с просьбишками, но и всякие другие народы: и мордва, и зыряне, и вотяки, и черемисы-идолопоклонники. Даже татары – и те его чтут. Воры и конокрады – на что уж люди отпеты, а и те осмеливаются ему досаждать краткой молитвой.

Так-то вот ходил и ходил угодник Николай по древней широкой Руси... Только вдруг является к нему небесный вестник.

– Забрался ты, святитель, в такую трущобину, что сыскать тебя мудрено, и все свои церковные дела ты запустил. А между тем беда идет неминуемая. Восстал на православие злой Арий-Великанище. Книги святоотческие наземь мечет. Хулит святые таинства. Похваляется громко, что в неделю православия стану-де я, Арий-Великанище, посреди Никитского собора и при всем народе истинную веру навеки ниспровергну... Поспеши же, батюшка Никола, на выручку. На тебя одного надежда.

– Поеду, – молвил святитель.

– Да не медли, родной. Времени совсем чуть-чуть осталось, а путь, сам знаешь, какой долгий.

– Сегодня же поеду. Сейчас. Улетай с миром...

Был у святителя один знакомый стоешник, по имени Василий, человек жизни благочестивой, но по своему делу первый знаток: такого другого протяжного ямщика было не найти. К нему и зашел во двор угодник.

– Облекайся, Василий. Пои коней. Едем.

Не спросил Василий – далеко ли. Знал, что если дело поблизости, то Никола милостивый пешком бы пошел, потому что очень жалел лошадей.

Говорит:

– Слушаю, отец. Посиди в избе. Мигом заложу.

В эту зиму снега лежали страх какие глубоченные, а дороги были еле проезжены. Запряг Василий трех лошадей гусем: впереди – лошаденка махонькая, лядашенькая, от старости вся белая в гречке, но хитрющая и в дороге удивительно памятливая; за ней – ворона, доброезжая,

однако с ленцой – кнут ей вроде овса был надобен, а в оглоблях – доморослая гнедая кобыла, смиренная и старательная, кличкой Машка.

Навалил Василий в сани с отводами ворох соломы, покрыл веретьем, подтыкал с боков и посадил святителя. А сам уселся на облучке, по-ямщицки: одна нога в санях, а другая снаружи, чтобы, значит, на раскатах отпихиваться. Шесть вожжей у него веревочных в руках да два кнута: один – покорооче, за валенок засунут, а другой предлинный, кнутовище на руку вздето, конец далеко за санями бежит, снег вавилонами чертит.

Неказистая троечка у Василия, а другая с ней никакая не сравнится. На двух передовых лошадях хомуты с бубенцами – бубенцы в лад подобраны, – а под дугой у коренника валдайский колоколец качается, малинового звона. Такая музыка, что за пять верст слышно: честные люди едут. Со стороны поглядеть – точно вразвалку лошади бегут, а ни одному знаменитому рысаку за ними впротяжную не угнаться – духу не хватит. Белая лошаденка шею опустила, снег разнюхивает, к снегу приглядывается; где дорога свертку дает, ей и вожжей не надо – сама путь верный учует.

Иной раз задремлет Василий на облучке, но и сквозь дрему одним ухом слушает. Только услышит, что разладились бубенчики с колокольчиком, мигом встрепетается. Если какая лошадь лукавит, постромок не тянет, на других работу валит, он ее сейчас же кнутом опамятует, а какая не в меру усердствует – ту вожжой попридержит, – и опять все в порядке. Бегут лошадки ровно и мерно, как заведенные, только уши назад торчком поставили. И звенят, звенят на дальнем снежном пути бубенчики.

Встречались им порою разбойники. Вылезут из-под моста молодчики придорожные, станут поперек пути заставой:

– Стой, держи коней, ямщик. Кого везешь? Боярина богатого, купца тароватого или попа пузатого?.. Говори: смерти или живота?

А Василий им:

– Разуйте глаза-то, олухи окаянные. Али не видите, кто сидит?

Поглядят разбойнички и в землю повалятся.

– Прости нас, негодяев, святитель Божий. Эка мы, дураки, опростоволосились! Прости, сделай милость.

– Бог простит, – скажет Никола милостивый. – А вы бы, братцы, меньше народ кровянили... Страшный ответ вам придется давать на том свете.

– Ой, грешны, батюшка, свыше головы грешны... А ты все же, милостивец, не забывай и нас, злодеев, в своих молитвах... Мир тебе путем-дорогой.

– И вам мир на стану, разбойнички.

Так вот Василий и вез святителя много дней и ночей. Кормить останавливался у знакомых стоешников: везде у него были дружки и кумовья. Проехали уже Саратовскую губернию, проехали колонистов, подались на хохлов, а за хохлами пошли чужие земли.

А тем временем выходит Арий-Великанище из своего высокого терема, припадает ухом к сырой земле. Слушал долго, поднялся чернее тучи, слуг своих верных кличет:

– Уж вы слуги мои, слуги верные. Учужал я издали, что Никола-чудотворец к нам из России поспешает. А везет его кесемской ямщик Василий. Приедет Николай раньше недели православия – все мы – и вы и я – пропадем пропадом, как тараканы. Делайте, слуги мои, все, что хотите и умеете, а чтобы непременно вы мне святителя на день, на два в дороге задержали. Иначе – всем вам головы отрублю и ни одного не помилую... А кто изловчится и приказ мой исполнит, того осыплю золотом и камнями самоцветными и отдам за него замуж дочь мою единственную, красавицу Ерессию.

Побежали слуги – как на крыльях полетели.

Едет Василий с угодником чужими странами. Народ все пошел диковинный, несуразный, неприветливый. По-русски совсем не хотят говорить. Сами лохматые, черные, а рыла у них скоблены, и глаза исподлобья, как у волка...

Остался путникам всего один переезд. Завтра к обедне будут в Никитском соборе. Остановились на ночлег в селе у какого-то тамошнего стоешника, на выезде. Суровый мужик попался, вовсе неразговорчивый и грубый.

Спросили овса для коней. «Нет овса, весь вышел». – «Ничего, Василий, – говорит Никола, – возьми-ка пустой мешок из-под сиденья да потряси над яслями». Сделал по его приказу Василий, и из мешка полилось золотым потоком тяжелое пшеничное зерно: полны кормушки насыпал.

Спросил поесть. Мужик знаками показывает: «Нет, мол, у меня для вас ничего». – «Ну что же, – говорит святитель, – на нет и суда нет. Хлеб у тебя, Василий, есть?» – «Есть, батюшка, малая краюха, только черствый хлеб-от». – «Ничего. Мы его в воду покрошим и тюрю похлебаем».

Поужинали, помолились и легли. Угодник на лавке. Василий на полу. Заснул Никола тихо, как ребенок. А Василию не спится. Все у него как-то на сердце беспокойно... Среди ночи встал лошадей поглядеть. Пошел в конюшню, а оттуда бегом прибежал, лица на нем нет, весь трясется. Перепугался. Стал будить святителя.

– Отец Николай, встань-ко на минутку, пойдя со мною в конюшню, погляди, какая беда над нами стряслась...

Пошли. Отворили конюшню. А уже на дворе развиднать стало. Смотрит святитель и диву дается. Лежат лошади на земле, все как есть на части порублены: где ноги, где головы, где шеи, где тулова... Взревел Василий. Лошадки уж больно хороши были.

Говорит ему святитель ласково:

– Ничего, ничего, Василий, не ропщи, не убивайся. Этому горю пособить еще можно. Возьми-ка да составь поскорее лошадей, как они живыми были, часть к части.

Послушался Василий. Приставил головы к шеям, а шеи и ноги к туловам. Ждет – что будет.

Сотворил тогда Николай-чудотворец краткую молитву, и вдруг мигом вскочили все три лошади на ноги, здоровые, крепкие, как ни в чем не бывало, гривами трясут, играют, на овес весело гогочут. Бухнулся Василий в ноги святителю.

Еще до зари выехали. Стало дорогою светать. Вдалеке уже крест на Никитской колокольне поблескивает. Только видит Николай-угодник, что Василий на облучке то налево, то направо нагнется, все как будто бы что-то на лошадях разглядывает.

– Ты что это там, Василий?

– Да вот, святой отец, все гляжу... Лошади-то мои как будто в разные масти пошли. То были ровных цветов, а теперь стали пегие, точно телята. Никак я в темноте да впопыхах все их суставы перепутал?.. Неладно это вышло, однако...

А святитель сказал:

– Не заботься и не суетись. Пусть так и будет. А ты, милый, трогай, трогай... Не опоздать бы.

И правда, чуть-чуть не опоздали. Служба в Никитском соборе уже к самой середине подходила. Вышел Арий на амвон. Огромный, как гора, в парчовой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове. Стал перед народом и начал «Верую» навыворот читать.

«Не верую ни в отца, ни в сына, ни в духа святого...» И так все дальше, по порядку. И только что хотел заключить: «Не аминь», – как отворилась дверь с паперти и поспешными шагами входит Николай-угодник...

Только что из саней выскочил, едва армяк дорожный успел скинуть, солома кой-где пристала к волосам, к бороде седенькой и к старенькой рясе... Приблизился святитель быстро к

амвону. Нет, не ударил он Ария-Великана по щеке – это все неправда, – даже не замахнулся, а только поглядел на него гневно. Зашатался Великанище и упал бы, если бы слуги под руки не подхватили. Слов он своих пагубных окончить не успел и только промолвил:

– Выведите меня на чистый воздух. Душно здесь, и под ложечкой у меня плохо.

Вывели его из храма в соборный садик, а тут ему беда приключилась. Присел он около дерева, и треснула его утроба, и вывалились его все внутренности на землю. И помер без покаяния.

А у Василя-ямщика с той поры повелись да повелись пегие лошади. И всем давно стало известно, что у лошадей этой масти – самый долгий дух в беге, а ноги у них точно железные.

Теперь зима. Ночь. Выходили мы на дорогу, смотрели – не видать ли на снегу змеистой борозды от Васильева длинного кнута, слушали – не слышать ли бубенцов с колокольчиками? Нет. Не видать. Не слышать.

Чу! Не слышно ли?

Последние рыцари

Подобно тому, как прирожденный всадник связан неразрывно телом и духом со своей породистой лошадью, идущей на ирландский банкет, – был связан капитан князь Тулубеев со своим эскадронам, своим полком и со всей славной русской кавалерией. Репутация его, как прекрасного всадника и как человека чести, была уже прочно установлена. Еще будучи «зверем» в петербургской кавалерийской школе, он вызвал на дуэль одного из товарищей, остзейского барона, позволившего себе неосторожно сказать, что татарские князья годны только на то, чтобы служить в ресторанах и заниматься шурумбуромом. Дуэль состоялась. Противник Тулубеева был легко ранен в ногу, а сам Тулубеев был в наказание разжалован в солдаты, в пехотный полк.

За два года такой опалы Тулубеев, от нечего делать, отлично подготовился к экзамену для поступления в Академию генерального штаба и, после помилования, безукоризненно выдержал его. У него хватило терпения блестяще окончить оба академических курса, ибо по натуре своей был он человеком, не любившим больше всего недоделанных дел, но, получивши почетный диплом, он тотчас же запросился назад, в свой возлюбленный Липецкий драгунский полк. Напрасно милый генерал Леер, тогдашний начальник академии, всеми силами старался убедить Тулубеева не оставлять работы и службы в генеральном штабе, обещав ему высокую карьеру. Тулубеев сердечно благодарил добрейшего генерала, но отвечал постоянно:

– Клянюсь вам земно, ваше превосходительство, и всегда буду помнить вашу науку, но что же я могу поделать с собою, если меня, как в родной дом, тянет в мой Липецкий драгунский полк с его амарантовым ментиком и коричневыми чикчирами. Вот запоют господа офицеры «Журавля» и как дойдут до нашего полка:

Кто в атаке злы, как гунны?
Это – липецки драгуны, —

так сердце и затрепещет. Кажется, если бы умел, то заплакал бы.

Явившись в полк, Тулубеев первым долгом доложил начальству о том, что он отнюдь не намерен пользоваться той привилегией молодых академиков, которая давала им право на внеочередное получение следующего чина, в ущерб всем обер-офицерам. Такие великодушные отказы бывали необыкновенной диковинностью в армии (если они вообще когда-нибудь бывали), и господа офицеры с удвоенным удовольствием оценили великодушную справедливость Тулубеева, не позволившего себе сесть на спины товарищей, и почтили его в собрании разлитым банкетом, на котором он не без юмора говорил об академии и о причинах своего ухода из нее.

– Что за черт! – говорил он. – Молодые люди тренируют себя, чтобы быть водителями планетарных армий, и ни один не умеет сесть на лошадь. Сидят на ней, как живая собака на заборе, при каждом удобном случае хватаются за луку и закапывают редьку в землю. Я их стыдил: «Как, мол, полководцу не уметь обращаться с лошадью?» А они цинично возражают: «В будущих войнах не останется места ни бутафорским эффектам, ни поэзии, ни роскошным батальным картинам, ни блистательному героизму легендарных белых генералов на белых конях, ни головокружительным военным карьерам, переворачивающим целые государства вверх ногами. Тайна победы будет принадлежать изобретателям – химикам, физикам и биологам, а выигрывать войну будут полководцы с холодным расчетом и железными нервами и с той деловой спокойной жестокостью, которая не пощадит женщин и детей и не оставит побежденному даже глаз, чтобы оплакивать свое горе». И дальше говорили эти доморощенные Аттилы: «Ну-ка, подумайте хорошенько и скажите по совести: какую роль вы отведете самой

отважной кавалерии в такой войне, когда эскадрилья бомбоносов способна будет в течение одной ночи разрушить в прах такой город, как Берлин или Лондон; когда разведка и командование обеспечены будут беспроволочным телеграфом; когда дивизии и корпуса будут перебрасываться на сотни верст с бешеной скоростью в колоссальных автомобилях; когда победители перестанут брать в плен сдавшихся; когда безмерные неприятельские зоны будут сплошь заражены чумой, холерой, столбняком, сапом и другими заразительными болезнями, бактерии которых годами, в ожидании войны, возвращали и расплажили искусные бактериологи враждебного государства. Куда же при таких сверхчеловеческих условиях вы денете самую прекрасную, самую безумно отважную кавалерию?»

Дальше говорил корнет Тулубеев:

– Эти кабинетные колонновожатые, будущие русские Мольтке, любили щегольнуть фразой, говорящей о беспредельной суровости власти и о безграничности кровавых военных мер, способствующих достижению успеха. Чаще всего они цитировали замечательное изречение великого французского генерала Бюжо: «Страшно подумать о том, на что можно отважиться на войне». Оттого-то в их современную науку побеждать входили страшные железные формулы и термины: «бросить в огонь дивизию», «заткнуть дефиле корпусом», «вялое наступление такой-то армии оживить своими же пулеметами» и так далее. Очень много говорили о психологии масс, но совсем забывали психологию русского солдата, его несравненные боевые качества, его признательность за хорошее обращение, его чуткую способность к инициативе, его изумительное терпение, его милость к побежденным.

Тулубеев нередко в разговорах с академиками заводил речь о кавалерийских рейдах, об этом сухопутном корсарстве, которое требует максимальной быстроты передвижения, неустанной отваги, железного здоровья, волчьей наблюдательности и братской связи между начальниками и подчиненными. Но вопросом о рейдах кавалерийских частей никто в академии не интересовался – ни профессора, ни слушатели. В библиотеке была книга генерала Сухомлинова «Рейд Стюарта», и Тулубеев добросовестно принудил себя прочитать ее до конца и только на последней строчке убедился в том, что даже нарочно, даже назло невозможно было бы написать на такую живую и увлекательную тему такую жалкую, бледную, скучную, ничтожную книжонку. Генерал Леер, начальник академии, человек образованный, умный, обаятельный, довел до сведения Тулубеева, что лучше всего изучать рейд Стюарта можно по знаменитой книге «Война Севера с Югом», напечатанной в Америке. «Книга эта, – говорил с почтением Леер, – одна из самых крупных по размеру книг во всем мире, и в продаже ее нет, но, заручившись вескими рекомендациями, а следовательно, и доверием в Вашингтоне, можно, пожалуй, получить разрешение прочитать ее в библиотеке Белого дома». Тулубеев поблагодарил сердечно добродушного генерала, решил про себя при первых же больших деньгах поехать в Америку. Но деньги как-то сами не приходили, рассчитывать на долгий служебный отпуск после двухлетней академии было невозможно. Бравый драгун вздохнул с облегчением и вернулся навсегда назад, в свой родной и славный Липецкий драгунский полк, и зажил в нем прежней жизнью, спокойной, привычной и милой.

С прежним увлечением и с прежней точностью нес он свою службу, которая для настоящего кавалериста никогда не бывает ни скучной, ни тяжелой; но мысли о партизанской войне, о молниеносных налетах на тыл противника и об уничтожении его путей сообщения никогда не оставляли его. Состоя в обер-офицерском чине, он как бы по рукам и по ногам был связан догмами и уставами, железной традицией и непререкаемой волей прямого начальства. Но, получивши, наконец, в свое командование эскадрон, он сразу почувствовал себя легким и свободным. Принимая эскадрон, он громко и отчетливо сказал выстроенным солдатам:

– Когда Господь Бог создал весь мир и нашел его зело добрым, то вдруг почувствовал, что чего-то в его творении не хватает. Подумал, подумал, потом взял в свои ладони воздух, велел ему сжаться и вдунул в него свое могучее дыхание. Так произошла лошадь, и потому всадник

должен относиться к ней с любовью и уважением, беречь ее, холить и ласкать и разговаривать с нею, как с родным человеком. Так же почитай и всадника. Всадника можно убить за ослушание, но бить его нельзя даже в шутку и никогда нельзя гадко говорить о его матери. Я сказал.

Этой немножко странной речи Тулубеев никогда больше не повторял, но она глубоко проникла в сердца. Из эскадрона быстро выветрились даже невинные подзатыльники. А затем Тулубеев немедленно принялся за постепенную тренировку своих всадников-друзей к воображаемому рейду. Он незаметно втягивал лошадей в неутомительные дальние пробеги, учил солдат тому, как надо ориентироваться по компасу, по солнцу, по мху на деревьях, по ветру. Вскоре все его всадники уже умели делать маршрутные съемки и вычерчивать ясные, отчетливые кроки.

Все эти уроки не переступали за границы устава о кавалерийской службе, но Тулубеев самовольно расширял казенные мерки. Он учил своих всадников переплывать с лошадьми через неглубокие реки, накидывать аркан на лошадь или на всадника, крепить морские узлы, подражать крику птиц для условных сигналов и т. п.

Тулубеев задолго предвидел дьявольскую войну с Германией и предчувствовал ее неслыханные, невообразимые планетарные размеры. Военная суровая дисциплина не терпит зловещих пророчеств, особенно исходящих из уст военнослужащих. Тулубеев после горькой японской войны не сомневался в близости другой, страшной и неизбежной войны, но молчал и лишь усердно обучал молодых унтер-офицеров немецкому языку и германской психологии.

Сараевское убийство пришлось как раз в тот день, когда Тулубеев в чине полковника принимал под свое начальство славный Липецкий драгунский полк.

Ему было тогда тридцать шесть лет – для природного кавалериста возраст зрелости и полного расцвета. Он был строен и мужественно красив. Жениться он никогда не собирался, твердо убежденный в том, что люди стремительных профессий – моряки, летчики и всадники – не должны обзаводиться семейным грузом. А жену и детей ему заменял полк, с которым он связался телом и душой. И родной полк отвечал ему благодарной взаимностью, читая в его глазах приказание и упрек, негодование и ласку; и когда его блистающие глаза говорили: «Ну, дети! Теперь идем на верную смерть!» – глаза офицеров и солдат весело отвечали: «Рады стараться!»

Театр войны сразу же перенесся в Россию. Тулубееву с дивизией пришлось перебраться на запад. Там он впервые услышал о неудачах ренненкамповского рейда. Он знал Ренненкампа лично, знал его безумную решимость, его пламенную храбрость, его гордое презрение к смерти, его тевтонское упорство.

Тулубеев понял причину, по которой сорвался рейд Ренненкампа. Его не поддержали вовремя и его полет затормозили те же штабные карьеристы, от которых он сам, Тулубеев, ушел в молодости. Но у Тулубеева неожиданно нашелся отважный друг, мощный покровитель и единомышленник в лице генерала Л., командовавшего знаменитой окраинной армией.

Это был тот самый Л., который однажды изумил весь военный Петербург своей независимостью и самостоятельностью. Он начал службу в одном из блестящих гвардейских полков, где вскоре обратил на себя внимание начальства отличным знанием военной науки, распорядительностью, находчивостью, представительностью и замечательным умением обращаться с солдатами. В тридцать два года он был уже в чине полковника и носил флигель-адъютантские эполеты. Но эта счастливая и завидная карьера внезапно оборвалась благодаря нелепому и глупому случаю. К роте полковника Л. был причислен младшим офицером один из юных князей, уже успевший прославиться в Питере кутежами, долгами, скандалами, дерзостью и красотой. Этот неудачный отпрыск великого дома уже не раз выслушивал от Л. сухие, корректные замечания и спокойные предупреждения, но всегда отвечал на них презрительными гримасами и шутовскими улыбками. Но однажды полковника взорвало. Князенок в это несчастное утро опоздал на строевой плац на целых три минуты. Он выходил из своей коляски тогда, когда

вся рота уже стояла выровненной, как по ниточке, с ружьями у ноги. На устах молодого князя играла беззаботная, проказливая улыбка. Л. вспыхнул от гнева и во всю мочь своего здорового голоса скомандовал роте:

– Смирно, господа офицеры!

Это была уничижительная военная ирония. Так командуют только при появлении старшего начальника. Князю следовало бы тотчас же приложить руку к козырьку и громко сказать: «Виноват, господин полковник». Но он явился на ротное учение прямо с оглушительного кутежа, затянувшегося до утра, и в голове у него еще бродил дурашливый непокорный хмель. Он нагло подбоченился и хриплым, петушиным голосом скомандовал:

– Вольно!

У Л. запрыгала нижняя губа и лицо побледнело.

– Долой с плаца, – приказал он громко. – Немедленно идите домой и ложитесь!

– С кем прикажете, господин полковник? – вдруг, как в бреду, спросил князь, теряя рассудок.

У Л. глаза налились кровью.

– Господин адъютант, – приказал он. – Немедленно сопроводите его высочество к командиру полка и доложите его превосходительству о зазорном, позорном и непотребном поведении его высочества во время исполнения служебных обязанностей и в присутствии всей роты.

Этот скандал не дошел до ушей посторонней публики. Офицеры дали слово хранить о нем вечное молчание и сдержали его; солдаты же в офицерские дела никогда не вмешивались. Молодой князенок оказался, в сущности, совестливым и добрым малым: он принес сердечное извинение полковнику Л. Он был переведен в другой полк и чем-то наказан высочайшими родителями. Полковнику Л. досталось крепче. Как-никак, а он все-таки грубо и неделикатно оборвал отпрыска императорской фамилии. Его отчислили от гвардии, лишили флигель-адъютанства и перевели с тем же чином в окраинную армию.

Японская война опять выдвинула его вперед и наверх. Он был в этой несчастной войне одним из тех, крайне немногих генералов, которые сохранили в сердцах и душах своих великие воинские доблести и заветы, начертанные когда-то Петром Великим, Суворовым и Скобелевым, вместе с наукою побеждать. И именно генералу Л. принадлежало горькое и злое изречение о неудачах японской войны. «Не было никакой желтой опасности, – сказал он, – а была всего лишь одна – красная опасность: едва обыкновенный человек надевал красные генеральские лампасы, как немедленно же глупел, терял память, соображение, умение обращаться с человеческой речью и обращался в надменного истукана».

Когда началась великая война, и началась при дурных ауспичиях, генерал Л. был вызван со своей окраинной армией на северо-западный фронт театра военных действий.

Удивительна была необыкновенная быстрота, с которой совершилась мобилизация в окраинных губерниях; но еще более поразила старых знатоков военного дела и молодых генштабистов прямо чудесная скорость в переброске окраинной армии через пространство во всю длину России.

Тулубеев сам наблюдал в царстве Польском, как разгружались из железнодорожных вагонов первые эшелоны окраинских полков. Еще не дожидаясь окончательной остановки поезда, солдаты, как груши из мешка, валились на перрон и мгновенно выстраивались с примкнутыми штыками, с заряженными ружьями. И что за люди! Молодец к молодцу. Рослые, здоровые, веселые, ловкие, самоуверенные, белозубые...

Пехотные солдаты-михрютки, глядя на них не без зависти, добродушно спрашивали:

– Откуда вы, такие сытые да ядреные?

И те, по-северному окая, весело отвечали:

– Да мы уж, однако, такого изделия генерала Л. Мы... А ну-ка, андола⁴⁵, показывай, где тут у вас дорога к немцам. Вот мы с генералом Л. пропишем им ужотко кузькину мать!

И потом Тулубееву много раз приходилось слышать из солдатских уст имя этого генерала, произносимое с непоколебимой верой и с корявым, суровым обожанием. Несут на носилках еле живого, исковерканного разрывом бомбы солдата, и он коснеющим языком, слабым шепотом едва выговаривает: «Отца-то нашего, генерала Л., поберегите...»

Свидетельствуют в госпитале поправляющихся солдат, чтобы отобрать тех, которые еще годятся быть снова посланными на театр военных действий. Как и всегда в этих случаях, порядочное число солдат невольно старается избежать вторичной отправки в окопы и на колючую проволоку, под пулеметный огонь, и потому охает, жалуется, симулирует болезнь, немочь, слабосилие. Приходит очередь низенького, коренастого, скуластого солдата, глаза которого играют лукавой насмешкой.

– Снимай рубаху, – приказывает старший врач, готовый выслушать, выстукать и помять солдата.

– А на кой ляд? Эх, господин дохтур, брось ты эту хреновину. Я по своей собственной воле пойду немца догрызать. Я – генерала Л.!

Тулубеева крайне интересовало, и удивляло, и поражало то обаяние генерала Л., которое как бы обволакивало всю его армию. Он пробовал расспрашивать об этом крайних солдат и офицеров, но получал сведения, недостаточно ясные и вовсе не поэтические.

– Строг наш генерал, дюже строг, – говорили солдаты, – но только без орания глупого, без злобы и без злопамятности. Взгреет виноватого до белого каления и баста, квиты, гуляй на здоровье, Сенька. Но и справедлив же, вроде царя Соломона. За своего солдата, даже за самого лядашенького, любому голову оторвет. А главное – прост очень. Когда говорит с солдатами, так, ей-богу, говорит по-русски. Все до последнего словца понятно, до самой малой чуточечки. И не мелочен: никогда не обидится, если его на «ты» солдат назовет: «Ты, мол, не беспокойся, ваше превосходительство, – все честь честью будет сделано».

Вскоре Тулубееву пришлось лично познакомиться с генералом Л. При вступлении новой армии на театр военных действий началась перетасовка корпусов. Тот корпус, где служил Тулубеев, а следовательно, и славный Липецкий драгунский полк поступили в командование генерала Л.

Тот день, когда Тулубеев вместе со своим полком представлялся новому командующему армией, был для него самым серьезным и счастливым в его жизни. Широкогрудые, медведеватые солдаты окраинной армии недаром говорили о генерале Л., что он на сажень сквозь землю видит. Молодой кавалерийский полковник и суровый генерал от инфантерии, командующий армией, которого истинные патриоты и настоящие воины мечтали увидеть в роли главнокомандующего, с первых минут знакомства почувствовали симпатию и доверие друг к другу. «Этот Тулубеев молодец, умница и не ведает страха, – подумал Л., оглядывая пронизательным взором с ног до головы полковника, – и у Липецкого полка прекрасная репутация. Им можно при надобности поручить самое рискованное, самое отчаянное дело, и они всегда сумеют вывернуться благополучно и задачу исполнить». А полковник мысленно сказал себе: «Вот он, тот начальник, которого искала душа моя».

Потом генерал закурил папиросу, предложил курить и Тулубееву и спросил:

– Есть в ваших жилах татарская кровь?

– Точно так, ваше превосходительство. Мы давнишние татарские князья, родом из Касимова. Мой дед первый перешел из магометанства в христианство и женился на русской.

Л. покачал головой:

⁴⁵ Дружки. (Прим. автора.)

– Отличный народ татары; все они честны, верны слову, опрятны, смелы, прекрасные, прирожденные всадники и первоклассные воины. А до чего проста магометанская вера. Как она удобна, практична, не обременительна и как возвышает человека. Эх, дал маху великий князь Владимир, Красное Солнышко, когда изо всех религий не остановился на магометанской! Сделай он так – и мы бы теперь... Впрочем, бросим это. Нет на свете худших занятий, чем быкать и перекобыльствовать. Не хотите ли еще папиросу?

А о мечте Тулубеева, о большом рейде поднял однажды разговор с Тулубеевым командующий армией генерал Л.

Однажды в ставку генерала Л. были собраны некоторые начальники отдельных частей. В том числе был и полковник Тулубеев. Но внезапно заседание было прервано шумом, грохотом и людским галдением, раздавшимся со двора. Все офицеры вышли из комнаты.

Оказалось, что окраинские казаки привели пленных венгерцев, а отнятое у них оружие привезли на тачанках. Изумительно было то, что вся казачья покатывалась от хохота. Смеялись и все солдаты, наполнявшие двор. Пленные тоже улыбались сконфуженно и смущенно. И странно было смотреть на то, как эти ярко расцветченные воины, все, как один, неуклюже держались за животы.

– Что это там за водевиль? – нахмурился, спросил сердитый генерал.

Вышел из толпы казачий урядник и стал неловко переминаться с ноги на ногу.

– А, это ты, Копылов? – узнал генерал Л. – Ну, телись, телись, в чем дело?

– Так что, ваше высокопревосходительство, ты приказал на Зеленой горке пикеты расставить, то мы и сделали оцепление с надлежащим тылом. Однако заметили на рассвете, что немцы на нашу сторону на брюхах ползут. Тут мы его потихоньку окружили и разом на него надели. Человек восемь положили на месте, а другие, однако, побросали ружья и руки вверх подняли. Просят, значит, пощады. Ну, я, конечно, сказал им на знаках, что, мол, идите за передовыми, а мы будем вас охранять сзади и с боков. Пошли. Идем. А только начало меня сомнение брать. Немцев-то, думаю, человек до тридцати будет, а нас всего четырнадцать. Да тут еще слышу: пленники-то наши начали между собою говорить: «Дыр, дыр, дыр, быр, быр, быр». Очевидно, собираются, мои голубчики, разом стрекача дать. Ну, это уж, думаю, свинство будет. Забрал все их ружья на проезжавшую тачанку, а станичникам сказал: «Ну-ка, ребята, сейчас же отрежьте все пуговицы, какие есть у немцев на штанах. Все, какие есть на штанах и на подштанниках». Ну, станичники мигом это оборудовали, и тут уж немцы сразу бежать отдумали. Да и как побежишь, когда обеими руками надо портки изо всех сил поддерживать? Вот они, все немцы, в полной сохранности. По дороге встретили мы нашего сотника. Он говорит: «Идите с пленными до командующего, пусть на ваше изобретение полюбуется». Так что простите, пожалуйста, ваше превосходительство, что я немцев огорчил и обесславил.

Но генерал Л. и не думал гневаться. Наоборот, он взял Копылова за затылок, притянул к себе и поцеловал в лоб.

– Спасибо, станичник, – сказал он. – Благодарю тебя за смекалку и находчивость. Представлю тебя к чину хорунжего и к ордену Святой Анны. Подождем большого боя – нацеплю тебе на грудь Георгия.

В этот день генерал Л. пригласил Тулубеева к вечернему чаю. Уже стало смеркаться, и отдаленная канонада затихала. Л., долго молчавший до этой поры, вдруг медленно, точно с укоризной, покачал головой и сказал:

– Вот видели мы с вами нынче казака Копылова. Хорош? Не правда ли?

– На что лучше, ваше высокопревосходительство.

– Да вы оставьте этот хвостатый титул хоть на время простой дружеской беседы. Помилуйте, целых одиннадцать слогов! Стоя уснешь, пока их выговоришь. Есть у меня имя, данное мне при святом крещении, да еще отчество в память моего батюшки, человека совсем незнатного, но честного, правдивого и к тому же разумного патриота. Вот по ним меня и зовите. А

о Копылове я потому говорил, что очень много о нем нынче думал, и не о нем одном, а обо всей русской армии и обо всем православном русском народе. Копылов, он и ловок, и догадлив, и находчив. Но ведь он – казак, а все казаки по природе – урванцы и ухорезы, к тому же прочные вольные собственники и прирожденные наездники. Но долгий опыт и внимательное наблюдение привели меня к твердому убеждению в том, что из корявой и гунявой массы мужиков-хлеборобов можно вырастить и воспитать армию, какой никогда не было и никогда не будет в мире. И это придет! Однако не скоро... Ни я, ни вы, ни наши правнуки до этого торжества России не доживем. Теперь же – что поделаешь? – будем заштопывать дыры, наделанные правящим классом и подхалимством теоретиков.

А теперь несколько слов о вашем, так страстно мечтаемом рейде. Да, мысль соблазнительная, героическая и при удаче дающая великолепные результаты. Вы думаете, я не бредил рейдом? Да еще как! С самого начала войны я настаивал на том, чтобы перенести ее в Германию, сделав, таким образом, наше положение из оборонительного наступательным и взяв, таким образом, инициативу боев в свои руки, как это делали великие русские победители в прошедшие века. В драке побеждает тот, кто первый оглушил противника сильным ударом. Это – закон. Я уже готовился броситься в отчаянный рейд со всей моей окраинной армией. У меня была нехватка в кавалерийском составе, но я посадил бы верхом на крестьянских лошадях моих непобедимых пехотинцев. Аллах акбар, как говорят мусульманские воины. Пускай бы все мы погибли до единого, но до той поры мы навели бы ужас на всю Германию своей дьявольской дерзостью и беспощадностью. А вести о наших победах стали бы чудесным допингом для русской армии и для русского народа... Но ведь вы понимаете, Тулубеев, какую огромной, безграничной властью должен обладать начальник такой сверхчеловеческой экспедиции и какую абсолютную веру должен питать к нему самый ничтожный солдатишка. Но, увы, друг мой, героические планы и вдохновенные бои отошли в область преданий. Теперь масса давит массу, теперь шпионаж и телефон решают исход сражения. Мой рейд, прекрасно обдуманый и точно подготовленный, был вдребезги скомкан и разбит великими стратегами генерального штаба, заседающими в Петрограде и никогда не видавшими войны даже издали. Они, видите ли, закаркали, как вороны: «Будет! Достаточно! Видели мы рейд генерала Ренненкампа! Довольно нам этих доморощенных рейдов некомпетентных храбрецов...» Я еще в японскую войну громко настаивал на том, что нельзя руководить боями, сидя за тысячу верст в кабинете; что нелепо посылать на самые ответственные посты, по протекции, старых генералов, у которых песок сыпется и нет никакого военного опыта; что присутствие на войне особ императорской фамилии и самого государя ни к чему доброму не поведет. Я говорил еще, что победу, трофеи и триумф мы радостно повергнем к стопам обожаемого монарха и его высочайшей семьи, но всю черную работу дайте нам, серым солдатам... Руки у нас мозолистые, и умирать мы – мастера... Так ведь нет же! Яман, как говорят татары.

Помолчав немного, генерал Л. сказал глухим голосом:

– А главное-то ваше горе, славный кавалерист Тулубеев, заключается в том, что при нынешнем ходе войны рейд уже становится невозможным и невыполнимым. Я скажу даже больше: всего через месяц, через два кавалерия начнет быстро уходить, исчезать, обращаться в пепел и в прекрасное героическое рыцарское воспоминание. Нет для нее ни размаха, ни места, ни задач. Подлая теперь пошла война, а в будущем станет и еще подлее.

Уже теперь пропал пафос войны, пропала ее поэзия и прелесть, и никогда уже не родится поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил ее Пушкин в своей «Полтаве». Мы с вами, Тулубеев, последние рыцари.

И генерал Л. был пророчески прав. Вскоре кавалерия стала не нужна и совсем бесполезна. Самые блестящие кавалеристы переходили в пехотные армейские полки и дрались в их рядах мужественно и самоотверженно, погибая, как скромные, послушные герои. В одном из этих полков погиб и Тулубеев, смертельно раненный в блиндаже при разрыве тяжелой бомбы.

Он умирал в страшных мучениях. Полковой скромный попик едва успел его пособорвать, последние, едва слышные слова его были: «Батюшка, помолитесь за Россию и за славного генерала Л.».

Царский писарь

I

Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» – шесть, когда монументальный постовой городской был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всеобщей в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником.

Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулочка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая «Старой Баварией», к которой бесплатно подавалось пять-шесть крошечных блюдец с заедками: пряничками, моченым горохом, сметками, строганой воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячей колбасы. А гордостью заведения были «свежие раки», варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли и потому требовавшие к себе великого пива.

Кузьма Ефимыч был там постоянным, ежедневным посетителем лет, должно быть, уже более тридцати и хотя за пьянство не пользовался особым почетом, но если, случалось, он не приходил в свое обычное время, четверть первого, то и толстый лысый хозяин в кожаных нарукавниках и расторопные любимовцы-услужающие чувствовали некоторое беспокойство: нет-нет, а заглянут мимоходом в окно и скажут, точно про себя:

– А нашего Кузьму Ефимыча что-то не видать...

И все они с каким-то облегчением, немножко покровительственно, немножко насмешливо улыбались, когда в дверях появлялся этот худой, жилистый старикан, с важной, мелкой и неторопливой походкой, с высокомерно поднятой головой, сизым носом лепешкой и с трясущимися до первой рюмки руками.

У Кузьмы Ефимыча было в пивной свое любимое, насиженное годами местечко, справа от окна, напротив стойки. На стене, на уровне его головы, через месяц после того, как меняли обои, уже обозначалось темное сальное овальное пятно от трения влево и вправо его седого затылка. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком.

У него была своего рода прочная известность. Приходила иногда в пивную какая-нибудь старушонка в допотопном шелковом салопе на лисьем меху и спрашивала хозяина:

– А где у вас здесь, батюшка, царский писарь?

Ей молчаливо указывали рукой на Кузьму Ефимыча. Она подсаживалась и говорила о своих вдовьих нуждишках. Для верности руки на столе появлялась сороковка. Мальчишка отряжался в писчебумажный магазин за особой царской бумагой. «Ты смотри, Митя, там скажешь, чтобы дали не директорской бумаги и не министерской, а именно царской. Для меня, скажи, для Кузьмы Ефимыча». – «Не беспокойтесь, знаю, Кузьма Ефимыч. Не в первый раз». И бережно приносил бристолевый лист в обертке, не помяв его и не согнув, а также и новое

перо № 86. Тут уже никто в пивной не смеялся. Все понимали, что дело идет серьезное. А пригубившая винца почтенная женщина заранее слезилась.

– Ты, матка, не утопай в подробностях, – говорил Кузьма Ефимыч, оседывая нос черепаховыми очками. – Дело требует ясности и простоты. Писать прошение на высочайшее имя – это тебе не роман сочинять. Ну, так ты говоришь, что вдова зверовщика?

– Да, отец мой, вот, вот, зверовщика, зверовщика.

– Говоришь, загрыз его медведь?

– Загрыз, батюшка, загрыз. Но медведь-то здесь без внимания. Одно только слово, что зверь был, а проще теленка. Четыре года за ним покойник мой ходил. Совсем почти что ручной. Мы сами-то егеря гатчинские, при царской охоте, значит, состоим, так кого угодно спросите, хоть господина начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть самого корытничего Баранова, который при медалях. Вам каждый мои слова заудостоверит. А только какой-то охаверник возьми и страви зверю бутылку винища. Правда, муж недоглядел. Как пошел к нему в яму, он его припер в дверях и не пропускает. Ну, а он...

– Короче, вдова. О чем просишь?

– Да вот, хоть бы пенсиюшку бы превеличили. Дорого теперь все стало. Курочек я держу, так овес по рублю пуд. Подумайте! Да и это не суть важно. А вот чтобы детишек на казенный счет воспитать. Нельзя ли это как-нибудь?

– Мм... Сыновья? дочери?

– Внуки, батюшка, внуки. Две девочки и мальчонка. Старшей-то девочке...

– Внуки. Так. А ну, матушка, помолчи малость. Стало быть, Завертяева Анна Архиповна? вдова зверовщика? жительствоешь...

– Так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствоваю.

– Улица? номер дома?

– Пиши: Гатчино, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, номер девяносто четыре, как раз против лавки купца Трескунова.

– Про лавку лишнее. Довольно. Теперь засохни на минуту. Не скворчи.

И он писал своим круглым военным писарским почерком, точно печатал, незыблемый текст прошения.

«Ваше императорское величество, всепресветлейший державнейший великий государь и самодержец всероссийский, просит вдова зверовщика гатчинской охоты Сергия Михеева Завертяева, Анна Архиповна Завертяева, к сему:

Припадая к отеческим стопам твоим, обожаемый монарх, и омывая оные вдовьими слезами, всеверноподданнейше прошу...» – и так далее.

Через четверть часа бумага бывала готова, и трудно было поверить, что человеческой рукой, а не машиной вырисованы эти ровные, твердые, чистые, как подобранные жемчужины, буквы и строки. Вдова доставала носовой платок, развязывала узелок и почтительно подавала Кузьме Ефимычу сложенную в шестьдесят четыре раза рублевку. Бумага, перо и конверт были тоже на ее счет.

– Так ты говоришь, Кузьма Ефимыч, что верное мое дело? – спрашивала старуха, тревожимая последним беспокойством.

Кузьма Ефимыч не отвечал, потому что занят был заказыванием порции любимых сосисок с хреном. За него уверенно говорил хозяин из-за своего прилавка, на котором он лежал локтями, брюхом и грудью:

– Будьте, бабушка, без сомнения. Кузьма Ефимыч как стрельнет, так в самую центру, без промаха. Воистину золотым пером человек обладает. Шутка ли сказать – царский писарь. Если бы не эта самая ихняя слабость...

– Ты там помолчи в тряпочку, – перебивал Кузьма Ефимыч, поднимая на него суровый взгляд своих прищуренных и опухших глаз. – Знай свою стойку, русский американец из Яро-

славской губернии. А ты, вдова, ступай себе с богом. В канцелярии у швейцара узнаешь, кому надо сунуть. И ему дашь полтинник. И нечего тебе, почтенной женщине, по пивным размножаться. Гряди, вдовица, с миром.

Да, в нем было довольно-таки много чувства собственного достоинства – в этом живом свидетеле николаевских времен, похожем на те обломки старины, которым мох, зелень и разрушение придают такой значительный вид. На людей толпы он глядел свысока, точно поверх их голов, как часто глядят на новое поколение старые знаменитости, ушедшие на покой от шума и соблазнов, но еще сохранившие их в памяти сердца.

II

Людьми пожилыми, даже не отличающимися особенно тонкой наблюдательностью, давно уже замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу. Несомненно, что главная причина этого явления – уторопленность жизни, которая не течет, как прежде, ровной ленивой рекой, а стремится водопадом, увлекаемая телеграфом, телефоном, поездами-экспрессами, автомобилями и аэропланами, подхлываемая газетами, удесяттеренная в своей поспешности всеобщей нервностью.

В литературе стал редкостью большой роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повестушку. Четырехактная комедия разбилась на четыре миниатюры. Кинематограф в какие-нибудь два часа покажет вам войну, охоту на тигров, скачки в Дерби, ловлю трески, кровавую трагедию и уморительный до слез водевиль, а также виды Калькутты и Шпицбергена, бурю в Атлантическом океане, Альпы и Ниагару.

Устный рассказ сократился до анекдота в двадцать слов. Но, главное, совершенно пропало умение и желание слушать. Исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше переживал в душе все извивы и настроения рассказа, который отражал невольно на своем лице всю мимику рассказчика и с наивной верой воплощался в каждое действующее лицо. Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает, стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить:

– Подождите, это что! А вот со мной какой случай случился...

Про самого себя я скажу без похвальбы – да тут и хвастовство-то самое невинное, – про себя скажу, что я обладаю в значительной степени этим даром слушать с толком, с увлечением и со вкусом или, вернее, не утратил его еще со времен детства. Может быть, именно оттого-то несловоохотливый и по-своему гордый Кузьма Ефимыч изредка расшевеливался в беседе со мною и даже снисходил до эпического монолога.

Случалось это в зимние вечера, так часов около трех-четырёх. Обыкновенно в этот пустой деловой промежуток в пивной совсем не бывало посетителей, и хозяин, из экономии, еще не приказывал зажигать ламп. Но зато топились печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь впережку, красные пятна от огня и длинные быстрые тени. Иногда из темноты выделялись – то короткая седая борода Кузьмы Ефимыча, похожая на розовую пену, то его блестящий прищуренный глаз, с дрожащим заревом в зрачке, то рука с пивной кружкой. Бывало уютно, праздно, мечтательно-тихо.

– Вот вы удивляетесь моему почерку, что я так его сохранил до моих мафусаиловых лет, – говорил Кузьма Ефимыч неторопливым, сипловатым баском. – Но удивительного ничего. Привычка. Возьмите вы к примеру, скажем, столяра-краснодеревца, хотя бы самого старшего-престарого. У него какие материалы под руками? Пемза, замша, наждачная шкурка, политура, лак, столярный клей. Средства все грязные, грубые, и руки у него от работы скрюченные, корявые, черные, в мозолях. А сдаст он заказ без малейшей фальши, без пятнышка. В стол красного дерева можно, как в зеркало, глядеться. Никакому белоручке так чисто не разделить. И если

он выпьет малую толику, то сие не только не во вред, а как бы для поднятия духа. Так вот и мы, старинные писаря. Особливо царские.

Мы, молодой человек, когда учились-то? С кантонистов еще при блаженной памяти государе Николае Павловиче. Тогда, брат, учение было не нынешнему чета. Тогда тебя не особенно спрашивали, к какому ты мастерству, миленький мой, склонен, а прямо определяли пророчески, по физиогномии наружности. Этому играть в оркестре на турецком барабане, этому быть чертежником, тому петь в церковном хоре басом, другому служить фельдшером, а третьему быть писарем. И вышколивали. Семь шкур с человека спустят, а доведут до совершенства точки.

Тогда во всем господствовало однообразие и равнение направо. Все равнялось: люди, лошади, будки, абвахты, студенты, фонари и улицы. Все чтобы было в линию и двух цветов – желтого и черного – императорских. Слышали, наверно, рассказ? Делал однажды смотр Николай Павлович лейб-гвардии сводной роте, назначенной в почетный караул к германскому королю. Человек к человеку были подобраны. Все трынчики, ухорезы. Так вот подошел государь к правому флангу, пригнулся чуть-чуть и смотрит вдоль фронта. А уж, сами понимаете, каков строй: ружье в ружье, кивер в кивер, нос в нос. Усы у всех ваксой с салом начернены, сбоку поглядеть – одна черная полоса во всю длину. Посмотрел, посмотрел государь минуты с три, но потом выпрямился и изволил глубоко вздохнуть. Тут рядом, позади, находился приближенный генерал Бенкендорф, так осмелился спросить: «Дышут, ваше императорское величество?» А государь ему с прискорбием: «Дышут, подлецы!» Вот какие, голубчик мой, истуканные времена были.

То же и в нашем писарском искусстве. Учили нас всех писать единообразно, почерком крупным, ясным, чистым, круглым и весьма разборчивым, без всяких нажимов, хвостов и завитушек. Он и назывался особо: военно-писарское рондо, – чай, видели в старинных бумагах? Красота, чистота, порядок. Полковая колонна, а не страница.

Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь... – а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «щ» хвостик завинтишь на манер поросячьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учнет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.

Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, – может быть, слышали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность.

Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть, я хочу сказать, до чрезвычайности чувствительный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество, должно быть, писарь как-нибудь не уберется». – «Какой такой писарь?» – «Сидоров, ваше императорское величество». – «Внушить Сидорову, чтобы вперед был осмотрительнее. А почерк у него, каналы, хорош, даром что нюхальщик».

В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался... Но все равно и так погиб... Запил мой учитель с этого часа, подобно змию... До лютости. С утра до

вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился.

И вот через полгода – новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отличный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан. Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?»

Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал... так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было, как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведу!» А зеленая улица – это значило сквозь строй. До смерти забивали.

Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря...» Так и сказать изволил: моего писаря. «Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: „Моему писарю“.

Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреевича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую преподнес.

Однако недолго Сидоров на государев дар порадовался. Первое – не мог он от своего виновкушения отрешиться, а второе – сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».

Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных щелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня веселятся они напропалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару – так, больше из модного шикю, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчится, как молния! Прямо, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.

Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз и от испуга головой под одеяло. И умирать буду – не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».

Да-с. Вот внучка у меня есть – Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так *что* она мне говорит, если бы вы, молодой человек, послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца, душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова?

Я молчу. Умом знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с умилением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце.

III

Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее:

– Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на родину, а прочие исчезли где-то в неизвестности.

Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками. Но одно дело – каллиграфия, а другое – военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высокой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.

В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый ваш Шаляпин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его кокарде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалованье он получает шестнадцать целковых в месяц с копейками, а я шутя сто и полтора ста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я – свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».

Но и надо сказать: того, что мы могли сделать, того уже не повторят ни теперешнее поколение, ни будущее. Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени, чем-то вроде последних кавказских черкесов. Конечно, в своей области. Хотите, я вам сейчас расскажу случай, первый, который мне подвернулся на язык?

Если вы днем поглядите вот в это окно, то как раз напротив, через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым, здание. В нем помещается министерство, а в министерстве был когда-то экзекутором Николай Константинович. Прежде служили подолгу. Министры – и те лет по пятнадцати оставались на посту. А Николай Константинович, я полагаю, чуть ли не с самого дня постройки этого здания пребывал в нем экзекутором.

Тогда он был в своей должности замечательный, тончайший знаток дел и душ человеческих, но и величайший во всем свете ругатель. Его одного мы, царские писаря, боялись. Не брезговал он иной раз и от руки сделать внушение. Но нашей буйной братией он все-таки дорожил, знал нам цену и, когда надо, прятал нас за свою широкую спину и выгораживал из разных житейских невзгод и злоключений, коим и числа не было. И как он нашу работу понимал досконально! Бывало, поднесет бумагу плашмя на глаз к свету, точно прицелится из нее, и сразу все видит, где ножичком подчищено, где лаком притерто. И тотчас за вихор дернет или бумагой в лицо швырнет. «Переписать! – крикнет. – В другой раз за порчу царской бумаги штрафовать буду. У меня чтобы без помарок, без подчисток, без лаку и без сандараку!»

Когда приходилась в одном из нас какая-нибудь казенная надобность и одного писаря не оказывалось внизу, в швейцарской, то уж было известно, что следует только послать курьера в эту самую полпивную, где мы с вами сидим. Тут мы постоянно и заседали, занимаясь частной клиентурой. Но бывали случаи, когда мы требовались в значительном количестве, и тогда уж мы сами рыскали по всему городу в погоне друг за другом. И вытаскивали товарищей из самых злых мест.

Так-то однажды, часа в два пополудни, Николай Константинович и издал устный приказ: «Собрать царских писарей елико возможно больше, хоть всех, кто еще держится на ногах, и привести их немедленно в министерство. Работа срочная и очень важная. Придется, вероятно, просидеть всю ночь. Плата тройная против обычая, не считая того, что за спешку и за аккуратность пожалуют директор и министр. И чтобы немедленно».

Чиновники уже уходили со службы, когда мы явились впятером к Николаю Константиновичу и все сравнительно в добром порядке, и за старшего у нас Гаврюшка Пантелеев, знаменитый мастер распределять на глазомер материал. Осмотрел нас экзекутор взглядом острым и испытующим и пожевал губами.

– Маловато вас, братцы.

А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы:

– Немного нас, но мы – славяне!

Знаю я, говорит, тебя, славянин, как ты в жениной кацавейке по Александровскому рынку бегал. Ну, однако, за дело, ребята. Каждая секунда дорога. К семи часам утра поспеть надо во что бы то ни стало. Случилось так, что государю угодно было весьма заинтересоваться одним вопросом по школьному делу, и он при министре выразил желание как можно скорее иметь подробную записку. А министр, по рассеянности, или по забывчивости, или просто так у него с языка от усердия соскочило, возьми и ляпни, что, дескать, доклад уже готов. Тогда государь сказал: «Вот и прекрасно, вы всегда, граф, предупреждаете мои мысли. Пришлите мне эту бумагу завтра пораньше. Я еду на два дня в Петергоф и там на досуге ее прочитаю и сделаю свои пометки». А о записке этой ни один человек в министерстве ни сном, ни духом.

Граф, когда узнал, за волосы схватился. «Если не хотите моей и вашей гибели, то чтобы к завтраму непременно доклад был готов. Хоть чудо совершите, хоть надорвитесь и ослепните, но записка должна быть составлена!» Ну, мы, конечно, обещали ему хоть в лепешку расширяться, но его не подвести. «Теперь наверху Филипп Филиппович с Благовещенским да юрисконсульт с правителем в четыре руки катают. Через полчаса, пожалуй, окончат. И, значит, тогда, ребяташки, вся остановка за вами. Уж вы, братцы, не выдайте, а я вас, проходимцев, как и всегда, своими заботами не оставлю. Ведь я за вас, подлецов, перед директором слово дал».

Гаврюшка опять высунулся.

– Мы для вас, Николай Константинович, готовы свой живот положить. Но, не в обиду вам будь сказано, вы уж соблаговолите нам одну четвертную бутылку пожертвовать.

– Ведь облопаетесь, черти вы этикие?

– Будьте покойны. Мы свою меру знаем. Разве мы не понимаем, за какое строгое дело беремся?

– Ну ладно, – говорит, – хорошо, будь по-вашему. Только уж отсюда я вас больше не выпущу – и обижайтесь или не обижайтесь, – а я вас всех сейчас обезножу и обезглавлю.

И крикнул дежурному курьеру:

– Эй, Толкачев! Возьми-ка у царских писарей сапоги, шапки и собольи ихние шубы и спрячь под замок, а ключ мне передай. Водки же я вам сейчас пришло.

А Гаврюшка опять:

– По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть. А все– таки прикажите нам и закусочки принести.

– Это дело. Чего же вам?

– Да так... Хлебца черного, ломтиками нарезанного, да соли покрупнее... четверговой. А если другая закуска, то, неровен час, пятно сделаешь на докладе.

– Молодчина, Пантелеев. Тебе бы, по твоей дальновидности, частным приставом быть.

А тем временем, пока мы так любезно промеж себя рассуждали, принесли нам и черно-вики. Гаврюшка, наш главный закройщик, примерил на глаз и даже при самом Николае Константиновиче свистнул. Оказалось, по его расчету, с полями страниц полтора нашего обычного почерка рондо, по тридцать страниц на брата. Тридцать страниц – пустяки, можно их и в три часа наворксать, но ведь не на высочайшее же имя! Тут на страницу клади двадцать минут, а то и двадцать пять! Это выйдет десять часов такой работы, без отъема. Жутковато нам стало. Но, однако, мы свое знамя высоко держали и от такого подвига не отступили. «Часам к девяти, говорим, пожалуй, управимся».

– Братцы, нельзя ли, черти еловые, пораньше?

– Постараемся, Николай Константинович. Вы сами николаевский служака и помните, как в наше время говорили: невозможного нет. А теперь извольте идти и больше нам не мешайте.

– Иду, иду, – говорит, – только вы уж, пожалуйста, олухи мои возлюбленные, без помарок, без подчисток, без лаку, без сандараку.

Мы смеемся:

– Да у нас с собою и принадлежностей для этого нет.

– Ну и прекрасно. Эх, запер бы я и вас самих на ключ в этой комнате, как запер вашу одежду, да, чай, вы тоже люди живые. Однако без сапог далеко не уйдете.

Мы опять смеемся:

– Всяко бывает. Однако до приятного свидания, Николай Константинович. И раньше восьми с половиной просим нас не беспокоить.

Ушел он. Сейчас Гаврюшка нам черновик разметил, кому откуда куда описывать. Изумительный он имел талант на это дело. Так в письме я был и бойчее и сноровистее его, а вот насчет разметки, – право, не мог никогда постичь, какая это у него пружина в мозгу действует. И вот засели мы за работу вплотную.

Тишина была, как в церкви ночью. Только перья скрипят; нет-нет кто-нибудь бумагой зашелестит... Сальные свечи потрескивают... Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду – буль-буль-буль-буль-буль... Стаканчик звякнет... Хлоп! И опять все тихо... Что вы думаете? Раньше восьми окончили. Николай Константинович, как было уговорено, заглянул к нам в половине девятого и ужаснулся. Видит, все мы пятеро спим, склонив буйные головы на стол, а на столе перед нами не одна четверть, а две, и обе пустые. Это Гаврюшка Пантелеев среди ночи, босиком, без пальтишка и без шапки, к Пяти углам за второй посудиною стрельнул. А дело было зимою, и на улицах, по случаю мороза, костры горели.

Однако взял Николай Константинович аккуратно сложенную стопку переписанных листов, поглядел ее и так и на свет своим многоопытным взглядом и, не говоря ни слова, вышел на цыпочках, и дверь тихонько притворил, и приказал нас не будить. А в канцелярии он показывал нашу работу чиновникам и говорил со слезами на глазах:

– Вам, прекрасные молодые люди, с этакой работой и вдесятером не управиться, хоть бы вы из кожи вылезли. Оттого что у них в деле душа, а у вас только ум, да и тот цыплячий...

Кузьма Ефимыч опять надолго замолкает. Потом произносит медленно и печально:

– Рассказывал я об этом случае Глашеньке, моей внучке. Ничего она не поняла. Даже рассердилась на меня. Говорит: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолюбие». Так и сказала...

У него дрожит при этих словах голос, и мне кажется, что я в темноте вижу, как от обиды трясется его нижняя губа. Но уже поздно. Я слышу, как хозяин чешет пятерней под фартуком

свой живот. Затем он длинно и вкусно зевает. И, наконец, голосом, еще тусклым от зевоты, говорит:

– А я тут было вздремнул под ваши веселые истории. Пора и свет пускать. Эй, Митюшка, Лаврентий, зажигайте лампы.

Кузьма Ефимыч встает, важно кивает мне головой, не спеша идет к дверям и выходит на улицу. Где он живет – никто не знает, и никто этим не интересуется. А если он перестанет ходить этак с неделю, то в пивной равнодушно скажут:

– А наш-то Кузьма Ефимыч, должно быть, помер...

Волшебный ковер

Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления.

Им и в голову не придет, что когда-то, лет сто или двести тому назад, над этими почтенными древностями трудились целыми годами, с любовью и терпением, прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ.

Попробуйте только, взгляните внимательно в эти наивные памятники старины: в резные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку; крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости; пузатенькие шкафчики, разделанные черепахой и перламутром, с выдвижной подставкой для писания и со множеством ящичков, простых и секретных; прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко; резные и чеканные табакерки, еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки; первобытные, красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши которых жалобно дребезжат под пальцем; книги прошлых веков в толстых тисненых золотом переплетах из сафьяна, из телячьей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почтительно, и они расскажут вам такие чудейные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет, каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их.

Да, кроме того, разве все мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные, замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они так-таки совсем навсегда ушли, исчезли из человеческой жизни? Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки-самолеты, семимильные сапоги, шапки-невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почему знать, может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплюснутая и позеленевшая лампа Аладдина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, – это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль? Три года тому назад вы потеряли старенький, истертый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда – что греха таить – ревели часа два подряд. Почему знать – сумеет ли вы в то время, хотя бы нечаянно, свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой?

Не подумайте, однако, что я хочу угощать вас сказками; вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, но тем не менее она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров.

Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его, французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну хорошее образование, что, впрочем, и не было трудно, так как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и

пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плывал с неумолимостью индейца, ловко управлял парусом, ездил верхом, как гаучо, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам, над пропастями, в туманной глубине которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запуске самых разнообразных воздушных змеев; в этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз, и когда они, полупрозрачные, блестящие, едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из руки мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью.

Так он и рос, привольно и беспечно, закаляя ежедневно свое гибкое тело всевозможными упражнениями, обогащая ум и взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ремеслу, кроме пускания змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которая нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь.

Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патио (внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную) находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в патио и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицый, с мокрой блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый рассказ и с этой секунды бесповоротно пленил впечатлительную душу юного бразильянца.

Профессор изъездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки, живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботокудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями Огненной Земли.

Ученые специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот ученейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко и – главное – в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий: он не искал ни метких слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной.

Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.

Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живо-

сти, а Дюмон– младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в остро-занимательные формы. Большой частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы кусочек не то камня, не то изделия из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой – разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками – зеленой и красной. Протягивая эту вещьцу мальчику, он спросил:

– Определите, мой молодой друг, что это такое?

– Это? – спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. – Я думаю... камень? Штукатурка? Раскрашенная извешка?

– А происхождение?

– Н-не знаю... Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?

– Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов... Имя его...

За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь Древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку – ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.

Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер; завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья – старый и юный – сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света пылавшей зари, другая – голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсиновых деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упросить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагу и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой земле, бродячие разбойничьи племена... нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши...

Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением:

– Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и откуда?

– Право, я не знаю, – ответил равнодушно мальчик. – Кажется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь.

– Но обратите внимание, – возразил восторженно профессор, – он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету.

Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор свех очков водрузил на нос золотое пенсне.

– Расположение цветов, окраска и орнамент, несомненно, индийского стиля, – говорил он, низко склоняясь над ковром. – Это замечательно старый и, несомненно, редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь еще имеется что-то вроде марки или нет... Это скорее именной знак... а может быть... Подождите-ка... Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой... Посох? Жезл? Скипетр?.. Еще ниже буквы... Представьте себе, арабские буквы!

– Неужели арабские? – спросил, оживляясь, мальчик.

– Несомненно, арабские... Странно... На кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи. На персидском – да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочитать ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски – тар или тара, что в переводе значит – лечу, лететь... Изумительный ковер... поразительный!.. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста... нет, даже четыреста, даже пятьсот... Восхитительная вещь!

На это мальчик сказал с легким поклоном:

– Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я pošлю его вам домой в Европу.

– Нет, нет, этого совсем не нужно! – вскричал профессор. И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом. – Очень, очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это тот самый волшебный, летающий ковер из «Тысячи и одной ночи», на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подозрительной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте – ковер-самолет! Тара! Лечу!

– Ну вот... сказки... вы шутите, – протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.

Профессор сразу сделался серьезным.

– Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, – сказал он торжественно. – Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо... – Он шумно вздохнул. – А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер? Или арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..

Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни – детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкогоголого ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно.

Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались апельсиновые деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными оранжевыми шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.

Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полоску рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы.

Но вот что однажды случилось.

Мальчик, по своему обыкновению, сидел на ковре, поджав ноги. Указательным пальцем он машинально обводил прихотливый узор арабских букв и, слегка покачиваясь взад и вперед, напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову:

Маленький мой коврик,
Волшебный старый ковер,
Таинственный, могучий ковер,
Создание страшного джинна,
Тара-тара-тар.
Ах, лети, лети, мой ковер,
Тара-тара-тар.
Высоко к небу, над облаками,
Высоко над землей.
Тара-тара-тар.
Пусть орел машет крыльями,
Пусть расстелется ковер по воздуху,
Рукоятку мне будет жезл;
Подниму ее – полечу кверху,
Опущу – полечу книзу,
Наклонюсь направо – полечу вправо,
Наклонюсь налево – полечу влево,
Тара-тара-тар.
Люди внизу маленькие,
Как муравьи.
Дома внизу маленькие,
Как игрушки,
А я один в воздухе,
Тара-тар.
Лечу на волшебном ковре,
Тара-тара-тар.

И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло, дрогнув, стало опускаться вниз, между тем как левое подымалось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси, сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще, и еще, и еще, и завертелась бесцветным жужжащим дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, растаяли стены комнаты, веселый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому, пламенеющему небу.

Мгновение, другое – и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял неподвижно в воздухе, а внизу навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности; они проскальзывали далеко внизу, под ковром, и торопливо убегали назад, назад. Ветер бил

прямо в глаза. Монотонно жужжала вертящаяся птица. Легок и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед – и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него; движение назад – и все впереди застилось поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево; направо – направо. И все это несложное управление покорной птицей было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде.

Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые, полосатые заплаты огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала, в извилистых очертаниях берегов, плоская желтая, голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки – парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синело и спокойной стеной подымалось кверху море, упираясь в легкое, ясное розово-синее небо.

«Туда! К горам!» – сказал про себя Дюмон.

Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов. Можно было наконец различить верхушки деревьев.

«Выше! Еще выше!» – говорил мальчик, отдаваясь упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным лётom взмыл выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатою равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Дюмону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы.

Он до тех пор подымался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неопикуемой величавой красоте уходил в беспредельную, необъятную даль.

И скоро никого и ничего не стало, – не стало на всем свете; было только: вверху светлоголубое небо, внизу – черно-синий океан, а посередине – между ними – очарованный, опьяненный буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.

Но... где-то близко залаяла собака... раздалось щелканье бича... загремели отворяемые ворота... лошадь застучала копытами. Мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и, как раньше, трепетали за окном ровным, глянцевитым блеском плотные листья апельсиновых деревьев.

Что с ним было? Спал он или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это – сказка.

– Сказка? – спросят меня. – А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Добрая фея? Самоцветные камни? Счастливая свадьба?

На это я скромно возражу:

– Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет (только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие). И вы убедитесь, что все чудеса самой чудесной из сказок – пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей.

Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов девятнадцатого столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение пятидесяти девяти секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они, в сущности, не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил все-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане «Demoiselle» изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами – башней Эйфеля и собором Парижской Богоматери.

Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть, однако, в этом удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали – все равно, было ли это во сне, в грезах или наяву.

И вот, когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно, к ангарам, то его осенила странная, тревожная, впрочем, очень многим знакомая мысль:

«Но ведь все это было со мною когда-то!.. Давным, давным-давно. Но когда?»

Лимонная корка

Этот смешной и трагический анекдот почерпнут нами из редкой книжки «The Book of eminent Boxers» (изд. W. Stewart, London, 1843⁴⁶), которая ссылается на еще более редкую книгу Пьери Эгона, опирающегося в свою очередь на полуспортивные английские газеты конца XVIII столетия.

Полную фамилию лорда Томаса Б. (трижды пэра Англии, герцога за год до своей смерти в 1802 году) все три источника не оглашают, по вполне понятной причине, которая вскоре будет ясна и читателям; по той же причине и мы не называем целиком его имени. Достаточно будет сказать, что лорд Б. неоднократно встречался с Вильямом Питтом, лорд-канцлером графом Турлоу и казначеем флота Дундасом; был близко знаком с Бурком, Адиссоном и Диком Стилем, четыре вечера подряд обыгрывал в карты Чарльза Фокса и однажды перепил на портвейне и шотландской виски его светлость Вильяма-Генриха герцога Кларенса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. Его величественная фигура и надменное лицо увековечены Рейнольдсом на портрете, хранящемся и поныне в одной частной коллекции в Америке.

Лорд Томас Б. оставил по себе тройную память: как вельможа, очень богатый даже по тому времени, как исключительный скупец и как ярый поклонник боксерского спорта. Последнее влечение иногда перетягивало в нем даже его бережливость, вошедшую в поговорку. Газеты того времени называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров – голландского еврея Самуэля, Крибба, Джека Рандала, Молинэ, «Боевого Петуха», Джона Джексона и других, которым он оказывал свое довольно щедрое покровительство. Надо сказать, что тогда, в эпоху всеобщего увлечения боксом, этот жестокий вид спорта пользовался гораздо большим почетом, чем в наши дряблые времена. Высокородные лорды не стеснялись публично на пристани засучивать рукава и вступать в состязание с каким-нибудь здоровенным лодочником с Темзы или держать сюртук своего фаворита-профессионала в те минуты, когда тот дрался внутри канатного барьера.

Последним из боксеров, кого взял под свою высокую опеку лорд Б., был Сюзливан – кажется, ирландец по происхождению, смелый и стойкий мальчик, замечательный как страшной силой своих ударов в схватках, так и привлекательным характером в частной жизни. Лорд Б. нашел его в очень бедственном положении, больным, полуголодным, на каком-то холодном чердаке, где он медленно оправлялся после своего громкого состязания с Чернокожим Ричмондом в Ньюкестле.

Попечения, которыми лорд Б. окружил Сюзливана, можно было бы назвать поистине отеческими, если бы к ним не примешивался дальновидный расчет, основанный на корысти и тщеславии. Дело в том, что Чернокожий Ричмонд (теперь нам неизвестно, был ли он мулат, креол или квартерон) и Сюзливан были не только двумя самыми сильными боксерами своего времени, но и давними заклятыми врагами. В спортивной публике глухо поговаривали о том, что причиной этой взаимной ненависти служила не так профессиональная ревность, как глубокая обида, нанесенная когда-то чернокожим семье ирландца. Замечательно было то, что в их неоднократных и свирепых встречах обидчик проявлял гораздо больше злобы, чем обиженный, ибо судьям приходилось нередко предотвращать со стороны Ричмонда недозволенные приемы.

Анонимный автор цитируемой нами книжки, склонный, как и все писатели XVIII столетия, к моральным рассуждениям, говорит по этому поводу:

«Как часто бывает, что благодетель привязывается сердцем к благодетельствованному, и как нередко, причинив человеку зло, мы сами начинаем его за это ненавидеть».

⁴⁶ «Книга о знаменитых боксерах», изд. У. Стюарта, Лондон, 1843 г. (англ.).

Разыскать неизвестного боксера с большими задатками, прозреть в нем будущую звезду спорта, обеспечить ему приличное существование, дать необходимый тренинг, а потом выпустить его в свет для блестящей карьеры считалось тогда в высшем английском обществе столь же достойным и похвальным для настоящего джентльмена, как ныне считается шикарным видеть цвета своей конюшни побеждающими на скачках в Дерби и Ипсومه. Не надо также забывать и того, что во время боксерских состязаний заключались между джентльменами очень крупные пари, доходившие иногда до нескольких десятков тысяч фунтов.

Чернокожий Ричмонд и Сюзливан были одинаково известны. Они встречались уже неоднократно и каждый раз жестоко избивали друг друга, но окончательное первенство между ними еще не было установлено ввиду постоянной перемены счастья. Последняя их встреча не дала решительного результата, так как была прервана вмешательством полиции из-за скандала, поднятого публикой. Тогда многие зрители уверяли, что будто бы из боевой перчатки метиса выпала тяжелая монета времен королевы Елизаветы; впрочем, это, по мнению арбитров, доказано не было.

Знаючи, однако, уверяли, что за Ричмондом насчитывалось более шансов на звание чемпиона. Он был значительно выше ростом, чем Сюзливан, тяжелее его (если оба находились в своих лучших формах) на пятнадцать фунтов, обладал длинными руками, отличался, как все дикари, малой чувствительностью к боли и, кроме того, потая, издавал тот отвратительный, специфически негритянский запах, который действует удручающим образом на нервных борцов из белой расы. Словом, теперь понятно, до какой степени общественное внимание было привлечено к обоим боксерам и к лорду Б., взявшему под свое покровительство ирландца.

Сначала Сюзливан вел спокойную и деятельную жизнь в подгородном имении лорда. Трижды в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с небольшим количеством поджаренного хлеба и запивал их пинтой доброго двойного шотландского эля; в промежутках, переварив еду, он тренировался со своими лидерами четверть часа, полчаса и час, а для того, чтобы «открыть дыхание», пробегал ежедневно десять миль вместе со своим бультерьером Фипси; в остальное время он купался или спал.

Его молодое тело быстро восстанавливало здоровье и крепость. А главное, к Сюзливану постепенно возвращались его превосходные душевные качества: воля, уверенность и терпение, чего совсем не было в чернокожем, который был страшен в первых нападениях, но при малейшей неудаче терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым.

Сюзливан отлично учитывал как все преобладающие шансы Ричмонда, так и свои достоинства. Но, к сожалению, их взвешивал не менее точно и сам лорд Б. Дальновидный человек и расчетливый игрок – он хорошо понимал, что его ставки за Сюзливана могут окупить расходы по покровительству и принести значительный барыш только в том случае, если победа Сюзливана явится для прочих игроков полной неожиданностью. Равенство закладов с той и другой стороны уже ввело бы скупого лорда в значительные убытки. А между тем шила в мешке не утаишь, и как ни старался лорд Б. держать в секрете тренинг Сюзливана, – прекрасные шансы этого боксера не сегодня-завтра могли сделаться известны широкой публике.

И вот покровитель начал сначала осторожно, в виде намеков, указаний и дружеских советов, а потом все настойчивее и грубее торопить ирландца к состязанию. Сюзливан однажды позволил себе мягко возразить лорду:

– Подождите еще немного, сэр. Теперь я в состоянии выдержать с негром полтора часа. Дайте мне, сэр, еще несколько дней, и у меня будет достаточный запас сил для того, чтобы в последнем круге (round) раздробить Ричмонду нижнюю челюсть.

Но лорд Б., подстрекаемый своей жадностью, становился с каждым днем нетерпеливее. Однажды он дошел в своей назойливости до такой степени, что дал понять Сюзливану о том, как дорого обходится его содержание. С ирландцами можно производить всякие психологические опыты. Но попрекать их хлебом никогда не следует.

Сюлливан ответил коротко:

– Сэр, я готов.

Вскоре был назначен день матча. За два дня до него оба соперника были допрошены репортерами спортивных газет.

Чернокожий Ричмонд сказал:

– Вы увидите, как я быстро отправлю душу этого ирландца в ее католический рай.

Сюлливан высказался значительно и не без юмора:

– У Ричмонда кулаки в полтора раза больше моих. Следовательно, при одинаковом весе перчаток каждый дюйм его кулака жестче в полтора раза. Но я предпочел бы драться с ним вовсе без перчаток.

Эта шутка, если в ней разобраться, имела характер самого смелого вызова. К стыду тогдашних спортсменов надо сказать, что они иногда допускали бокс и без перчаток, голыми руками, но такие состязания всегда вели к тяжкому калеченью и часто к смерти. Может быть, именно по этой причине Ричмонд настоял в выборе города на мягкосердечном Брайтоне, а не на Мульзее, который имелся в виду раньше и в котором судьи действительно могли разрешить этот жесточайший род бокса.

Щадя нервы читателей, я не буду переводить на русский язык описание всех двадцати четырех раундов (схваток), сделанных боксерами в день их встречи. Любителя сильных ощущений я отсылаю к прекрасному и малоизвестному рассказу Конан-Дойля «Мастер из Крокс-виля». Прочитав его, он до известной степени может представить себе, какое отвратительное и героическое, постыдное и прекрасное занятие – бокс.

Я только отмечу, что раунды были трехминутные, с минутным перерывом между ними. Боксер, упавший на пол и не поднявшийся на ноги в течение одиннадцати секунд, должен считаться побежденным, если только эти одиннадцать секунд не переходили за конец условленного трехминутного срока.

Еще до начала состязания лорд Б. натолкнулся на неприятную неожиданность. Вопреки всем расчетам и вероятностям, вопреки здравому смыслу, игра составлялась не за Чернокожего, а за Сюлливана, в размере пяти против четырех. После первого раунда разности закладов возросли до семи против трех, после четвертого они выразились в цифрах: Сюлливан – девять, Ричмонд – два.

Лорд Б. был немного бледнее обыкновенного, но ничем не обнаруживал своего беспокойства. После пятой схватки он подозвал к себе известного маклера Моисея, отдал ему на ухо какие-то распоряжения и затем с невозмутимым видом продолжал сидеть в первом ряду, у самого каната. Время от времени он отпивал из большой кружки свой любимый пунш из рейнвейна и виски и, вынимая ложкой ломтики лимона, медленно их обсасывал.

После седьмого раунда ставки за Ричмонда неожиданно для всех стали подыматься; к пятнадцатому они даже дошли до *al pari*⁴⁷. Никто не мог объяснить себе причину этого нелепого явления. Все видели, что Чернокожий Ричмонд вышел на состязание пьяным. Если его нападения и были необычайно свирепыми в первых схватках, то с двенадцатого круга он уже заметно начал сдавать⁴⁸. Он весь лоснился, тяжело дышал и однажды споткнулся, но не от удара, а по собственной неловкости. Между тем Сюлливан, который до сих пор только защищался, не переходя в атаку, был свеж, бодр и дышал глубоко и спокойно, как спящий ребенок.

Игра на Ричмонда так же быстро упала, как и подымалась, едва только Сюлливан начал наступление. Давно уже старые поклонники бокса не видали таких молниеносных выпадов, такой быстроты и точности движений, такого чудесного соединения расчета, отваги, гибкости

⁴⁷ Равного положения (*итал.*).

⁴⁸ Автор книги и здесь приводит мудрую сентенцию: вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предаст. (*Прим. автора.*)

и находчивости. От боковых ударов ошеломленный метис шатался между руками Сюлливана, как кулек выбиваемого тряпья; беспощадные прямые удары заставляли его отступать к самому канату, и раза три он уже обращался в бегство вокруг каната, сопровождаемый свистками и ругательствами зрителей.

Все поняли, что Чернокожий Ричмонд кончен. Теперь уже самые слепые и безрассудные игроки отказались от него. Один только маклер Моисей упрямо принимал ставки, предлагая за гинею три шиллинга, потом два и, наконец, даже один. Джентльмены смеялись ему прямо в лицо и записывали свои заклады без всякого увлечения, ради курьеза. Конец матча был ясен всем, до последнего мальчишки, продававшего морс и мятные лепешки.

Когда Ричмонд вышел на двадцать четвертый раунд, на него было жалко и забавно смотреть. Он шатался на ногах, колени у него подгибались, рот был открыт, и черномазое окровавленное лицо стало похожим на идиотскую маску. Только глубокий инстинкт опытного боксера еще держал его в стоячем положении и не давал ему упасть, а большие приемы водки в перерывах будили его угасавшее сознание.

В начале третьей минуты Сюлливан поймал метиса в мышеловку, то есть зажал его голову под свой левый локоть, притиснув ее к боку, а правой стал быстрыми и короткими ударами снизу превращать его глаза, губы, нос и щеки в одну кровавую массу. Ричмонд был весь мокрый от пота. Ему как-то удалось, втянув в себя скользкую шею и упираясь руками в тело противника, вырвать голову из этого живого кольца. Боксеры мгновенно разъединились, но разрыв этот был так силен и внезапен, что Ричмонд с размаху шлепнулся на пол в сидячем положении, а Сюлливан мелкими и частыми шажками понесся назад, спиной к барьеру. Но вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и грузно упал на землю, на правый бок. Несколько раз он делал усилие, чтобы встать, подымал на руках свое туловище и опять со стоном припадал к полу.

– Четыре, пять, шесть... – считал вслух секунды один из судей.

На шестой секунде Ричмонд поднялся и стал среди площадки, покачиваясь и размазывая пот, кровь и пыль по своему страшному лицу.

– ...семь, восемь...

Сюлливан делал судорожные усилия, как раздавленный червяк, но не подымался.

– ...девять!..

– Стоп! – воскликнул второй судья, подняв вверх руку. – Три минуты. Антракт.

Одна секунда спасла Сюлливана от поражения. Его секунданты бросились к нему, желая помочь ему встать на ноги. Но он одним знаком остановил их.

– У меня, кажется, сломана нога, – сказал он. – Это пустяки. Но поглядите на это... вот на это...

Один из секундантов нагнулся и поднял с досок эстрады маленькую, растоптанную боксерским башмаком, скользкую корочку от лимона.

Невольно взгляды всех зрителей обратились к лорду Б., который направлялся к выходу со своим всегдашним надменным и спокойным видом. Маклер Моисей, занятый в дальнем углу залы приемом закладов, сделал было торопливое движение, точно намереваясь подбежать к нему. Но одним движением ресниц лорд Б. приковал его к месту.

Сказка

Глубокая зимняя ночь. Метель. В доме – ни огня. Ветер воет в трубах, сотрясает крышу, ломится в окна. Ближний лес гудит, шатаясь под вьюгой.

Никто не спит. Дети проснулись, но лежат молча, широко раскрывши глаза в темноту. Прислушиваются, вздыхают...

Откуда-то издалека, из тьмы и бури, доносится длинный жалобный крик. Прозвучал и замолк... И еще раз... И еще...

– Точно зовет кто-то, – тревожно шепчет мужчина. Никто ему не отвечает.

– Вот опять... Слышишь?.. Как будто человек...

– Спи, – сурово говорит женщина. – Это ветер.

– Страшно ночью в лесу...

– Это только ветер. Ты разбудишь ребенка...

Но дитя вдруг подымает голову.

– Я слышу, я слышу. Он кричит: «Спасите!»

И правда: яростный ураган стихает на одно мгновение, и тогда совсем ясно, близко, точно под окном, раздастся протяжный, отчаянный вопль:

– Спа-си-те!

– Мама! Может быть, на него напали разбойники?.. Может быть...

– Не болтай глупостей, – сердито прерывает мать. – Это голодный волк воет в лесу. Вот он тебя съест, если не будешь спать.

– Спасите!

– Жалко живую душу, – говорит муж. – Если бы не испортилось мое ружье, я пошел бы...

– Лежи, дурак... Не наше дело...

В темноте шлепают туфли... Старческий кашель... Пришел из соседней комнаты дедушка. Он брюзжит злобно:

– Что вы тут бормочете? Спать не даете никому. Какой такой человек в лесу? Кто в эту погоду по лесам ходит? Все дома сидят. И вы сидите тихо и благодарите Бога, что заборы у нас высокие, запоры на воротах крепкие и во дворе злые собаки... А ты взяла бы лучше к себе дитя да сказкой бы его заняла.

Это голос черствого благоразумия.

Мать переносит в свою постель ребенка, и в тишине звучат слова монотонной, старой успокоительной сказки:

– Много лет тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие, сильные и гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и жизнь их была разумна и спокойна. Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не простая кровь, а голубая-голубая...

– Спа-си-те!

Молчание...

Песик – черный носик

В имении «Загорье», Устюженского уезда, Новгородской губернии, жила знакомая мне помещичья семья Трусовых – славная, бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная русская дворянская семья. Всю жизнь ее можно очертить в двух-трех словах: уютный старый дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно влюбленной молодежи на каникулах. Домашние наливки и соленья, запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантастические вечерние планы: «А вдруг у нас откроются залежи каолина?» или «Говорят, что через нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то мы поправимся...»

Как и полагается, в усадьбе жила пропасть всяких животных – нужных и ненужных, – не считая домашнего скота и птицы, то есть пять довольно сносных гончих, папин сеттер, несколько дворняг без должности и древний, полуслепой, полупараличный, оглохший, но все же яростно-злой Барбос на цепи; кошки кухонные, полудикие; кошки комнатные с ленточками и бантиками на шее; кролики; годовалый скандалист медвежонок; ежи; морские свинки; свирепый и вонючий хорек в клетке; сороки и скворец – будто бы говорящие, хотя никто не слышал их разговора; ручные белки; журавль; белые мыши; отдельный ручной комнатный баловник-поросенок; отдельный козел, мастер бодать прохожих под коленки... и многое другое.

Настоящей же повелительницей этого животного царства, повелительницей мудрой, властной и кроткой, была младшая дочка Рая, тогда девочка лет четырнадцати. Всех своих двуногих и четвероногих подданных она знала по именам, происхождениям и характерам, и все они (кроме хорька) радостно отзывались и стремительно прибегали на ее зов.

Любовь к животным была в ней не болезненной чертой, а истинным, щедрым божьим даром, при помощи которого она делала чудеса.

Так, например, воспитывалась у нее в комнате молодая лиса, взятая из норы еще щенком-сосунком позднею зимою. Очень скоро она приучилась бегать за Раей, как собачонка; охотно по вечерам дремала у нее на коленях, а ночью спала у нее в ногах. Так прошел почти год. К следующей зиме шерсть на лисе из цвета кофе с молоком стала ярко-красной и блестела от хорошего питания и ухода.

Но в середине ноября какие-то таинственные, далекие голоса разбудили в звере вольные инстинкты, и однажды утром лиса убежала.

Следы ее вели по огороду, через прясла и дальше через снежное поле к лесу, находившемуся в версте от усадьбы. Рая никому не позволила преследовать беглянку, но сама вышла в поле, остановилась шагах в ста от околицы и начала звонко кричать тем же голосом, каким и всегда она звала свою лису:

«Лисинька, лись, лись, лись!.. Лисинька, лись!..»

Через час лиса показалась из леса. Она сначала робко, потом отважнее приближалась к Рае, ярко-красная на белом снегу, подошла вплотную и даже взяла из рук кусок вареной говядины. Но погладить себя не далась – прынула, вильнула пушистым хвостом и исчезла так быстро, как умеют только лисы.

Она пришла и на другой день на Раин зов, но больше уже не являлась. Должно быть, ею овладели очарование дикой лесной жизни и прелесть свободы. А может быть, ее загрызли соплеменники за чужой запах, за утраченную звериность?

Я не знаю, не слышал и не верю, чтобы кому-нибудь другому удался такой опыт с годовалой лисой, как Рае. Было в ней какое-то простое обаяние, заставлявшее животных быть доверчивыми к ней и добровольно покорными. Самые злые собаки и самые строптивые лошади успокаивались в ее присутствии. Охотно подчинялись ей и люди. В ней чувствовалось то лучшее, что присуще зверям: правдивость, чистота, смелость и внутренняя зоркость, давно утраченные людьми.

Поэтому неудивительно, что все в усадьбе невольно мирились с ее страстью подбирать повсюду и приносить домой совершенно ненужных животных: увечных, старых собак; брошенных или заблудившихся щенят; слепых котят, отнятых у деревенских мальчишек, собиравшихся их топить; птенцов, выпавших из гнезда; подраненных зайцев и т. д.

Вот так-то она однажды и принесла в подоле юбки грязного, дрожащего двухмесячного щенка, подобранного ею в дорожной канаве в рыхлом снегу. Щенок был Раей обмыт и высушен в нагретом одеяле.

Оказался он престранной наружности: туловище рыжее, мохнатое, хвост гладкий, длинный, белый, уши коричневые, короткие, а вся морда белая, за исключением черного пятна на носу, за что он тут же и был назван «Песик-Черный Носик».

К тому же, несмотря на нежный возраст, он сразу проявил не только чрезмерную прожорливость, но и замечательную злобность.

– Более отвратительной собачонки я не встречал во всю мою жизнь, – сказал Дмитрий Семенович, Раин отец, «Великий Охотник», когда увидел щенка. – Его бы назвать не Черный Носик, а Кабыздох.

Такое же впечатление Черный Носик произвел на всех обитателей «Загорья» и производил на всех гостей. И это, вероятно, и было причиной того, что Рая взяла убудка под свое особенное попечение и сердечное покровительство.

А песик все рос и рос и к году окончательно выровнялся в самого мерзкого из псов, какие когда-либо бегали на четырех ногах, лаяли и портили воздух на обоих полушариях Земли. Казалось, в нем соединились все самые злые и порочные собачьи породы, и каждая отразилась в нем «максимумом» своей склонности к преступлению. У него были желтые, светлые глаза, подлый взгляд исподлобья и во всей морде непередаваемое выражение трусости, наглости и низкого лукавства. Роста он был со среднюю гончую.

Он тайком душил кур и цыплят, воровал и выпивал яйца. Он никогда не мог насытиться и после хорошего, сытного обеда бежал на помойку и рылся в ней головой и лапами. Однажды он забежал в рабочую избу, где в печи кипели щи для работников, всунул морду в котел и, несмотря на ожог, вытащил-таки десятифунтовый кусок мяса с костью. За ним погнались, но он успел скрыться в малиннике и там дожрал говядину. Когда его нашли, он лежал на обглоданной кости и вызывающе рычал.

Он не выносил человеческого взора и потому кусал только за ноги, подкравшись сзади. Он трепал насмерть заморенных кошек и мелких собак. Но при первом грозном рявканье большого пса падал на спину и униженно болтал лапами в воздухе и вилял туловищем.

У него была прегадкая, грязная манера улыбаться, вертя мордой, морща нос и оскаливая зубы. Это бывало тогда, когда он готовился или выпросить что-нибудь, или совершить какую-нибудь подлость. Он никого из людей не любил, даже и Раю, свою благодетельницу, хотя и слушался ее немного, ради будущих подачек. Рая избаловала его тем, что рано позволила ему валяться на диванах и кроватях и спать в комнатах. Когда ему исполнилось два года и от него стало нестерпимо вонять псиной, то решено было заставить его ночевать во дворе. Но он подходил к окнам и так нестерпимо, раздражающе выл, что его впускали. Иногда Раины братья сгоняли его с дивана плеткой. Он рычал, визжал, прятался под диван или забивался в угол, но через пять минут, когда о нем позабывали, опять взлезал на то же место. У него не замечалось никакого оттенка самолюбия. Вообще он был предметом ненависти и презрения всего дома. Достаточно сказать, что к двум годам он не мог приучиться держать себя опрятно в комнатах...

Но всему бывает конец. Конец Песику-Черному Носику пришел в конце июля, когда ему стало около двух с половиной лет. Брат Раи, юнкер Дима, вошел в ее комнату, чтобы взять какую-то книжку с полочки, висевшей над Раиной кроватью. Но на кровати лежал Черный Носик. При виде Димы он мгновенно вскочил на все четыре ноги и яростно зарычал. Дима не

был боязлив, однако вид собаки испугал его. Было что-то зловеще-страшное в ее вздыбленной шерсти, глазах, налитых кровью, в разверстой опененной и как бы дымящейся пасти.

Он захлопнул дверь и побежал жаловаться Рае. Рая в это время вместе с отцом подпирала в саду рогатками тяжелые ветви фруктовых деревьев. Она назвала брата трусишкой, вытерла руки о передник и быстро пошла в дом. Отец и брат в какой-то неясной тревоге побежали за нею.

Дмитрий Семенович немного замешкался. По дороге он забежал в свой кабинет, где у него – «Великого Охотника», убившего в своей жизни более пятидесяти медведей и без числа всякого другого зверья, – все стены были увешаны редким и ценным оружием.

Рая сама открыла дверь. Черный Носик, как и прежде, вскочил с грозным рычанием...

– Песики-Носики, – пролепетала ласково Рая, делая шаг вперед и протягивая к собаке руку. – Черные Носики!..

Собака сделала огромный прыжок с кровати по направлению к девочке. В тот же момент, оглушив Раю и Диму, грянул сзади них выстрел, и пес, не докончив прыжка, перевернулся в воздухе, упал и покатился по полу, корчась в предсмертных судорогах.

Весь день Рая плакала и бранила отца и брата, называя их убийцами. Но к вечеру приехал старый, добрый ветеринар, за которым послали нарочного.

Ветеринар взрезал собачий труп и клятвенно уверил Раю, что пес был бешеный. А Рая ему верила. Они были давнишние друзья.

Рая успокоилась, хотя потом долго вздыхала от пролитых слез.

Однорукий комендант

Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично, вместе с четкою памятью, все свои зубы цвета старых фортепьянных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и, по старинной моде, отпускал бакенбарды – висячие, «штатские», какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры; военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь: на галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность.

Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, простодушно веровал в Бога и в Евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки.

Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения... Жаль – нет у нас привычки записывать по свежей памяти: все нам некогда.

Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть, иными словами, пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом лоншанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим, холодным, круглым оком в окно. «Удивляюсь! Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» «Понимаете ли, – закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, – никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами».

Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны.

– Я тоже, – сказал он, – был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте. Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе: и петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и Белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как все это случилось.

Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве втором, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготовлялось второе. Но подготовлялось наспех. Штаб хотел, чтоб непременно его приурочить к тридцатому августа, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую Плевну на серебряном блюде.

Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время».

А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был Белый генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятелен и свободен на язык.

Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку, решили наудачу, на кривую. Очень бранился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали – я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья – знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию, за какие качества?

Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким...⁴⁹ Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горгалов, давши слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб: «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем», – и ничего: ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему: не могли-де мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все, армейские, хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именованный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжениям, не удастся – Скобелева и вина и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдат из окопов – до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то – меньше четверти. На ногах не стояли...

Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза, страшные, как у сумасшедшего. Не говорил – лаял. Стал за домом умываться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтил и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели, – кричит, – продажные души, губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский – отчаянный он человек был, – подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, – говорит, – ваше превосходительство, люди ведь кругом, смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты». Успокоил.

Да что Скобелев? Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. «Стряпали, мол, именованный пирог из солдатского мяса, да не выпекся».

А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал.

В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно, и это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало кто видел, как он по ночам работал. Вылет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человек, черномазых, усатых, носатых, и он с ними часами по-французски разговаривал. Спал урывками.

⁴⁹ Так перечислял Е. А. Лещик. (Прим. автора.)

Вот тут-то и о петухе. Повалился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет – ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями и метлой гонял, и водой окачивал – никакого, подлец, внимания, – орет. А генерал из себя выходит. И, наконец, не выдержал, лопнуло терпение, решил предать петуха военному суду.

Самый форменный был суд, с дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала и меня с Круковским. Собрались судьи, всё офицеры, ввели петуха, секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор – громы и молнии, вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах и голос трепетал... Потом суд удалился, посоветовался минуточку и вынес постановление. «Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а оный злоумышленный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оногo петуха, к посрамлению противника и к вящему торжеству Всероссийской державы, предать смертной казни через отрезание головы и сварение его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава».

Так и сделали, как порешили. Круковский, по слабости натуры, боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав: с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком-чесноком, с укропом-петрушкой-сельдереем, – не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Клико.

Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу не дешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: у солдат-де популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять: над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты!.. Косо на него тогда начальство глядело.

Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит; пускай иной чужак поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что черту в преисподней страшно становится, – солдат всегда почует, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья Плевна показала всей России, что такое Скобелев!

А для Белого генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не «графа», как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля⁵⁰, а то, что остановились русские войска в виду Константинополя – рукой подать, – но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок, от гнева. И уехал с горя в Хиву.

Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь п.....и к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг – немец и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну вот видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек! Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне!

Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он? Богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что, по воле Бисмарка, поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд, и в час его смерти выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.

⁵⁰ Оставляю на памяти и совести рассказчика. (Прим. автора.)

Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва! Москва ведь!

Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял именьями Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича и господ Богарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой, хозяйственный ум, с помощью которого он прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но – как бы выразиться – без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе, и шутя подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша́», и это не за какую-нибудь там слабость или склонность, а так иногда, бывало, на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали – и на военной службе, и дома, в имении, – так же, как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, а дать «Паше» выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: «А? В чем дело?»

Хороший был человек, солидный, серьезный. Пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру Второму. Царь и спрашивает его: «Так ты, значит, Скобелев? Отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, ваше величество».

Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева первого, Однорукого коменданта, Ивана Никитича, дедушки Белого генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер – все у него было как-то ни на что не похоже: горячо, странно, и трогательно, и жестоко – совсем не по писаному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были! Времена железных людей, орлов, великанов! Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой бильбоке... Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и... кровавые.

Я Однорукого коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся или по крайности пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление – курский соловей, дар от Бога, златоуст во вдовьем темном платье.

Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжелой службе – редкий случай до необычайности.

Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда: вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала.

Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина – бабья доука – его погнала под ранец с выкладкой; должно быть, бывают такие люди, особенно буйные по натуре: везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный с масляного портрета его, не так чтоб очень молодым, а скорее зрелых лет. Огонь!

Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе – жена блудливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее». А впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать.

Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова, при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиною пальца на правой руке. Кроме этого, имел ран и контузий без числа.

Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неуязвимой славой. Весь его полк poleg на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть, с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен! Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден Почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву. И объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе.

А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, – хотя он и вождь неприятельских войск, – есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места.

Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отданием чести.

Главнокомандующий, князь Кутузов, встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил (да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой), а потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли? Отдохнул бы? Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся. «Если я своими культянками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, в Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтит, по справедливости, как первейшего полководца всех веков.

После войны взшла высоко скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев: прошла в них нужда – их и забыли. Но у Иван Никитича был какой-то особый добродушный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почетные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали.

Несмотря на то, что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, – в таком, представьте себе, мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну уж и портрет – прямо на ананасную конфету! Левый рукав бантом к плечу пришпилен, правая рука выставлена вперед, и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы! Вверх и вбок! Лев! Глаза огненные. Волосы в курчавом беспорядке. На бритых устах усмешка гордая и любезная: гордая для соперников, любезная для прекрасного пола.

Одна петербургская графиня, первая красавица и ужасная богачка, в него донельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, повелено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его, с высочайшего соизволения, была приписана в начале литера «слово», то есть стали – он и его будущие потомки – именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми.

Жил он беспечно и весело с молодою женой в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. Притом же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и презанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал.

Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит.

В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника Петербургского гарнизона. В ту же пору, и по тому же званию, с ним произошла большая неприятность.

Как всегда, был назначен на первое мая парад всем частям Петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки. Съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи. Собрался весь генералитет. Приехала царская семья, и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович.

Всегда на этом параде полагалось: как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирают, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро, по всей строгости устава.

Но дернула нелегкая какого-то посланника опоздать на три минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке – нет пропуска, к другой, к третьей – тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести – самого черта приведет за шиворот, не пускать – ангела Господня не пропустит. Посол спрашивает: «Кто запер рогатки?» – «Начальник гарнизона, генерал Скобелев». – «Где он?» – «А вот там, где кончается Лебяжья канавка, у Цепного моста».

Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид... «Как это так, что меня не пропускают?» – «Точно так. И не пропустят», – отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» – «Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя, а потому впущены за цепь быть не можете, в силу закона». – «Как вы смее со мной разговаривать таким тоном!»

Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово: «Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом Почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине». – «Хорошо же, – погрозил посол. – Вы меня узнаете! Нынче

же обо всем будет доложено императору...» – «Ваше дело. А теперь налево кругом марш! Капральный, проводить генерала!»

Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть «Наполеона» он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список».

Так Скобелева и убрали с должности «без внесения», но никуда, однако, вновь не определив, оставив его, некоторым образом, висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немислим.

И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в Летнем саду, ездил слушать почтамтских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамтские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться.

И вот как-то утром вышел он прогуляться на Английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами. Пелерина развеивается. На каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А! Здравствуй, Скобелев. Что это тебя не видно, не слышно?» – «Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». – «Вот ты как? Хорошо же. С завтрава упрячу тебя в крепость». – «Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине». – «Молчи, молчи, грубиян. Прощай. Завтра жди». – «Слушаю, ваше величество».

И правда упрятал: на другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя: быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности, каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской.

В Петропавловской крепости Однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную – нынче говорят меланхолическую, – ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, – хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, – дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе.

Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал не торопясь кофе: по скоромным дням – с топлеными сливками, по постным – с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет и трется головкой о комендантову щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка: чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугая шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, омоченным в кофе.

Нужно также сказать, что было у Скобелева, в промежутках между делами службы, одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь, размером с церковную Библию екатерининских времен, в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал Однорукий комендант своими культияпками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирали. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжищу, и никто не видал ее раскрытой и незапертой. Кроме, конечно, попугая.

Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, – его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно, распоряжения, возвращается в кабинет и – о, ужас – что же он видит! Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким и острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылит. Схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая! Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется – комендант все его догоняет. Наконец забился под диван, к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец, сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать, что ему первое попало в голову: «Молитвами святых отец наших, Боже, милостив буди мне грешному».

Ну, тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от груди. «Ладно уж, вылезай, подлец этакой. Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги!»

Велел принести себе гуммиарабику, прозрачной бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разодранные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался. То закричит: «Шай! На кра-ул!», то «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет: «Помни, прохвост, как важные бумаги рвать!..» Ну, потом, конечно, простил... Только уж больше не забывал о ключике и застежке.

Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый Однорукий комендант.

Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор – усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что, после прежней немилости, стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил Однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только, бывало, изволил войти в комендантов кабинет, с аналоем пред образом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом: «Здорово, попка!» А тот: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» – «Кто я?» – «Государь и самодержец вся России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович.

Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили... неизвестно. После обедни, по обыкновению, зашел к коменданту. Увидел попугая. И, больше по привычке, сказал ему: «Здравствуй, попка!»

А попугай тоже в этот день находился, верно, в расстроенных чувствах, сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять: «Здорово, попка». Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает: «Кто я?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно:

«Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно пороховую бочку, взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая: «Голову оторву!» И давай за ним гоняться по кабинету: «Убью! Своими собственными руками задушу подлую скотину! У меня в доме! Моему государю! Не уйдешь ты, гадина, от моей руки!..»

Император уж сам стал его успокаивать: «Оставь, Скобелев. Птица – тварь неразумная. Грех ее убивать. Оставь».

Но куда! «Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воли послушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный кухенрейторовский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его, наконец, утихомирил.

«Не трогай птицу, храбрый Однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам Бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь... Не убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил, после его смерти, сорок лет в скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий.

Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине Однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки.

Пришла для Иван Никитича пора закончить все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании.

Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли свои земные долги исправил, Иван Никитич?» – «По мере сил, разума и памяти, государь». – «Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». – «Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвенником». – «Хорошо, Скобелев. Но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? – рад быть твоим душеприказчиком».

Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко:

– Вот разве что, ваше величество... Только боюсь выговорить...

– Ничего. Говори все. Слушаю тебя сердцем.

– Вот что, государь! Есть у меня к тебе две заветные просьбы: одна – для моего последнего утешения, другая – для блага великой России и твоей бессмертной славы.

– Говори, Иван Никитич.

– Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта: быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого.

– Так и будет. Сказывай вторую просьбу.

– Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землей. О государь! взамен ста миллионов рабов, ты имел бы сто миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство, тебе врученное, всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Извольте видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкой? Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней, у меня на шейной цепочке.

Но император нахмурился и прервал Скобелева резко:

– Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай. Думай о грехах. Молись.

И вышел от него разгневанный.

В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался Однорукий комендант. В ту же ночь приехал, по особому повелению, в крепость генерал Дуббельт. Описал все комендантovy бумаги и увез с собою. В том числе и огромную таинственную книгу в переплете с застежкой. Куда она потом девалась – никому не известно.

А первую просьбу Однорукого коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоящегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, Ивана Никитича Скобелева.

Судьба *Восточное предание*

Жил, много лет назад, в небольшом, но богатом городе один купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный, вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение.

Однажды представился ему случай выгодно купить и еще выгоднее перепродать большой груз золотого песка, вследствие чего его состояние могло бы сразу утроиться. Но для этого необходимо было купцу не только собрать все деньги как наличные, так и отданные в долг, но и спешно распродать все товары. Взвесив внимательно выгоды и невыгоды предприятия и найдя дело настолько прибыльным и верным, что лишь исключительная немилость судьбы помешала бы его благополучному окончанию, купец решил пустить в смелый оборот все свое состояние, разом.

Итак, в недельный срок сделал купец все необходимые приготовления и распоряжения, никого из домашних в них не посвящая, как и подобает настоящему хозяину. Когда же наступило утро четверга – счастливого дня для всяких начинаний, – он сказал старшему сыну:

– Рыжую кобылу оседлай для себя, а мула под меня и под выюк.

Сын привык повиноваться отцу безгласно. Ни о чем не спрашивая, сделал, как было приказано. Перекинул через седло и закрепил два небольших кожаных мешка, которые подал ему отец; сотворили оба краткую дорожную молитву и выехали на заре из дома: отец впереди, сын несколько сзади и сбоку.

Путь их пролегал под счастливою звездой. Все торговые и денежные сделки совершались так легко, коротко и выгодно, что купец, начинавший пугаться постоянной удачи, часто шептал про себя: «Если Бог захочет», «Если Богу угодно». Отводил судьбу.

Узнал он в дороге, что цены на предметы роскоши чрезвычайно повысились благодаря женитьбе французского принца на испанской инфанте. По этой причине ему удалось продать свои товары в кредит с большими задатками, значительно превышавшими предполагаемые им счета. Должники оказались все до одного людьми состоятельными и сговорчивыми, охотно платившими свои долги. И никакой задержки или помехи не произошло в дороге.

Благополучно покончив все дела, направил купец свой путь к тому приморскому великолепному городу, где дожидался его груз золотого песка. Купец был весел душой, хотя иногда все-таки шептал себе в бороду:

– Инш'алла.

Не доезжая одного конного поприща до моря и до славной гавани, завернули путники в постоялый двор для еды и ночлега. Как и всегда, отец захватил с собою переметные сумы и пошел в кофейную, а сын отвел животных в конюшню, расседлал их и задал корму. Потом оба вымыли руки, сотворили молитву и сели за скромный ужин.

Они еще не успели отужинать, как ворвалась в кофейную целая толпа людей подозрительного вида, шумных и плохо одетых. Они потребовали вина, стали пить и петь песни, и опять пили вино. Вскоре они перессорились, ссора перешла в крик, ругань и драку; блеснули ножи.

– Уйдем от худого дела, – сказал купец, вставая из-за стола. – Я тебе помогу седлать.

В темноте торопливо оседлали они лошадь и мула, выехали на дорогу и до тех пор ехали поспешно, пока за ними не смолкли топот ног и яростные возгласы, доносившиеся с постоялого двора. Но когда стало тихо, отец вдруг круто придержал мула, ощупал вокруг себя руками и приказал сыну:

– Стой! Ворочай назад!

Сам же нетерпеливо повернул мула и, погоняя его плетью, понесся во весь опор. Сын за ним.

Опять въехали во двор. Заглянули в окна кофейной, прислушались. Там тишина, как в могиле. Горят лампы. Людей сначала не видать. Только потом, присмотревшись, заметили по полу трупы и лужи крови. Окликнули хозяина, прислужников. Нет ответа. Должно быть, испугались резни и попрятались или убежали в лес.

Бросил купец поводья на руки сыну. Быстрыми шагами поднялся по крыльцу, зашел в комнату, подошел к тому самому месту, где они только что ужинали, нагнулся над лавкой, – и сын увидел сквозь окно, как отец поднял с сиденья и перекинул через плечо оба кожаные мешка, связанные веревкой. Только тут понял сын, что второпях они забыли захватить эти мешки.

Но, выйдя на двор, купец не вымолвил ни слова в объяснение. Пристроил мешки к седлу, вскочил на мула и протянул его арапником под животом.

Долго они скакали по дороге. Все боялись: вот нагрянет в кофейную полиция, погонится по горячим следам, схватит и отведет к судьям. А от судьи – прав ты или виноват – во всю жизнь не отвяжешься, пока не обнищаешь до последней рубашки.

На заре достигли они небольшой речки, по обоим берегам которой росла свежая, тенистая роща. Здесь отец велел привязать лошадей к дереву. Сотворили они оба утреннее омовение. Потом отец приказал:

– Бери мешки и неси за мною.

Пришли на малую полянку, со всех сторон укрытую от посторонних взглядов. Купец остановился и сказал:

– Садись.

Сели. Отец развязал оба мешка и молча стал раскладывать все, что в них было, на две равные кучки. Все пополам: брильянты, жемчуг, бирюзу – камешек против камешка по величине и достоинству. Так же золотые монеты, так же чеки на банкирские дома богатых мавров. Окончив же эту дележку, он сказал:

– Здесь две равных доли. Одна – твоя. Выбери любую кучку, ссыпь все, что в ней есть, в мешок, привяжи мешок к своему седлу. Сядешь сейчас же на лошадь и поедешь в том направлении, как мы до сих пор ехали. В пяти минутах езды увидишь, что дорога раздвоится. Возьмешь налево. Так ты короче доедешь домой. Помни, что теперь в доме ты самый старший. Строй жизнь как хочешь и умеешь. Я же тебе ни советов, ни благословений не даю. Иди. Пока не доедешь до первого селения, не смей оборачиваться назад. Домой я долго не вернусь. Может быть, и никогда. Ступай.

Сын безмолвно выслушал приказание, упал отцу в ноги, поцеловал землю между его стопами, повернулся, сел на лошадь и исчез между деревьями.

И вот пока все о купце и его сыне.

В роскошном и славном городе, столице великого государства, был канун торжественного праздника. Поэтому с самого раннего утра его жители – начиная от всемилостивейшего и всеильного повелителя и кончая последним поденщиком – соблюдали строгий пост. До позднего вечера, до той поры, когда глаз не в состоянии различить черной нити от красной, никто не должен был вкушать пищу, а если кому хотелось пить, то закон разрешал лишь полоскать высушенный рот чистой водой. Вечером же каждому предстояло вознаградить свое терпение обильными яствами, сладостями, фруктами, вином и другими земными благами.

Был также в той стране обычай, освященный глубокой древностью: приглашать на этот вечер к себе в дом бедняка, сироту, одинокого старца или путника, не нашедшего на ночь крова, и обычай этот свято чтился как в роскошных дворцах богачей, так и в покосившихся хижинах предместий.

И вот перед вечером, выходя из дома молитвы, обратился один из самых знатнейших и уважаемых людей города к окружавшим его друзьям со следующими словами.

– Друзья, – сказал он, – не откажите мне в покорной просьбе. Приведите в мой дом несколько бедняков, каких только встретите на улицах и на порогах кофеен. И чем они будут слабее, беспомощнее и несчастнее, тем с большим вниманием и почетом я их встречу.

Человек этот был неисчислимо богат: длинные его караваны ходили в глубь страны, вплоть до верхнего течения Великой реки; многопарусные корабли его бороздили все моря света; мраморные дома его с обширными садами и прохладными фонтанами поражали своей красотой. Но если богатство снискало ему почет и удивление, то любим он был повсюду за свои душевные качества: правдивость, доброту и мудрость. Никогда не оскудевали его руки для бедных, ни разу не оставил он друга в минуту горя или неудачи, а советы его в самых сложных случаях жизни были так верны и дальновидны, что к ним нередко прибегал и сам повелитель, – тень пророка на земле.

Поэтому друзья, в ответ на его просьбу, поклонились ему и обещали как можно скорее исполнить его желание.

Один же из них сказал особо:

– О источник добра, покровитель бедных, ценитель драгоценных камней! Выслушай снисходительно то, что мне рассказали мои слуги, вернувшиеся из бани, куда, как тебе известно, обязан пойти в этот день каждый правоверный.

В ту же баню пришел еще один человек, такой старый, такой дряхлый и такой бедный, какого не было видано даже в нашем богатом городе, переполненном нищими. Все имущество его состояло из бабуш⁵¹, кожаной сумы и лохмотьев, которые ему нечем было переменить.

И вот, выйдя из бани в раздевальную, этот бедняк заметил, что кто-то – если не из корысти, то, вернее, ради глупой шутки – унес его нищенскую суму и веревочные бабуши, оставив ему лишь единственную ветхую и дырявую одежду. Все, кто присутствовал при этом, были сильно огорчены и разгневаны. Но еще более удивились они, когда увидели, что лицо старца, вместо того чтобы изобразить печаль и злобу, просияло весельем и радостью. Подняв к небу руки, он благодарил Бога и судьбу в таких прекрасных, искренних и горячих выражениях, что изумленные зрители замолкли и в смущении отступили от него... Об этом человеке я и хотел сказать тебе, о даритель спокойствия, хотя и признаюсь, что кажется мне этот странный старик безумным.

Знатный богач покачал головой и сказал:

– Безумный он или святой – мы не знаем. Приведи же его, друг мой, поскорее ко мне. Первым гостем он будет у меня сегодня за ужином.

И вот, когда наступила долгожданная минута, и во всех домах столицы зажглись яркие огни, и изо всех печей потянулись по воздуху чудесные ароматы пилава, жареной птицы и острых приправ, был введен старый нищий в дом знаменитого богача. Сам хозяин встретил его во дворе; почтительно поддерживая под руки, ввел его в залу праздника, посадил на главное место и брал от слуг блюда, чтобы собственноручно накладывать гостю лучшие куски.

Приятно было всем пирующим видеть, какой лаской и добротой светилось лицо старика. Хозяин же, умиленный видом его седин и кроткой старческой радостью, спросил гостя:

– Скажи, сделай мне милость, не могу ли я услужить тебе, отец мой, исполнив какое-нибудь твое желание, все равно – малое или большое.

Старик улыбнулся светло и ответил:

– Покажи мне всех детей твоих и внуков, и я благословлю их.

⁵¹ Туфли без задника (от араб. babus).

Подшли к нему поочередно, по старшинству, четверо взрослых сыновей купца и трое юношей – внуков, и каждый становился на колени между ног старца, и старец возлагал руки на их головы.

Когда же этот старинный хороший обряд окончился, то последним попросил благословения знаменитый купец. Старец не только благословил его, но и обнял и поцеловал в обе щеки и в уста.

И вот, поднявшись в великом волнении с колен, сказал знатный купец:

– Прости меня, мой отец, за вопрос, который я осмелюсь задать тебе, и не сочти его за праздное любопытство. Во все время, пока ты сидишь в моем доме, гляжу я на тебя пристально и не могу оторвать моих глаз от твоего почтенного лица, и все более и более кажется оно мне близким и родным. Не помнишь ли ты, отец мой, не встречались ли мы с тобой когда-нибудь раньше... в очень давние годы?

– Охотно прощаю, сын мой, – ответил старик с любовной улыбкой, – и в свою очередь задам тебе вопрос: не помнишь ли ты тенистую рощу на берегу небольшой речки, а также мула и рыжую кобылу, привязанных к дереву, и двух людей – отца и сына, которые на круглой поляне высыпали из кожаных сум драгоценные камни и золото и делили все пополам?..

Тогда купец склонился до земли перед старцем и поцеловал землю между его ног и, вставши, воскликнул:

– О возлюбленный отец мой, благодарение Богу, приведшему тебя сюда. Взгляни же, вот – дом твой, а вот – я и дети мои, и внуки – все мы слуги и рабы твои.

И обнялись они с отцом и долго плакали от радости. Плакали и все окружающие. Когда же прошло некоторое время и наступило сладкое спокойствие, то спросил знатный купец с нежной учтивостью у своего отца:

– Скажи же, отец мой, почему ты в то утро разделил между нами все свое имущество и почему пожелал, чтобы мы поехали в разные стороны, расставшись надолго, если не навсегда?

Старец ответил:

– Видишь ли: едва мы выехали по нашему делу, то за нами пошла необычайная удача. Вспомни – я все твердил: «Инш'алла». Я боялся зависти судьбы. Но когда мы вернулись обратно на постоялый двор и я нашел нетронутыми наши мешки, лежавшие на виду, доступные каждому взору и каждой руке, – я понял, что такая удача превосходит все, случающееся с человеком, и что дальше надо мною повиснет длинная полоса неудач и несчастий. И вот, желая предохранить тебя, моего первенца, и весь дом мой от грядущих бедствий, я решился уйти от вас, унося с собою свою неотвратимую судьбу. Ибо сказано: во время грозы лишь глупец ищет убежища под деревом, притягивающим молнию... И ты, видящий, до какого нищенского состояния я дошел в эти годы разлуки, – не найдешь ли ты, что я поступил прозорливо?

Все слушатели, внимавшие этим словам, поклонились старцу и дивились его мудрой проныцательности и его твердой любви к покидаемой семье.

Один же из самых старых и чтимых гостей спросил:

– Почему же ты, о брат моего дяди, сегодня, вместо того чтобы плакать, радовался и ликовал, узнав, что у тебя украли последнюю нищенскую суму? Не разгневайся, прошу тебя, на мой нескромный вопрос и, если тебе угодно, ответь на него.

Старик на это сказал с доброй улыбкой:

– Оттого я возликовал, что в этот миг, сразу, я понял, что судьбе надоело преследовать меня. Ибо подумай и скажи: можно ли вообразить во всем подсолнечном мире человека, более бедного и неудачливого, чем нищий, у которого украли его суму? Более худого судьба уже не могла придумать для меня. И погляди – я не ошибся. Не нашел ли я в тот же день и сына моего, и его сыновей, и сыновей его сыновей. И теперь, не боясь уже привлечь на их головы своей злой судьбы, я доживу остаток дней моих в любви, радости и покое.

И все опять поклонились ему и воскликнули единогласно:

– *Судьба!*

Золотой петух

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, – если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Вильд’Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так, иногда меня ласково пробуждали до зари – веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда.

Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун-скворец и беззаботный свистун-дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно, с удивлением, прислушивались к тем странным, непонятным, никогда доселе мною не слыханным звукам – мощным и звонким, – от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха.

Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости.

Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариных токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь, в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: «Ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы, – все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах». В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих прекрасно-яростных звуков. Повсюду – в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сюрене, в Гарше, в Марн-ла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраинах Парижа – звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do!*

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест, и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного Древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а

внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть всей страны, может быть всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха – праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

«И, наконец, может быть, – думал я, – сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обожествившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огнеликого бога».

Вот и солнце. Еще никогда никто – ни человек, ни зверь, ни птица – не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного, розового – розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая последние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю – звенят ли золотыми трубами солнечные лучи, или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе – таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на Востоке из пепла, дыма и раскаленных углей!

Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние, еще более дальние, и, наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестяли зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил:

– Это вы так хорошо пели сегодня на заре?

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, черкнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым баском. Не ручаюсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: «А вам какое дело?»

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

Дочь великого Барнума

I

Дневная репетиция окончена. Друг мой, клоун Танти Джеретти, зовет меня к себе на завтрак: сегодня у него великолепная маньифика – «министра» по-неаполитански. Я испрашиваю позволения прихватить по дороге оплетенную маисовой соломой бутылочку кианти. Живет Танти (уменьшительное от Константин) в двух шагах от цирка Чинизелли, в однооконном номерке дешевой гостиницы. Семья его маленькая: он и жена Эрнестина Эрнестовна – «грациозная наездница», она же танцует в первой паре циркового кордебалета.

Фамилия Джеретти – старинная. Она обосновалась в России еще в эпоху Николая I и давно известна во всех постоянных цирках и во всех бродячих полотняных «шапито». Она весьма ветвиста; из нее вышло множество отличных цирковых артистов: акробатов, жокеев, вольтижеров⁵², дрессировщиков, партерных гимнастов, жонглеров, музыкальных клоунов и шпрыхклоунов (то есть говорящих). Джеретти всех возрастов работают в икарыйских играх, на канате и на проволоке, на турнике и на трапеции, делают воздушные полеты под «кумполом» цирка, выступают в высшей школе верховой езды, в парфорсе и тендеме.

Танти родился в Москве. Он впервые показался публике на тырсе (смесь опилок и песка) манежа четырех лет от роду и последовательно так обучился всем отраслям циркового искусства, что может прилично заменить исполнителя в любом номере из старинного репертуара. В высокой степени он обладал необходимыми для цирка двумя сверхчеловеческими чувствами: шестым – темпа и седьмым – равновесия.

В зрелом возрасте он по влечению остановился на клоунском ремесле. Для этого у него были все нужные данные. Родные его языки – итальянский и русский. Но одинаково свободно и плохо он болтал на всех европейских языках, включая сюда финский, грузинский, польский и татарский. Он был достаточно музыкален и играл на любом инструменте, не исключая геликона и бычачьего пузыря. Голос его отличался таким особенно ясным звуком, что без всяких усилий бывал слышим в отдаленнейших уголках цирка. Главным же достоинством (и истинным даром Божиим) был у Танти милый прирожденный юмор – качество редкое даже у известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве.

Не знаю почему, Танти не приобрел шумной славы, подобно некоторым его собратьям, как, например, Танти Бедини, братьям Дуровым, долговязому рыжему Рибо, коричневому Шоколаду, братьям Бим-Бом, Жакомино, братьям Фраттелини. Может быть, это происходило от излишней самолюбивой застенчивости? Или просто от неумения и нежелания Танти делать вокруг своего имени пеструю шумиху? Но директора цирков отлично знали, что если публику и привлекают в цирк кричащие имена «всемирно знаменитых соло-клоунов», то смеется она особенно громко, весело и непринужденно при выходах и маленьких репризах Танти Джеретти. Танти был клоуном не для чванных лож и надменного партера, а для верхних балконов и градена, где ценят, любят и понимают смех.

Смешон и забавен он был в старом английском вкусе: наивном и флегматичном. В русском театре было раньше такое амплуа – «простака». Выходил он на манеж в традиционном просторном балахоне Пьеро с остроконечным войлочным колпаком на голове, лениво волоча ноги, запустив руки глубоко в карманы широчайших сползающих панталон. Все ему на свете надоело и прискучило. Когда его партнер в ярко-шелковом костюме, расшитом атласными бабочками и сверкающими блестками, предлагал ему показать публике новый номер, он, так и быть,

⁵² Наездников (от *фр.* voltigeurs).

соглашался, – «раз вышел на манеж, надо же работать!» – но соглашался с унынием и недоверием: «Все равно это никому не интересно». Слушая его недоуменные вопросы и рассеянные, невпопад, ответы, раек изнемогал от хохота, но сам Танти, понурый, весь точно развинченный, никогда не смеялся.

В жизни он был обыкновенно скуп на слова и жесты; цирковая унылость у него заменялась внимательной серьезностью. Когда же изредка он улыбался – одними глазами, – то его домашнее, узкое и длинноносое лицо делалось от этой искрящейся улыбки привлекательным и даже прекрасным.

II

«Министра» – густой суп, сваренный самим Танти на примусе, из макарон и сливок и обильно посыпанный тертым пармезаном, – оказалась выше всяких похвал. На том же примусе синьора Джеретти приготовила нам душистый горячий и крепкий кофе. Бутылка кианти попала на редкость удачная. Разговор шел неторопливо, но ладно.

О, славное, простое, широкое гостеприимство людей, знающих тяжесть труда и сладость отдыха. Как проста их щедрость, и как скромна их домашняя семейная горделивость. Кто бывал, как свой, в переносных домах цирковых артистов, тот благодарно понял и никогда не забудет этого уютного, патриархального, целомудренного, дружелюбного быта.

Был зимний короткий петербургский вечер. Стало темнеть. Зажгли лампу. Эрнестина Эрнестовна, низко склонившись под разноцветным абажуром, прилежно сшивала какие-то яркие куски блестящей материи. Цирковые сами себе мастерят почти все необходимое для цирка: женщины вяжут трико и шьют костюмы. Мужчины готовят «реквизит» – всякие вещи, нужные при выходе; иные из них даже вырезают перочинным ножом деревянные клише для газетных объявлений.

Танти снял с гвоздя старую гитару с металлическими струнами, проверил ее итальянский строй и, по моей просьбе, стал петь очаровательные, затейливые, быстролетные неаполитанские канцонетте. Иногда Эрнестина Эрнестовна, узнав сразу, по лукавому ритурнелю, начало песенки, говорила поспешно:

– Только не эту, Танти, пожалуйста, не эту. Что о нас подумает наш гость!

Он пел очень мило. Там, на манеже, – да простит меня его милая тень, – Танти, из необходимости петь громко, пел все-таки дребезжащим козелком; здесь же, дома, у него оказывается сладенький, приятный и очень выразительный тенорок.

Потом вспомнил он две песенки, которые хорошо известны в русских цирках. Я их тоже знал. Одна из них, на какой-то опереточный мотив, говорит о том, как некий неизвестный селадон поехал в город Медон. Другая – историческая – о друге Хохликове, Иване, и о его злоключениях, сочиненная наполовину по-русски, наполовину по-французски:

Друг наш Хохликов Ivan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.
Он был веселый Charlatan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.
Он раз поехал в Astrakhan,
Sur le bi, sur le bi du bou du banc.
И заболел там Kholeran,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc.

Об этой второй песенке я – любитель разыскивать источники и корни безыменного творчества – давно уже наводил справки и, кажется, нашел следы ее возникновения.

Действительно, жил некогда в Пензе такой помещик, только вовсе не Хохликов, а дворянин шестой книги Хохряков, большой чудак, как и все пензенские помещики.

Он любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на «ты», набуянить, дать займы и задолжать без отдачи, метнуть лихой банк, расплакаться под гитару и кинуть пачку денег цыганам, – словом, был добрый, веселый, честный и беспутный малый.

Трогательнее всего в этом бесшабашном помещике было то, что он любил цирк и цирковых людей настоящей большой любовью, преданной и неизменной. Когда цирк гостил в Пензе, он не пропускал ни одного представления, не исключая и детских утренников. Он подносил цветы и подарки в бенефисы, крестил детей у артистов и был посаженным отцом на свадьбах. Кабинет его был увешан фотографиями всех известных и неизвестных «циркачей», с их собственноручными подписями, безграмотными и корявыми, но зато украшенными самыми причудливо-роскошными росчерками.

Когда на Хохрякова падали неожиданно с неба большие деньги, он закатывал великолепный обед всему цирковому составу: артистам, ветеринару и доктору – в старой просторной столовой, конюхам – на кухне. За обедом цирковой оркестр непременно играл на хорах старинные цирковые вальсы, марши, польки и галопы, и уже издавна было заведено, что весь обед проходил в музыкальном ускоренном темпе, именно так, как наскоро обедают персонажи в цирковых пантомимах. В такт музыке приносили и уносили блюда; делались преувеличенные, комические, но точные жесты; чистые тарелки перелетали через стол из рук в руки, вращаясь в воздухе; ножи, вилки и ложки служили предметами беспрестанного ловкого жонглирования, и, конечно, бил посуду в большом количестве сияющий от счастья Хохряков!

Он, когда мог, щедро помогал труппам, впадшим в полосу неудачи. Случалось, что влюбленность в цирковое дело заставляла его следовать из города в город за каким-нибудь бродячим цирком. Таким-то образом он и попал однажды из Пензы в Астрахань, где, как последствие объедения арбузом, его схватила и чуть не отправила на тот свет холера-морбус.

Ах, уж эти русские помещики! Тянет их к себе, тянет кочевая жизнь. Цирк еще что! Были такие помещики, которые увязывались за дикими кочующими цыганами и не только странствовали с ними по полям и лесам, но даже описывали их житье в совсем недурных стихах.

III

Известно, что короли и клоуны пользуются привилегией называть друг друга «мой кузен». Но также и те и другие отличаются от простых смертных памятью на лица и события, с тою лишь разницей, что короли часто помнят злое, клоуны же предпочитают помнить хорошее.

После Хохликова, Ивана, Танти – живая летопись цирковой жизни – вспомнил с моею помощью всех друзей и покровителей цирка: Ознобишина, когда-то влюбленного в укротительницу Зениду, которую потом в Вене загрызла тигрица Люция; графа Рибоьера, князей Гагарина и Дадиани. Затем припомнили мы те случаи, когда богачи и титулованные люди женились на цирковых артистках. Между прочим, сестра Танти, прекрасная Анунциата Джеретти, вышла замуж за киевского миллионера Штифлера, владельца великолепного кафе. Затем помянули добрым словом всех знаменитых цирковых артистов, от легендарного Блондена, впервые перешедшего по канату через Ниагару, и баснословного прыгуна Лиотера до нынешних семейств: Труцци, Сур, Момино, Соломонских, Годфруа, Кук, Чинизелли, Джеретти. Выпили в честь и память Гагенбеков, хозяев гамбургского зверинца и первых в мире дрессировщиков. Поговорили об удачах и неудачах в цирковом мире, о приметах, джеттатуре⁵³ и дурном глазе, о счастливых фортунах. А тут уже неизбежно всплыла из забвения исто-

⁵³ *Джеттатура* – талисман против дурного глаза; обычно сделанная из коралла крошечная рука с вытянутыми вперед пальцами, безмянным и указательным. (Прим. автора.)

рия о великом Барнуме и о его прекрасной дочери. Я уже слышал ее раньше в нескольких вариантах, и чуднее всего для меня было то, что всегда место действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску.

– Вы, конечно, не хуже меня знаете о Барнуме, – говорил Танти. – Это был не то американский немец, не то чистый американец. Начал он свою необыкновенную карьеру, как и все богачи в Америке, чистильщиком сапог. Позднее ему первому пришла в голову мысль показывать любопытной публике всевозможные чудеса, капризы и ужасы природы. Это он открыл сиамских близнецов Родиду и Додиду; Юлию Постронну – даму с драгунскими усами и великолепной черной бородой; саженных великанов и двухфутовых карликов; татуированных индианок и вымирающее племя ацтеков с птичьими профилями. Вскоре ему принадлежали все музеи, паноптикумы, панорамы, кунсткамеры и кабинеты восковых фигур в мире, не считая множества зверинцев и цирков. Никто лучше и роскошнее Барнума не умел устраивать грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс, с фейерверками, иллюминацией, оркестром и пушечной пальбой. Сколько великих знаменитостей он выкопал из мусора и показал миру. Три имени звучали громче всех имен в прошлом столетии: Наполеона, Эдисона и Барнума.

Он стал богатым и знаменитым. Звезда его не меркла до самой его смерти. Одно лишь печалило великого Барнума: это то, что судьба не послала ему сына, который впоследствии смог бы взять в крепкие руки отцовские дела и, расширив их, дать новый блеск дому Барнума.

Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его единственная дочка Магдалина – красавица Мод... Что и говорить, в коммерческих делах самая талантливая женщина все-таки ниже среднего умного мужчины. Но проницательного старика давно радовало и обнадеживало рано проснувшееся в девочке влечение ко всем профессиям, входившим в круг отцовских дел и предприятий. В младенчестве ее любимую игрою было строить из песка, тряпок и прутьев паноптикумы или балаганы, рассаживать в них кукол и зазывать воображаемую публику. Семи лет она ловко жонглировала мячами, дисками, кольцами и палками. В десять лет Мод уже скакала без лонжи⁵⁴ по цирковому кругу, стоя на панно на огромной галопирующей белой лошади. Будучи юной девушкой, она научилась отлично стрелять, фехтовать, плавать и играть в теннис. Когда же семнадцатилетняя Мод поступила к отцу в качестве личного секретаря, великий Барнум со слезами гордости и умиления открыл у нее решительную руку, быстрый взгляд и смелую находчивость будущего крупного дельца. Это редко бывает с детьми, особенно с девочками, чтобы их искренне влекли к себе отцовские профессии, но раз уж это случилось, то такое влечение и понимание дают блестящие результаты.

Настал и тот неизбежный день, когда Барнум, особенно обеспокоенный приступом подагры, первый заговорил с дочерью о своих годах и болезнях, о быстротекущем времени и, наконец, о той роковой поре, когда девушке надо подумать о покровителе и спутнике жизни, а отцу – о внуках.

На этот намек красавица Мод отвечала, как и полагается, что она никогда о замужестве не думала, что выходить замуж и лишаться свободы еще очень рано, но что, если милый па этого хочет, а главное, для поддержания величия дома Барнума в будущих поколениях, – она согласна послушаться папиного совета. Но она ставит одно условие: чтобы ее муж обладал всеми папиными достоинствами, был бы умен, изобретателен, смел, настойчив, здоров и находчив в борьбе с жизнью и чтобы, подобно папе и ей, всей душой любил кипучее папино дело.

– Конечно, – прибавила Мод, – если я попрошу, то мой добрый па купит мне в мужья настоящего герцога с восьмисотлетними предками, но я больше всего горжусь тем, что мой очаровательный, волшебный па когда-то чистил сапоги на улицах Нью-Йорка. Конечно, я отлично

⁵⁴ Тонкая веревка. Она продевается через кольцо в куполе цирка. Один конец ее прикреплен к спине ученика, другой конец – в руках учителя. (Прим. автора.)

знаю, что найти нужного мне человека в миллион раз труднее, чем нагнуться и подобрать на дороге графа. Моего избранника придется искать по всему земному шару.

В конце этого разговора было обоими решено: когда настанут после весеннего равноденствия тихие дни на океане, Барнум с дочерью поедут в старую Европу: милый па – купать свою подагру в целебных источниках, она – осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедкеру.

Говорили отец и дочь с глазу на глаз, но по невидимым нитям этот разговор облетел в самое короткое время все, какие только есть на свете, музеи, цирки, паноптикумы, «шапито» и балаганы. Люди этих занятий пишут друг другу часто и всегда о делах. Вскоре на всем земном шаре стало известно, что Барнум со своей дочерью разъезжают по разным странам с целью найти для красавицы Мод подходящего мужа, а великому Барнуму – достойного преемника.

И вот все люди, так или иначе прикосновенные к делам барнумовского характера, взбудоражились и заволновались. Женатые директора мечтали: «А вдруг Барнуму приглянется мое предприятие, и он возьмет да и купит его, по-американски, не торгуясь». Холостякам-артистам кто помешает фантазировать? Мир полон чудес для молодежи. Стоит себе юноша двадцати лет у окна и рубит говяжьи котлеты или чистит господские брюки. Вдруг мимо едет королевская дочка: «Ах, кто же этот раскрасавец?..»

Докатился этот слух и до России.

IV

Русские города всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в этом смысле богатейший город Рыбинск, или Рыбное, как его просто зовут на Поволжье. Случалось, что там самый захудалый ярмарочный цирк с дырявым «шапито», с костлявыми одрами под видом лошадей, с артистами-оборванцами и безголосыми клоунами имел сказочный, бешеный успех и рядовые полные сборы. А когда на следующий год, привлеченная молвою, приезжала в Рыбное образцовая труппа с европейскими именами, с прекрасной конюшней, с блестящим реквизитом, то, не выдержав и месяца, она принуждена бывала бежать из города – прогоревшая, разорившаяся, прожившая все прежние сбережения. Никто не знал, чему приписать эти резкие колебания во вкусах и интересах рыбинской публики: моде, уровню весеннего разлива, улову рыбы, состоянию биржи? Таинственная загадка!

В тот год городской деревянный цирк снимал Момино, маленький, толстый, плешивый, с черными крашеными усищами. За ним всегда шла репутация директора «со счастливой рукою». Состав артистов был, правда, не столичный, но очень хороший для любого губернского города, из средних: конюшня в образцовом порядке, оркестр из двенадцати человек под управлением известного Энрико Россетти, реклама была поставлена очень широко, цены невысоки... И вот без всяких видимых причин цирк Момино постигает с самого начала полнейшая неудача. Первое представление не дало полного сбора, на третьем и четвертом зияют пустые места целыми этажами, дальше – цирк пустует. Не помогают: ни бесплатный вход для детей в сопровождении родителей, ни лотерейные выигрыши на номера билетов, ни раздача подарков в виде воздушных шаров и шоколадок. Крах полный. Всеобщее уныние и отчаяние...

V

И вот однажды идет утренняя, почти никому не нужная репетиция. Все вялы, скучны, обозлены: и артисты, и животные, и конюхи. У всех главное на уме: «Что будем сегодня есть?» Вдруг приходит из города старый Винценти, третьестепенный артист; был он помощником режиссера, да еще выпускали его самым последним номером в вольтижировке, на затычку. Приходит и кричит:

– Новость! Новость! Поразительная новость! Потрясающая новость!

Что такое? Все собираются вокруг него, и он рассказывает:

– Сегодня приехали в Рыбинск Барнумы и остановились в «Московской» гостинице. Да, да, тот самый, знаменитый, американский, с дочерью. Я и фамилию его видел в швейцарской на доске.

Надо вообразить, какой переполох начался в цирке. Ведь все артисты давным-давно слышали о путешествии знаменитого Барнума по Европе и о том, с какой целью оно было предпринято.

Послали в «Московскую» верных лазутчиков навести справки у гостиничной администрации. Оказалось, Винченцо прав. Действительно, Чарльз и Магдалина Барнум, американские граждане, приехали в Россию из Америки, через Францию, Германию, Австрию. Цель – путешествие. Заняли три наилучших номера, четвертый – для переводчика. Скушали сегодня два фунта зернистой икры и паровую мерную шекснинскую стерлядку... У всего циркового состава закружилась голова от этих известий.

Решили послать Барнуму почетное приглашение. Билеты надписал по-английски Джемс Адвен, полуангличанин; он очень хорошо работал жокея. Адвен и отнес конверт в гостиницу. Барнум сам к нему не вышел, но выслал через переводчика два сотенных билета и велел сказать, что сегодня, ввиду усталости, быть в цирке не сможет, а посетит его непременно завтра.

Все с ума сошли в цирке. У каждого было в мыслях: подтянуться, постараться, блеснуть если не новым, то эффектно поданным номером. Репетировали с увлечением. Молодежь так к зеркалам и прилипла. Помилуйте: Барнум, красавица американка, миллионы! Цирковой «король железа», геркулес и чемпион мира по подыманию тяжестей, Атлант, завил усы кверху кольчиками, ходил по манежу в сетчатом тельнике, скрестив на груди огромные мяса своих рук, и глядел на будущих соперников победоносно, сверху вниз. Какая женщина устоит против красоты его форм? Укротитель зверей венгерец Чельван чистил запущенные клетки у своих львов и тигров. Остальные штопали трико, стирали и гладили костюмы, протирали до блеска никелевые части гимнастических приборов... Весь этот день, и вся ночь, и еще полдня до представления были сплошной лихорадкой.

Не волновался только один человек – клоун Батисто Пикколо. Он был очень талантливым артистом, изобретательным, живым, веселым клоуном и прекрасным товарищем. А спокоен он остался потому, что обладал трезвым умом и отлично понимал: какая же он партия для принцессы всех музеев, цирков и зверинцев мира?..

После репетиции, во время которой пришла весть о Барнуме, пошел, по обыкновению, Пикколо не торопясь к своему приятелю. Был у него сердечный дружок, лохматый рыбинский фотограф Петров. Видались они ежедневно, жить друг без друга не могли, хотя, по-видимому, что может быть общего между клоуном и фотографом? Да и фотограф-то Петров был неважный и не очень старательный. Но был у него волшебный фонарь с каким-то особенным мудреным названием. Фонарь этот посылал отражения на экран не только с прозрачных стеклянных негативов, но и с любой картинки или карточки. Давая сеансы волшебного фонаря в купеческих домах и в школах, Петров больше зарабатывал, чем фотографическим аппаратом.

Друзья позавтракали, и за копчушками, жареными на масле, с пивом Пикколо рассказывал фотографу о приезде Барнума и всю историю о его поездке с дочерью по Европе. Петров был по натуре скептик. Он махнул рукою и сказал коротко: «Чушь». Но по мере того как завтрак подходил к концу, Петров стал все глубже задумываться и временами глядел куда-то в пространство, поверх клоуновой головы.

– Знаешь, Батисто, я для тебя придумал на завтра сногшибательный трюк.

– Ты?

– Я. Скажи мне, ты умеешь ходить на руках?

– Да.

– И стоять?

– Это гораздо труднее, но возможно. Не более, однако, двух-трех секунд.

– И можешь удержать на ногах небольшую тяжесть, вроде доски?

– Вроде доски? Великолепно.

– Теперь скажи мне, ты мог бы стать вверх ногами на слона?

– Несомненно.

– Тогда бери шляпу, бери под мышки стремянку, я возьму с собою аппарат и вот этот соломенный столик, и бежим к тебе за костюмом.

Когда они вышли из комнаты клоуна на улицу, Петров крикнул живейного извозчика и приказал:

– В зверинец. Одним духом... Четвертак на чай.

В бродячем зверинце, на краю города, был, в числе других зверей, большой умный слон, не то Ямбо, не то Зембо, не то Стембо – во всяком случае, одно из трех. Поговорили с содержанием, он дал согласие.

Сторож вывел добродушного Ямбо из клетки. Несколько калачей привели его в самое благодушное настроение, и он благосклонно позировал перед аппаратом.

Сначала фотограф снял отдельно слона и отдельно клоуна. Потом их вместе: Пикколо кормит Ямбо, и тот с улыбкою щурит глаза. Затем Пикколо нежно обнимает слоновью тушу широко расставленными руками, и прочее.

Немного труднее было снять клоуна стоящим на руках, ногами кверху, на спине Ямбо да еще со столиком на подошвах, и здесь Ямбо – превосходная модель – был виноват гораздо менее, чем Пикколо. Однако Петрову удалось поймать подходящий момент и щелкнуть затвором.

– Баста!

По дороге в город фотограф кое-что объяснил клоуну. Пикколо покачивал головой и посмеивался.

VI

Настало многообещающее завтра. Опытный хитрый директор делал чудеса. Сотни бесплатных билетов были розданы городовым, приказчикам, грузчикам, уличным ребятам, мещанам, гимназистам и солдатам. Нельзя же было показать Барнуму пустой цирк?

Два конюха с утра толкли в ступах: один – синьку, другой – красный кирпич. Когда же манеж был тщательно посыпан золотым волжским песком, Момино собственноручно вывел на нем от центра к барьеру синие стройные стрелки и переплел их красными красивыми арабесками. У самого Чинизелли в Петербурге не бывало такого прекрасного узорчатого паркета.

Он же велел дать лошадям полуторные порции овса. Он сам слегка намаслил их крупы и малой щеточкой туда и сюда расчесал им шерсть так, что она являла из себя подобие глянцевиной шахматной доски.

Артисты тоже позаботились о себе. В аптекарских магазинах был скуплен весь фиксаж и весь бриллиантин. Какие геометрические проборы! Какие гофрированные коки! Какие блестящие усы! Какие губы сердечком!

Представление началось ровно в восемь с половиной часов. Долг газовому обществу уплатили еще утром, и потому освещение было аль джиорно⁵⁵. В девять часов без десяти минут приехал в цирк Барнум с дочерью и переводчиком. Их встретили тушем. Барнум сел не в приготовленную ложу, а во второй ряд кресел, в излюбленные места знатоков цирка, сейчас же справа от входа из конюшен на манеж.

⁵⁵ Как дневное (от *итал.* al giorno).

Надо ли говорить о том, как усердно, безукоризненно, почти вдохновенно работала в этот вечер вся труппа? Все цирковые существа: женщины и мужчины, лошади и собаки, униформа и конюхи, клоуны и музыканты – точно старались перещеголять один другого. И надо сказать: после этого представления дела Момино так же внезапно, как они раньше падали, теперь быстро пошли на улучшение.

Геркулес Атлант так старался, что запах его пота достигал второго и даже третьего яруса. После его номера оставил за собою очередь Батисто Пикколо. Артисты думали, что он сделает веселую пародию на силача.

К удивлению всех, он вышел на манеж с рукою, которая висела на перевязи и была обмотана марлей.

На плохом, но очень уверенном английском языке он объявляет публике, обращаясь, однако, к креслам, занятым Барнумами:

– Почтеннейшая публикум. Я приготавливал силовой номер. Одной только одной правой рукою я могу поднять этого атлета вместе с его тяжестями, прибавив сюда еще пять человек из зрителей, могу обнести эту тяжесть вокруг манежа и выбросить в конюшню. К сожалению, я вчера вывихнул себе руку. Но с позволения уважаемой публикум сейчас будут на экране волшебного фонаря показаны подлинные снимки с рекордных атлетических номеров несравненного геркулеса и тореадора Батисто Пикколо.

Из рядов выходит черномазый, лохматый, сумрачный фотограф. Вместе с ним Пикколо быстро укрепляет и натягивает в выходных дверях большую белую влажную простыню. Фотограф садится с фонарем посредине манежа и, накрывшись черным покрывалом, зажигает ацетиленовую горелку. Газ притушивается почти до отказа. Экран ярко освещен, а по нему бродят какие-то нелепые, смутные очертания. Наконец раздается голос Пикколо, невидимого в темноте:

– Азиатский слон Ямбо. Сто тридцать лет. Весом двести одиннадцать пудов, иначе – три с половиной тонны.

На экране чрезвычайно четко показывается громадная, почти в натуральную величину, фигура слона. Его хобот свит назад, маленькие глазки насмешливо устремлены на публику, уши торчат в стороны растопыренными лопухами.

Фотограф меняет картину. Теперь на ней Пикколо в обычном клоунском костюме. А сам Пикколо объясняет:

– Знаменитый соло-клоун, атлет и геркулес вне конкуренции, мировой победитель Батисто Пикколо в сильно уменьшенном виде.

Новые картины показывают Пикколо стоящим рядом со слоном; затем Пикколо стоит на стуле, опершись спиной на слоновий бок, затем широко распростирает руки по телу слона, прижавшись к нему грудью...

– Не виданный нигде в мире с его сотворения номер, – возглашает клоун. – Сейчас несравненный геркулес Батисто Пикколо без помощи колдовства, или волшебства, или затемнения глаз, или другого мошенничества поднимет слона Ямбо весом двести одиннадцать пудов – иначе, три с половиной тонны – на воздух двумя руками.

Экран сияет как бы с удвоенной силой, и с двойной четкостью показывается на нем Пикколо, стоящий, слегка согнув ноги, на столе. Его голова закинута назад, его руки подняты вверх и расставлены, а на его ладонях действительно лежит, растопырив в воздухе тумбообразные ноги, слон Ямбо, такой огромный, что клоун, стоящий под ним, кажется козьявкой, комаром. И однако...

В цирке тишина. Тонкий женский голос на галерке восклицает: «Ах, святые угодники!» Ропот ужаса, восхищения, недоумения, восторга наполняет цирк.

– Последний номер! – пронзительно кричит клоун. – Невероятно, но факт, зафиксированный документально современной фотографией, Геркулес из геркулесов, современный

соперник Милона Кротонского⁵⁶, Батисто Пикколо держит слона Ямбо, двести одиннадцать пудов – иначе, три с половиной тонны – на одной руке!!!

И, правда, новая картина изображает самое невероятное зрелище: человек-москит держит на одной вытянутой вверх руке несообразно громадную гору, которую в сравнении с ним представляет слон. Публика подавлена. Кто-то всхлипывает.

– Конец представления, – кричит Пикколо, – господин капельмейстер, сыграйте один марш! Механик, давайте газ!

При полном освещении клоун видит, как, снявши золотое пенсне и держа его в руке, качается от хохота на стуле толстый, бритый Барнум. Дочка его встала на кресло и весело смеется.

– Пикколо, Пикколо! – кричит она. – Поверните картинку вниз ногами! Ах, это замечательно! Поверните же картинку!

И она жестом показывает, как надо повернуть снимок.

Пикколо подходит к ее месту преувеличенно торжественным, приседающим клоунским шагом и останавливается перед ее креслом. Он снимает свой колпак и метет им песок арены, склоняясь в низком поклоне.

– Желание красавицы – закон для всего мира.

Фотограф вновь показывает на экране последнюю картину, на этот раз в том виде, как он ее снимал. Всем сразу становится ясно, что не Пикколо держал слона на руках, а слон держал его на спине, когда он встал на нее вверх ногами... С галерки слышен недовольный бас:

– Оказывается – жульничество!

Но глаза мисс Барнум еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством...

Когда же публика стала расходиться, очень довольная вечером, Барнум пригласил всех артистов поужинать у него в «Московской». Ужин был самый королевский: ведь давал его король всех музеев на земном шаре! Играл городской оркестр, лилось шампанское, говорились веселые тосты... Батисто сидел рядом с красавицей Мод. Без клоунского грима он, надо сказать, был очень недурным парнишкой; особенно хороши, говорят, у него были черные, сияющие глаза. Они весело болтали. Перегнувшись к ним через стол, толстый Барнум крикнул с обычной грубой шутливостью:

– Не находишь ли ты, моя дорогая Мод, что твой кавалер мог бы быть на два дюйма повыше ростом?

Пикколо быстро ответил:

– Наполеон и Цезарь не хвастались высоким ростом!

– Ого! – сказал Барнум.

А Мод тотчас же подхватила:

– Милый па! Лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван!

В конце ужина, когда все вставали из-за стола, Барнум крепко хлопнул клоуна по плечу и сказал:

– Послушайте, Пикколо. В Будапеште я только что купил большой цирк-шапито, вместе с конюшней, костюмами и со всем реквизитом, а в Вене я взял в долгую аренду каменный цирк. Так вот, предлагаю вам: переправьте цирк из Венгрии в Вену, пригласите, кого знаете из лучших артистов, – я за деньгами не постою, – выдумайте новые номера и сделайте этот цирк первым, если не в мире, то по крайней мере в Европе. Словом, я вам предлагаю место директора...

⁵⁶ Милон, родом из г. Кротона, знаменитый древнегреческий атлет; прославился тем, что обносил вокруг цирковой арены взрослого крупного быка. Свои упражнения с животным он начал тогда, когда оно было еще молочным теленком. (Прим. автора.)

Они пожали друг другу руки, а Барнум, потрепав Батисто по спине, лукаво прибавил:
– ...А дальше мы посмотрим...

Ну, а потом танцевали кадрили, польку и вальсы: Барнум с мадам Момино, Пикколо с прекрасной Мод, атлет Атлант с мадемуазель Жозефин, наездницей-гротеск, мохнатый фотограф Петров с девицей «каучук». Все танцевали. Как цыгане всегда готовы петь, так цирковые любят танцы... люди темпа!

Рассказывали, что во время кадрили мадемуазель Барнум по секрету подарила клоуну колечко с отличным рубином... А рубин, как всем известно, означает любовь внезапную и пламенную...

– Что же? Они, конечно, поженились?

– Ну, уж этого я не знаю... Думаю, что да. Впрочем, в ту пору я был в таком возрасте, что ловил нашего фокстерьера за хвост под столом не нагибаясь.

Время идти в цирк. Оба Джеретти быстро собираются. Синьора Джеретти делает мне большую честь: позволяет донести ее картонку до цирка. Заодно я беру билет на давно знакомое представление. Что поделаешь? И во мне, как в Хохликове, Иване, течет пензенская кровь.

Ю-Ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вдохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высидывают поочередно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного

корыта, – по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он – хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем – гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька – сзади. Ну, ее просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусятая – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки-таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее – трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребьячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и выдает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно, если только она в хороших, понижающих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом и дикого зверя залягает. А если чумазый ребяенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, – первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук: «Муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она прыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, – и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здраванья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка – рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копаются, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее – всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги – здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап – четвертая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянув шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутивого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки, и те не лают: заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на стиле, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною у правой руки пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно...

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безногая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учливой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за

двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединиться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтой. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно – почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животное – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравнилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошачьего поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошачьему уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крикнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты ждут.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

Пуделиный язык

Семья Мурмановых жила уже шесть лет в Париже, выплеснутая туда гражданской войной. Она состояла всего из двух человек: мужа и жены; детей им судьба не послала. Они очень обрадовались, когда, в начале седьмого года, собралась, после долгих письменных уговоров, и, наконец, в самом деле приехала к ним в Париж сестра Евгении Львовны, Ирина, с шестилетней дочкой, Кирой.

Кирочка сначала дичилась в новой, чужой и непонятной для нее обстановке. Была она похожа на хорошенького дикого зверька, вроде ласки или горностаюшки, впервые вылезшего из родного дома на огромный свет божий. И любопытно, и забавно, и страшно. Зоркие глазки жадно смотрят, острые ушки чутко слушают, маленькое тельце дрожит от волнения. Но чуть раздается скрип, чуть мелькнет тень – зверек свернулся и уже готов юркнуть в норку.

Дети каждый день растут, каждый день меняются и каждое утро просыпаются новыми людьми.

Кира весьма скоро огляделась, освоилась и обвыкла. Характер у нее был живой, предприимчивый, открытый и смелый. А тут еще у нее нашелся такой легкий товарищ, союзник и затейник, как дядя Аркадий: лучшего ей было не сыскать.

Ее мама пожимала плечами и говорила в нос:

– Нет, Аркадий, ты мне Киру вконец испортишь. Пожалуйста, не смейся. Я серьезно. Тебе не шесть лет, и ей не сорок, чтобы проказить вместе по целым дням!

Была она женщина высокого роста, строгая, рассудительная. Все рассчитывала и знала наперед. Как сказала, что приедет на полгода, так и прожила в Париже полгода, а потом уехала обратно в Россию. Там, видите ли, у нее осталось много дорогого: рояль, арфа, ноты, давние знакомства, любимый город, привычная квартира... Совсем ничего в ней не чувствовалось общего с младшей сестрой. Та вся состояла из доброты, ласки и очаровательной лени...

Дядя Аркадий и Кира не только тесно и нежно подружились, но от материнских выговоров стали как бы заговорщиками. Свой у них образовался язык, свои маленькие секреты, пожалуй, своя особая жизнь.

Ну, разве взрослые могли бы догадаться, что в этом милом и смешном союзе дядя Аркадий Васильевич потерял не только свое имя и отчество, но даже и родственное звание дяди? Для них двух, исключительно для них, он носил загадочное имя – Феофан.

Началось это с того, что однажды Аркадий прочитал девочке какие-то детские стишки. Они понравились. Прочитали еще раз и еще. Там, между прочим, были две смешные строчки:

С Феофаном шутки плохи:
Он не любит, если блохи.

Эти две строчки остались в памяти и так часто повторялись вслух, что взрослые вышли, наконец, из терпения.

– Да оставьте вы вашего дурацкого Феофана в покое. Надоели.

Но однажды, когда два друга, после обеда, сидели в своем любимом, уютном уголке, на широчайшем кожаном диване в гостиной, Кира вдруг вытаращила глаза – черные бусинки – и спросила:

– А почему он не любит, если?..

– Не знаю. Такой уж он непонятный человек.

– А ты его видел?

– Каждый день вижу.

– Где?

- У нас дома.
- А я его видела?
- Всегда видишь.
- А теперь?
- И теперь.

Кира закусила нижнюю губку. Потом спросила доверчивым шепотом:

- Скажи, может быть, ты сам и есть Феофан?

Дядя нагнулся совсем близко к ее маленькому ушку и еле слышно шепнул:

– Да, Кирочка. Это я – Феофан. Только «им» не надо знать. Пусть это будет между нами тайна. Понимаешь?

Черные глаза девочки засияли от восторга.

- Да, да. Никому! Никогда. А ты мне позволишь звать тебя потихоньку Феофаном?
- Хорошо. Зови. Но только помни...
- О да! Мы потихоньку... От них секрет?
- Страшный секрет.
- Страшный?
- Да.

Новоявленный Феофан высоко поднял брови и низко опустил их.

- Ах, мой милый, собственный Феофан! Дай, я тебя крепко поцелую. Вот так.

Что за прелесть, когда между двумя друзьями, большим и маленьким, есть тайна, да еще и страшная. Чудо! Для всего света они были Аркадий Васильевич и Кира и лишь только наедине – Кира и Феофан.

Таких дружеских интимных делишек у них водилось много, и обоим им от них было удовольствие и радость. Точно жили они, совсем отгородившись от взрослых. Но самым увлекательным было то время, когда они научились говорить на языке черных пуделей!

Каждый день перед завтраком они ходили вдвоем гулять по аллеям и холмам того большого сквера, который разбит у подножия театра Трокадеро. На обратном пути заходили в магазины. Иногда покупали на улице дешевые, но пресмешные парижские игрушки или воздушный шар.

Каждый раз, выходя на прогулку, они заставали против ворот на мостовой старенькую зеленщицу. У нее была небольшая ручная тележка, нагруженная капустой, салатом, пучками моркови, свеклы и порея, связками петрушки. К тележке сбоку был обычно привязан большой лохматый черный пудель. Он яростно лаял, кидаясь на всех проходящих, после отдышал, стоял, умильно шуря глаза, дрожа высунутым красным языком и часто дыша, а потом опять принимался лаять. Когда же зеленщица перевозила свою тележку с места на место, пудель влезал грудью в постромку и изо всех своих собачьих сил помогал хозяйке.

– Милый Феофан, – сказала однажды Кира, глядя на собаку. – Я догадалась, почему пудель так лает. Он голодный и просит покушать.

– Возможно. Давай, пойдем на кухню, посмотрим для него чего-нибудь, – согласился Феофан.

Нашли кусок вчерашнего пирога с мясом. Снесли на улицу и дали пуделю. Собака вмиг его проглотила и в знак благодарности залаяла отчаянно-весело.

Так у них с этого дня и повелось: идя на прогулку, непременно захватить с собою угощение для собаки. Старушка этому не препятствовала. Как-то даже сказала Кире:

- Приласкайте его, малютка. Он очень добрый и умный.

Кира погладила пуделя. Он запрыгал на цепи и завизжал от восторга.

Случилось, что Мурманов был занят срочным делом и гулять с Кирой ему было некогда.

– Как же так, – протянула Кира надутым голосом, прижимаясь к дяде. – Как же так, Феофан? Ведь пудель на нас обидится.

– Не могу, никак не могу, Кирочка... Впрочем, ты, когда пойдешь гулять с горничной, так возьми на кухне какую-нибудь косточку и снеси ему. Кстати, и от меня поклонись.

– Мне одной неловко, без тебя, Феофан!

– Иди, иди, милая девочка... Я не могу оторваться от работы...

Через два часа, погуляв, Кира вернулась домой. Дядя окончил занятия и ждал ее.

– Ну, что, Кира? – спросил он. – Отдала косточку?

– Да, Феофан. Он был очень доволен.

– Что же он сказал?

– Он сказал... Знаешь, Феофан, он ничего не сказал.

– Ни слова?

– Ни слова.

– Как же это так? Странно.

– Правда, странно.

– Н-да. Удивительно. Что же он делал?

– Ничего. Только хвостом помахал.

– Ага! Хвостом? Да это же и есть, Кира, пуделиный разговор. Пудели только хвостом и разговаривают.

– Хвостом? Правда, Феофан?

– Истинная правда. Ну, покажи-ка, как он сделал хвостом?

Кира быстро прочертила в воздухе указательным пальцем три длинные линии.

– Так, так и так.

Феофан обрадовался и захохотал.

– Как же ты не поняла, Кирочка? Это значит: благодарю тебя, Кира.

– А потом он еще замахал. Так, так, так, так и так.

– Очень просто: передай от меня поклон Феофану.

– Ах, как прекрасно! Феофан, а я умею говорить по-пуделиному?

– Умеешь, Кирочка. «Они», конечно, не умеют, а мы с тобой будем свободно разговаривать.

– Да? В самом деле? Ужасно хорошо! Ну, вот, например, что я сейчас сказала?

Она с увлечением начертила в воздухе несколько невидимых линий.

– Очень ясно: «Феофан, принеси мне сегодня вечером шоколадок». Верно?

– Не совсем, Феофан. И эклерку.

– Ах, правда, ошибся. Шоколадок и пирожное эклер.

– Вот, это так. А теперь скажи ты что-нибудь.

– Изволь. Раз, два, три, четыре. Поняла?

– Поняла. Это значит: «будем всегда говорить по-пуделиному, а нас никто из „них“ не поймет».

– Да. Ну, однако, пойдем завтракать, Кира, а то «они» рассердятся...

С тех пор и вошел у Феофана с Кирой в моду пуделиный язык. Оказалось, что на нем было говорить гораздо удобнее и приятнее, чем на человеческом, а главное, этот язык богаче, чем человеческое слово. На нем было возможно передавать вещи, совсем недоступные человеческим средствам.

Взрослые скоро обратили внимание на эти таинственные беззвучные переговоры.

Раз за обедом Ирина Львовна сказала в нос:

– Аркадий и Кира, что это вы все тычете пальцами в воздух? Что за новое дурацкое занятие?

Аркадий, под очками, широко и удивленно раскрыл глаза.

Кирочка же сказала, сделав губки трубочкой:

– Я ничего, мама, я так себе, играла только.

И она обменялась с Феофаном быстрым лукавым взглядом.

Тетя Женя добродушно рассмеялась.

– Я на днях возвращалась домой и вдруг вижу картину. Стоят они оба, Аркадий и Кира, перед собакой... Знаете, тут у зеленщицы есть такой черный пудель? Стоят и делают пальцами какие-то заклинания. Я подумала, уж не с ума ли они оба сошли, или, может быть, разговаривают на собачьем языке?

Но Кира возразила с усиленной наивностью и с упреком:

– Тетя Женя, разве же пудели разговаривают? Как тебе это в голову пришло?

И опять два мгновенных, искрящихся смехом взгляда.

– Аркадий, Аркадий, – вздохнула Ирина Львовна. – Совсем ты мне испортил вконец мою Киру. Что я с ней буду делать в Петербурге?

Твердый был характер у Ирины Львовны, а слово ее – крепче алмаза. Как порешила покинуть Париж поздней осенью, так и стала в начале октября собираться в дальнюю дорогу. Ни милое гостеприимство Мурмановых, ни уговоры Аркадия Васильевича, ни просьбы тети Жени, ни Кирочкины слезы не переломили ее сурового решения. Вышло даже так, что уехала она с Кирой на три дня раньше, чем сама назначила. Причиной этой спешки был все тот же удивительный пуделиный язык.

Приехала однажды к Мурмановым очень важная знакомая барыня, Анна Викентьевна (для нее нарочно были заказаны к обеду устрицы, лангусты, дичь и цветы. Она любила изысканный стол). Была эта дама очень, даже чрезвычайно полна (Кирочке все хотелось обойти ее кругом: сколько выйдет шагов, – но не осмелилась). На груди у нее не висела, а лежала, как на подушке, большая брошка из синей эмали с золотом. Когда Анна Викентьевна говорила, то брошка подпрыгивала у нее на груди, а говорила она много, быстро, громко, без передышки и других не слушала.

За обедом Кире было скучно: говорила дама все про взрослое, про неинтересное. Потом она обиделась: Феофан, против обыкновения, совсем не уделял ей внимания. Он не отводил глаз от Анны Викентьевны и только в такт ее речи то кивал, то покачивал, то потряхивал головой, выражая то удивление, то сочувствие, то согласие. А Кире уже давно не терпелось задать ему один очень важный и неотложный вопрос и, конечно, на пуделином языке. Поэтому, пользуясь редкими секундами, когда лицо Феофана случайно обращалось в ее сторону, Кира принималась быстро чертить пальцем ломаные линии, но из осторожности делала это в самом уменьшенном виде, на пространстве между носом и подбородком.

И вдруг, позабыв всякую сдержанность, она сказала громко, с огорчением и упреком:

– Да дядя же Аркадий! Я тебе все говорю, а ты все не видишь. Смотри! – И она проворно начертила: – Раз, два, три, четыре, пять.

– Оставь, Кирочка, – отмахнулся рукой Мурманов. – Потом когда-нибудь. Теперь я ничего не понимаю. И не время.

Кирочка потеряла душевное равновесие и точно с горы покати́лась:

– Нет, время! И ты отлично понимаешь. Я тебя спрашиваю: почему у этой толстой тети на груди прицеплена синяя тарелочка? Чтобы ей суп не капал на платье? Да?

Все замолкли, опустив глаза на скатерть. Наступила тишина. Наконец, Анна Викентьевна сказала необычайно нежным, но дрожащим голосом:

– Какая милая девочка! Какая острая и воспитанная! Она у вас далеко пойдет.

При этом лицо у нее было цвета темного кирпича.

Обед закончился не особенно весело, и после него дама очень скоро уехала. Ну, и попало же обоим – и дяде и племяннице – от Ирины Львовны за пуделиный язык! Дядя Аркадий был умный и хитрый: он все помалкивал, а Кира сорвалась и нагрубила:

– И ничего я дурного не сделала. С подвязанной тарелкой вовсе удобнее, чем с салфеткой, а дама твоя глупая, толстая и противная. Вот тебе!

На это последовал краткий военный приговор:

– В угол носом. Марш!

И рука мамы, с вытянутым пальцем, указала место наказания.

– И пойду! – отрезала Кира, мотнув стриженной головенкой. – А твоя дама – дура!

В гостиной, между шкафом и любимым кожаным диваном, где стояла «в угол носом» Кира, было полутемно, свет проникал туда из столовой. Неразборчиво доносились до Киры из тетиной комнаты голоса старших: сердитый мамин, спокойный дяди Аркадия, лениво-ласковый тети Жени. Потом взрослые затихли. Чьи-то осторожные шаги послышались в гостиной. Подошел дядя Аркадий и молча стал рядом с Кирой, которая уже успела наплакаться.

– Что, Феофан? – прошептала девочка.

– Да вот, пришел постоять с тобою в углу носом. Обое мы виноваты: и я и ты.

Кира глубоко, в несколько раз, вздохнула, как всегда вздыхают дети после слез.

– Мама очень сердитая?

– Нет, ничего. Отошла. Только, вместо субботы, собирается ехать завтра.

Девочка просунула ручку под дядин локоть и прижалась к нему.

– Мне жалко тебя, Феофан. Мне тебя очень жалко. Давай в последний раз поговорим попуделиному. Ну, смотри, что я написала на стенке?

– Знаю. «Феофан, ты обо мне будешь всегда помнить?»

– Верно. Теперь ты пиши...

– Зачем писать? Ты и так знаешь, что никогда не забуду.

– Ну, будет вам, дети, шушукаться, – послышался сзади спокойный голос Кириной мамы. – Идите на воздух, прогуляйтесь немного. Завтра рано вставать.

Так и уехала Кира, славная девочка, буйная голова, доброе сердце, знаток пуделиного языка. Дядя Аркадий очень был огорчен разлукой, но держался крепко, как настоящий мужчина. Только осунулся и побледнел немного.

Спустя некоторое время встретился он на улице с одним своим приятелем. Встречи их в громадном Париже были редки, но радостны для обоих. Как и всегда бывало в этих случаях, зашли они в испанскую бodega (род маленького трактира) и спросили себе по рюмке хереса. И еще у них было привычное обыкновение: подготавливать друг для друга редкие строки из неисчерпаемого Пушкина, которого они оба любили всей душой.

Приятель Мурманова читал торжественным голосом:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят:
Стамбул заснул перед бедой.

Но тут и обожаемый Пушкин не помог, и душевный разговор не вязался.

Уже настало время проститься. Замолчали. И вдруг Мурманов голосом, проникнутым глубокой печалью, произнес:

– Бедный я, одинокий я Феофан!

Приятель поднял голову. В голубых глазах Мурманова, под стеклами, дрожали слезы.

– Аркадий Васильевич, милый, что с вами?

Вот тут-то Феофан и рассказал мне всю эту историю, которую, в неполном и несовершенном виде, передаю здесь.

Синяя звезда

Давным-давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделенный от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад взобрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо, чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга.

Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с ее кротким народом, умеренно теплым климатом, вкусной водой и плодородною землею, и они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было ее покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны. Все завоевание заключалось в том, что железные рыцари сняли свои тяжелые доспехи и поженились на местных красивейших девушках, а во главе нового государства поставили своего предводителя, великодушного, храброго Эрна, которого облекли королевской властью, наследственной и неограниченной. В те далекие наивные времена это еще было возможно.

Около тысячи лет прошло с той поры. Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрестные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в наружности: внешний образ древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнотеррским обличьем и растворился в нем. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий. Память об Эрне Первом, Эрне Великом, Эрне Святом осталась навеки бессмертной в виде прекрасной, неувыдающей легенды, сотворенной целым народом, подобной тем удивительным сказаниям, которые создали индейцы о Гайавате, финны о Вейнемейнене, русские о Владимире Красном Солнышке, евреи о Моисее, французы о Шарлемане.

Это он, мудрый Эрн, научил жителей Эрнотерры хлебопашеству, огородничеству и обработке железной руды. Он открыл им письменность и искусства. Он же дал им начатки религии и закона; религия заключалась в чтении Господней молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один: *в Эрнотерре никто не смеет лгать*. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стерты с первого дня вступления на престол. Сам король носил лишь титул «Первого слуги народа».

Эрн Великий также установил и закон о престолонаследии, по которому наследовали престол перворожденные: все равно будь это сын или дочь, которые вступали в брак единственно по своему личному влечению. Наконец он же, Эрн Первый, знавший многое о соблазнах, разврате и злобе, царящих там, внизу, в покинутых им образованных странах, повелел разрушить и сделать навсегда недостижимой ту страшную горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина.

И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнотерра и зажила невинной, полной, чудесной жизнью, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет.

В старом тысячелетнем королевском замке еще сохранились, как память, некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну Первому: его латы, его шлем, его меч, его копье и несколько непонятных слов, которые он вырезал острием кинжала на стене своей охотничьей комнаты. Теперь уже никто из эрнотерранов не смог бы поднять этой брони хотя бы на дюйм от земли или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв его обеими руками, или прочитать королевскую надпись. Сохранились также три изображения самого короля: одно – профильное, в мельчайшей мозаике, другое – лицевое, красками, третье – изваянное в мраморе.

И надо сказать, что все эти три портрета, сделанные с большою любовью и великим искусством, были предметом постоянного огорчения жителей, обожавших своего первого монарха. Судя по ним, не оставалось никакого сомнения в том, что великий, мудрый, справедливый, святой Эрн отличался исключительной, выходящей из ряда вон некрасивостью, почти уродством лица, в котором, впрочем, не было ничего злобного или отталкивающего. А между тем эрнотерраны всегда гордились своей национальной красотой и безобразную наружность первого короля прощали только за легендарную красоту его души.

Закон наследственного сходства у людей знает свои странные капризы. Иногда ребенок родится непохожим ни на отца с матерью, даже ни на дедов и прадедов, а внезапно на одного из отдаленнейших предков, отстоящих от него на множество поколений. Так и в династии Эрнов летописцы отмечали иногда рождение очень некрасивых сыновей, хотя эти явления с течением истории становились все более редкими. Правда, надо сказать, что эти уродливые принцы отличались, как нарочно, замечательно высокими душевными качествами: добротой, умом, веселостью. Таковая справедливая милость судьбы к несчастным августейшим уродам примиряла с ними эрнотерров, весьма требовательных в вопросах красоты линий, форм и движений.

Добрый король Эрн XXIII отличался выдающейся красотой и женат был по страстной любви на самой прекрасной девушке государства. Но детей у них не было очень долго: целых десять лет, считая от свадьбы. Можно представить себе ликование народа, когда на одиннадцатом году он услышал долгожданную весть о том, что его любимая ласковая королева готовится стать матерью. Народ радовался вдвойне: и за королевскую чету и потому, что вновь восстанавливался по прямой линии славный род сказочного Эрна. Через шесть месяцев он с восторгом услышал о благополучном рождении принцессы Эрны XIII. В этот день не было ни одного человека в Эрнотерре, не испившего полную чашу вина за здоровье инфанты.

Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявши младенца, сразу покачала головой и горестно почмокала языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула:

– Ах, боже мой, какая дурнушка! – и залилась слезами. Но, впрочем, только на минутку. А потом, протянувши руки, сказала: – Нет, нет, дайте мне поскорее мою крошку, я буду ее любить вдвое за то, что она, бедная, так некрасива.

Чрезвычайно был огорчен и августейший родитель.

– Надо же было судьбе оказать такую жестокость! – говорил он. – О принцах-уродах в нашей династии мы слыхали, но принцесса-дурнушка впервые появилась в древнем роде Эрнов! Будем молиться о том, чтобы ее телесная некрасивость уравнилась прекрасными дарами души, сердца и ума.

То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорожденной инфанты.

Девочка между тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты еще не понимала, то в полной беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была превеселым и прездоровым ребенком. К трем годкам для всего двора стало очевидным ее поразительное сходство с портретами Эрна Великого. Но уже в этом нежном возрасте она обнаруживала свои прелестные внутренние качества: доброту, терпение, кротость, внимание к окружающим, любовь к людям и животным, ясный, живой, точный ум и всегдашнюю приветливость.

Около этого времени королева однажды пришла к королю и сказала ему:

– Государь мой и дорогой супруг. Я хочу просить у вас большой милости для нашей дочери.

– Просите, возлюбленная моя супруга, хотя вы знаете сами, что я ни в чем не могу отказать вам.

– Дочь наша подрастает, и, по-видимому, Бог послал ей совсем необычный ум, который перегоняет ее телесный рост. Скоро наступит тот роковой день, когда добрая, ненаглядная Эрна убедится путем сравнения в том, как исключительно некрасиво ее лицо. И я боюсь, что это сознание принесет ей очень много горя и боли не только теперь, но и во всей ее будущей жизни.

– Вы правы, дорогая супруга. Но какую же мою милостью думаете вы отклонить или смягчить этот неизбежный удар, готовящийся для нашей столь любимой дочери?

– Не гневайтесь, государь, если моя мысль покажется вам глупой. Необходимо, чтобы Эрна никогда не видела своего отражения в зеркале. Тогда, если чей-нибудь злой или неосторожный язык и скажет ей, что она некрасива, – она все-таки никогда не узнает всей крайности своего безобразия.

– И для этого вы хотели бы?

– Да... Чтобы в Эрнотерре не осталось ни одного зеркала!

Король задумался. Потом сказал:

– Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего великого пращура о равноправии полов женщины и мужчины Эрнотерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа королевскому дому и уверены, что он охотно принесет нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издам и оповещу через герольдов указ наш о повсеместном изъятии и уничтожении зеркал, как стеклянных, так и металлических, в нашем королевстве.

Король не ошибся в своем народе, который в те счастливые времена составлял одну тесную семью с королевской фамилией. Эрнотерраны с большим сочувствием поняли, какие delicate мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от веселой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмаченными волосами и с лицами, вымазанными грязью. Но когда народ смеется, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно.

Жертва, принесенная королю подданными, была тем значительнее, что все горные ручьи и ручейки Эрнотерры были очень быстры и потому не отражали предметов.

Принцессе Эрне шел пятнадцатый год. Она была крепкой, сильной девушкой, и такой высокой, что превышала на целую голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании легких тканей, так и в игре на арфе... В бросании мяча не имела соперников и ходила по горным обрывам, как дикая коза. Доброта, участие, справедливость, сострадание изливались из нее, подобно лучам, дающим вокруг свет, тепло и радость. Никогда не уставала она в помощи больным, старым и бедным. Умела перевязывать раны и знала действие и природу лечебных трав. Истинный дар небесного царя земным королям заключался в ее чудесных руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечивала эти недуги. Народ боготворил ее и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткая и нежная Эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась молчаливая жалость, тайное соболезнование...

«Может быть, я не такая, как все?» – думала принцесса и спрашивала своих фрейлин:

– Скажите мне, дорогие подруги, красива я или нет?

И так как в Эрнотерре никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно:

– Вас нельзя назвать, принцесса, красавицей, но, бесспорно, вы милее, умнее и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажет вам и тот человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины, плохие судьи в женских прелестях.

И верно: им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица – ничем она не была хоть отдаленно похожа на женщин Эрнотерры.

Тот день, когда Эрне исполнилось пятнадцать лет – срок девической зрелости по законам страны, – был отпразднован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на

следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзину кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзину на локоть, пошла в горы, мили за четыре, навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили ее. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ею на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От нее не укрылись те взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки. Но ни один такой говорящий взор не останавливался на ней: лишь покорность, преданность, утонченную вежливость читала она в почтительных улыбках и низких поклонах. И всегда этот неизбежный, этот ужасный оттенок сожаления! Неужели я в самом деле так безобразна? Неужели я урод, страшилище, внушающее отвращение, и никто мне не смеет сказать об этом?

В таких печальных размышлениях дошла Эрна до дома кормилицы и постучалась, но, не получив ответа, открыла дверь (в стране еще не знали замков) и вошла внутрь, чтобы обождать кормилицу; это она иногда делала и раньше, когда ее не заставляла.

Сидя у окна, отдыхая и предаваясь своим грустным мыслям, бродила принцесса рассеянными глазами по давно знакомой мебели и по утвари, как вдруг внимание ее привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с ее детством, с девичеством, с первыми шагами любви, с замужеством и с пребыванием во дворце: разноцветные камушки, брошки, вышивки, ленточки, печатки, колечки и другую наивную и дешевую мелочь; принцесса еще с раннего детства любила рыться в этих сувенирах, и хотя знала наизусть их интимные истории, но всегда слушала их вновь с живейшим удовольствием. Только показалось ей немного странным, почему ларец стоит так на виду: всегда берегла его кормилица в потаенном месте, а когда, бывало, ее молочная дочь вдоволь насмотрится, завертывала его в кусок нарядной материи и бережно прятала.

«Должно быть, теперь очень заторопилась, выскочила на минутку из дома и забыла спрятать», – подумала принцесса, присела к столу, небрежно положила укладочку на колени и стала перебирать одну за другой знакомые вещички, бросая их поочередно себе на платье. Так добралась Эрна до самого дна и вдруг заметила какой-то косоугольный, большой, плоский осколок. Она вынула его и посмотрела. С одной стороны он был красный, а с другой – серебряный, блестящий и как будто бы глубокий. Присмотрелась и увидела в нем угол комнаты с прислоненной метлой... Повернула немного – отразился старый узкий деревянный комод, еще немножко... и выплыло такое некрасивое лицо, какого принцесса и вообразить никогда бы не сумела.

Подняла она брови кверху – некрасивое лицо делает то же самое. Наклонила голову – лицо повторило. Провела руками по губам – и в осколке отразилось это движение. Тогда поняла вдруг Эрна, что смотрит на нее из странного предмета ее же собственное лицо. Уронила зеркальце, закрыла глаза руками и в горести пала головою на стол.

В эту же минуту вошла вернувшаяся кормилица. Увидела принцессу, забытую шкатулку, осколок зеркала и сразу обо всем догадалась. Бросилась перед Эрной на колени, стала говорить нежные, жалкие слова. Принцесса же быстро поднялась, выпрямилась с сухими глазами, но с гневным взором и приказала коротко:

– Расскажи мне все.

И показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в ее голосе, что простодушная женщина не посмела послушаться, все передала принцессе: об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о ее трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжелый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал. Плакала кормилица при своем рассказе, рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зеркала в заветном ларце.

Выслушав ее до конца, принцесса сказала со скорбной улыбкой:

– В Эрнотерре никто не смеет лгать!

И вышла из дома. Встревоженная кормилица хотела было за нею последовать. Но Эрна приказала сурово:

– Останься.

Кормилица повиновалась. Да и как ей было послушаться? В этом одном слове она услышала не всегдашний кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то ее грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали тысячу лет над ее народом.

Шла несчастная Эрна по крутым горным дорогам, и ветер трепал на ней ее легкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу, под ее ногами, темнела синяя мгла пропасти и слышался глухой рев водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под ее ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными легкими ногами. А ее бурные чувства, ее тоскливые мысли на этом одиноком пути? Кто их смог бы понять и рассказать о них достоверно? Разве только другая принцесса, другая дочь могучего монарха, которую слепой рок постиг бы столь же внезапно, жестоко и незаслуженно...

Так дошла она до крутого поворота, под которым давно обвалившиеся скалы нагромоздились в грозном беспорядке, и вдруг остановилась. Какой-то необычный звук донесся до нее снизу, сквозь гул водопада. Она склонилась над обрывом и прислушалась. Где-то глубоко под ее ногами раздавался стонущий и зовущий человеческий голос. Тогда, забыв о своем огорчении, движимая лишь велением сердечной доброты, стала спускаться Эрна в пропасть, перепрыгивая с уступа на уступ, с камня на камень, с утеса на утес с легкостью молодого оленя, пока не утвердилась на небольшой площадке, размером немного пошире мельничного жернова. Дальше уже не было спуска. Правда, и подняться обратно наверх теперь стало невозможным, но самозабвенная Эрна об этом даже не подумала.

Стонущий человек находился где-то совсем близко, под площадкой. Легши на камень и свесивши голову вниз, Эрна увидела его. Он полулежал-полувисел на заостренной вершине утеса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки; левая нога его упиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эрнотерры, потому что принцесса ни шелка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, тисненых золотом, никогда еще не видела.

Она звонко крикнула ему:

– Огэй! Чужестранец! Держитесь крепко, я помогу вам.

Незнакомец со стоном поднял кверху бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для нее было и немислимо и бесполезно. Если бы была веревка!.. Высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть?

И вот, точно молния, озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро скинула она с себя свое прекрасное голубое платье, сотканное из самого тонкого и крепкого льна; руками и зубами разорвала его на широкие длинные полосы, ссучила эти полосы в тонкие веревки и связала их одну с другой, перевязав еще несколько раз для крепости посередине. И вот, лежа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила вниз самодельную веревку и радостно засмеялась, когда убедилась, что ее не только хватило, но даже оказался большой запас. И увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие между расщелиной скалы и сосновым стволом, ухитрился привязать конец веревки к своему поясу из буйволовой кожи, Эрна начала осторожно вытягивать веревку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждые неровности утеса и подтягивая кверху свое тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над

краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось вытащить его на ровное место.

Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось, сидя, положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.

– Кто ты, о волшебное существо? – прошептал юноша побелевшими устами. – Ангел ли, посланный мне с неба? Или добрая фея этих гор? Или ты одна из прекрасных языческих богинь?

Принцесса не понимала его слов. Зато говорил ясным языком нежный, благодарный и восхищенный взор его черных глаз. Но тотчас его длинные ресницы сомкнулись, смертельная бледность разлилась по лицу, и юноша потерял сознание на груди принцессы Эрны.

Она же сидела, поневоле не шевелясь, не выпуская его из объятий и не сводя с его лица синих звезд своих глаз. И тайно размышляла Эрна:

«Он так же некрасив, этот несчастный путник, как я, как и мой славный предок Эрн Великий. По-видимому, все мы трое люди одной и той же особой породы, физическое уродство которой так резко и невыгодно отличается от классической красоты жителей Эрнотерры. Но почему взгляд его, обращенный ко мне, был так упоительно сладок? Как жалки перед ним те умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцующих с ними? Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И отчего же так быстро бежит кровь в моих жилах, отчего пылают мои щеки и бьется сердце, отчего дыхание мое так глубоко и радостно? Господи! это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не ропщу на тебя. Но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете!»

В это время наверху послышались голоса. Кормилица, правда, не скоро оправилась от оцепенения, в которое ее поверг властный приказ принцессы. Но едва оправившись, она тотчас же устремилась вслед своей дорогой дочке. Увидев, как Эрна спускалась прыжками со скал, и услышав стоны, доносившиеся из пропасти, умная женщина сразу догадалась, в чем дело и как надо ей поступить. Она вернулась в деревню, всполошила соседей и вскоре заставила их всех бежать бегом с шестами, веревками и лестницами к обрыву. Путешественник был бесчувственным невредимо извлечен из бездны, но, прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей вниз на бечевке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказанию Эрны отнесен во дворец и помещен в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжелых ушибов и вывих руки; кроме того, у него была горячка. Сама принцесса взяла на себя уход за ним и лечение. Этому никто не удивился: при дворе знали ее сострадание к больным и весьма чтили ее медицинские познания. Кроме того, больной юноша, хотя и был очень некрасив, но производил впечатление знатного господина.

Надо ли длинно и подробно рассказывать о том, что произошло дальше? О том, как благодаря неусыпному уходу Эрны иностранец очнулся, наконец, от беспомощности и с восторгом узнал свою спасительницу. Как быстро стал он поправляться здоровьем. Как нетерпеливо ждал он каждого прихода принцессы и как трудно было Эрне с ним расставаться. Как они учились друг у друга словам чужого языка. Как однажды нежный голос чужестранца произнес сладостное слово «амо!» и как Эрна его повторила робким шепотом, краснея от радости и стыда. И существует ли хоть одна девушка в мире, которая не поймет, что «амо» значит «люблю», особенно когда это слово сопровождается первым поцелуем?

Любовь – лучшая учительница языка. К тому времени, когда юноша, покинув постель, мог прогуливаться с принцессой по аллеям дворцового сада, они уже знали друг о друге все, что им было нужно. Спасенный Эрною путник оказался единственным сыном могущественного короля, правившего богатым и прекрасным государством – Францией. Имя его было Шарль. Страстное влечение к путешествиям и приключениям привело его в недоступные грозные горы Эрнотерры, где его однажды покинули робкие проводники, а он сам, сорвавшись с утеса, едва не лишился жизни. Не забыл он также рассказать Эрне о гороскопе, который составил для него

при рождении великий французский предсказатель Нострадамус и в котором стояла, между прочим, такая фраза:

«...и в диких горах на северо-востоке увидишь сначала смерть, потом же синюю звезду; она тебе будет светить всю жизнь».

Эрна тоже, как умела, передала Шарлю историю Эрнотерры и королевского дома. Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приемов тяжелым королевским мечом и нашел, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитавши же надпись на стене, вырезанную Эрном Первым, он весело и лукаво улыбнулся.

– Чему вы смеетесь, принц? – спросила обеспокоенная принцесса.

– Дорогая Эрна, – ответил Шарль, целуя ее руку, – причину моего смеха я вам непременно скажу, но только немного позже.

Вскоре принц Шарль попросил у короля и королевы руку их дочери: сердце ее ему уже давно принадлежало. Предложение его было принято. Совершеннолетние девушки Эрнотерры пользовались полной свободой выбора мужа, и, кроме того, молодой принц во всем своем поведении являл несомненные знаки учтивости, благородства и достоинства.

По случаю помолвки было дано много праздников для двора и для народа, на которых веселились вдоволь и старики и молодежь. Только королева-мать грустила потихоньку, оставаясь одна в своих покоях. «Несчастные! – думала она. – Какие безобразные у них родятся дети!..»

В эти дни, глядя вместе с женихом на танцующие пары, Эрна как-то сказала ему:

– Мой любимый! Ради тебя я хотела бы быть похожей хоть на самую некрасивую из женщин Эрнотерры.

– Да избавит тебя Бог от этого несчастья, о моя синяя звезда! – испуганно возразил Шарль. – Ты прекрасна!

– Нет, – печально возразила Эрна, – не утешай меня, дорогой мой. Я знаю все свои недостатки. У меня слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы, вместо того чтобы быть плоскими или узкими, изогнуты наподобие лука.

Но Шарль целовал без конца ее белые руки с голубыми жилками и длинными пальцами и говорил ей тысячи изысканных комплиментов, а глядя на танцующих эрнотерранов, хохотал как безумный.

Наконец праздники окончились. Король с королевой благословили счастливую пару, одарили ее богатыми подарками и отправили в путь. (Перед этим добрые жители Эрнотерры целый месяц проводили горные дороги и наводили временные мосты через ручьи и провалы.) А спустя еще месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков.

Известно давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Все население великого города Парижа вышло навстречу наследному принцу, которого все любили за доброту, простоту и щедрость. И не было в тот день не только ни одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно, и на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял ее, запечатлел поцелуй на ее чистом челе и сказал:

– Дитя мое, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше: красота или добродетель, ибо обе мне кажутся совершенными...

А скромная Эрна, принимая эти почести и ласки, думала про себя:

«Это очень хорошо, что судьба привела меня в царство уродов: по крайней мере никогда мне не представится предлог для ревности».

И этого убеждения она держалась очень долго, несмотря на то, что менестрели и трубадуры славили по всем концам света прелести ее лица и характера, а все рыцари государства носили синие цвета в честь ее глаз.

Но вот прошел год, и к безмятежному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны, прибавилась новая чудесная радость: у Эрны родился очень крепкий и очень крикливый мальчик. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво:

– Любовь моя! Мне стыдно признаться, но я... я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на моих добрых соотечественников. Или это материнское ослепление?

На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво:

– Помнишь ли ты, божество мое, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном Мудрым на стене охотничьей комнаты?

– Да, любимый!

– Слушай же. Она была сделана на старом латинском языке и вот что гласила: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы; женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им Бог – и те и другие безобразны».

Звериный урок

Сказка

После долгих дней страшной засухи пошли, наконец, благословенные дожди. Леса освежились. Обмелевшие речки и ручейки наполнились живой бегучей сладкой водою. Изнывавшие от жажды лесные дикие звери напились и, кто из них умел и мог, с наслаждением купались в прохладной воде.

Стадо диких слонов однажды вечером возвращалось с водопоя по Великой звериной тропе, протоптанной десятками звериных поколений. Впереди весело бежал разыгравшийся молодой слоненок, пятнадцати лет от роду и ста пудов весом.

Вдруг он остановился, услышав чей-то ворчливый голос, раздававшийся из-под его ног. Это говорил муравей, тащивший на себе обломок прошлогодней веточки.

– Ослеп ты, что ли, огромный кусок мяса? Уж эти мне молодые слоны, вечно суются под ноги.

Слоненок от удивления выпучил маленькие красные глаза, насторожил уши и продолжал стоять. Но шедшая сзади старая мать-слониха закричала на него:

– Или ты оглох? Извинись скорее и сойди с тропы.

– Прости, старший брат мой, – пробормотал сконфуженный слоненок, осторожно сходя с дороги.

Муравей ничего не ответил. А молодой слон, уждав время, когда слониха опять пришла в доброе расположение духа, спросил ее учтиво:

– Скажи мне, о мать моя, почему же он такой сердитый?

И мать объяснила ему:

– Он тащил на себе такую тяжесть, что если бы ее увеличить во столько раз, во сколько ты больше, тяжелее и глупее муравья, да положить эту тяжесть на тебя, то она расплющит тебя так же легко, как – смотри – я давлю ногою этого скорпиона.

Инна

Рассказ бездомного человека

Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с масляными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым запахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки.

Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древневеселые: трам, трам, тра ля ля. И все смеялись: смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех, на чужое веселое празднество.

Ее звали Инна. Это потом, по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла – вовсе не женские, а, наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что по моей молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в будущем я никак уж не гожусь в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. Что же мне было делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно втираться в дом, где оказался лишним?

Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попадать в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секундочку увидеть ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня, – я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, сквозные, разлетистые брови, с пушком на переносице. Тогда мне стыдно стало, что я ее преследую, вопреки ее желанию, и я перестал.

Однако каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых Пасх приходил в ее любимую церковь – Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения. Я ведь был тогда очень верующим и всегда умилялся над одним из пасхальных песнопений:

Воскресения день
И просветимся торжеством,
И друг друга обымем,
Рцем, братие,
И ненавидящим нас
Простим...

Да! Еще издалека-издалека я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее пасхальный поцелуйчик? Хотя мнилось мне порою, что какая-то складка жалости трогала ее розовые уста.

Так и в эту святую ночь, выждав время, стал я на Десятинной паперти, подождал и дождался.

Встретились мы с ней глазами... Испугался я вдруг и как-то сам себе стал противен со своей назойливостью. Повернулся и пошел, куда глаза глядят.

Взобрался я, помню, по длинной плитяной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого, очень крутого обрыва, на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церковей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине белела еще не тронувшаяся река, с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу, точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких, глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

Вдруг я услышал торопливые и легкие шаги. Обернулся – вижу, идет стройная женщина. «Ну, – думаю, – должно быть, любовное свидание, надо уходить», – и поднялся со скамейки.

И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала облилось кипятком, а потом запрывало. Инна!

– Пойдите! Куда вы? – говорит она и немного задыхается. – Как вы скоро шагаете, я за вами бегу от самой Десятинной церкви. Но, во-первых, Христос воскрес.

Я едва успел снять шляпу. Она трижды истово поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладила руками мою щеку.

– Сядем, – сказала она. – У меня времени совсем чуть-чуть. И так боюсь, что дома уже беспокоятся. А я хочу вам очень много сказать. Судите меня, но и простите.

И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происходила на свете.

В ту самую пору, когда я еще был вхож в Иннин дом, где меня как будто бы охотно терпели, существовал у меня дружок, самый закадычный – Федя. Мы даже долго жили в одной комнате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива – все пополам. Никаких секретов друг от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорытна и внимательна дружба, а кроме того, друг – он же и наперсник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с этим Федей я делился всеми милыми, сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры, очаровательные, многозначительные лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки: совершенно детские наивные записочки о дне пикника в Борщаговке или Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде.

И вдруг Федя съезжает внезапно из наших мебелишек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз... Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полуслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их как ненужные клочки в мусор; я даже и в мусоре рылся, но напрасно.

И вот вдруг Инна получает письмо, не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подпись же внизу, чернилами, безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто, от нечего делать, шутил, подделывал мое факсимиле.

Текст письма был самый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами и над всей ее семьей. Но подпись, подпись была совершенно моя. А кроме

того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые при всей их детской чистоте и невинности были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней.

Зачем он это сделал – понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспричинную пакость. В ту пору мне и показали на дверь. Кого я мог тогда винить?

Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия, сначала в Одессе, а потом, недавно, в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины записочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно: профессиональные преступники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего рода болезнь, вроде мании величия.

Следователь, друг семьи, изъял из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном материале нашлось достаточно данных, чтобы закатать Федьку на три года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимном письме, подписанном моим именем.

Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сторбившись на скамейке, а она участливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу, я же целовал ее руки.

– А вот теперь, – продолжала она, – я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но три года, целых три года обиды, огорчения и недоверия, испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, никогда я в жизни не забуду того, как вы были мне верны, несмотря на незаслуженное вами страдание. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом и сестрой.

Мы поцеловались еще раз.

– Не трудитесь провожать меня, – сказала она. – И помните: во всяком горе, нужде, несчастье, болезни – мы самые близкие родные.

Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною.

Тень Наполеона

– Как вам сказать, – отчасти вы правы, а отчасти нет. Видите ли: истина, как мне кажется, всегда лежит не в крайностях общественного мнения, а где-то поближе к середине.

Это, конечно, верно, что бывали губернаторы, как будто живьем вытащенные из щедринских «помпадуров». Не отрицаю этого. Однако справедливость никогда не мешает. Можно назвать имена и таких губернаторов, которые в своих так называемых «сатрапиях» делали искренние попытки проявить энергичную творческую деятельность. Не все же екатерининские картонные декорации и бутафорские пейзажи. Но опять-таки скажу, что порою самому прямому и честному губернатору никак нельзя было обойтись без бутафории.

Да, вот скажу про себя самого.

Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.

Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать, как бытовое явление.

Представьте себе – я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я – сатрап, я – диктатор, я – конквистадор, я – гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью в отраслях: военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно – не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушения. Воистину – Божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я – человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора.

Но вот, теперь о бутафории.

Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя годовщина славного Бородинского боя.

Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили праздновать этот великий день на месте сражения и с наипушим торжеством.

Это было еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там, наверху, всегда обязательно перестараятся. Так оно и случилось.

Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на бородинских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном сражении, а также просто древних старожил, которые имели случай видеть Наполеона.

Проект этот был, во всяком случае, не хуже и не лучше такого, например, проекта, как завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь по крайней мере сто двадцать лет. Однако в Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовольствием.

Вот по этому-то поводу и приехал ко мне однажды генерал Ренненкампф, тот самый знаменитый курляндский вождь исторического рейда во время японской кампании. Огненный взгляд, звенящие шпоры, быстрая лаконическая речь, вспыльчивость и – рыцарь перед дамами.

– Ваше превосходительство, – сказал он мне, – я объездил всю Ковенскую губернию, показывали мне этих Мафусаилов – и, черт! – ни один никуда не годится! Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти! Но как же, черт возьми, мне без них быть. Ведь для них же – черт! – уже медали чеканятся на монетном дворе! Сделайте милость, ваше превосходительство, выручайте! На вас одного надежда. Ведь в вашей Сморгони Наполеон пробыл несколько дней. Может быть, на ваше счастье, найдутся здесь два-три таких глубоких – черт! – старца, которые еще, черт бы их побрал, сохранили хоть маленький остаток памяти. Вовеки вашей услуги не забуду!

Я как администратор не мог ему не посочувствовать. Заявил:

– Ваше превосходительство, Павел Карлович, от души вхожу в ваше положение. Даю слово: сделаю все, что смогу. Кстати, есть у меня один такой исправник, для которого, кажется, не существует ничего невозможного.

Генерал обрадовался, жал мне руки, разливался в признательности.

– Теперь я за вами как за каменной горой. А исправнику скажите, что я его из памяти не выброшу.

Проводив Ренненкампфа, вызвал я к себе исправника, по фамилии Каракаци. Он вовсе не был греком, как можно было бы судить по его фамилии. Не без гордости любил он рассказывать, что по отцу происходит от албанских князей, а по матери сродни монашеским Гримальди. И правда, было в нем что-то разбойничье.

Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап – уездный исправник.

И обладал он стремительностью в шестьсот лошадиных сил. И такой же изобретательностью.

Передал я ему мой разговор с генералом. Он весь как боевой конь.

– Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырою. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариканов доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

– Нет уж, – говорю ему, – вы уж лучше без лишнего усердия. Довольно нам будет и Наполеона.

– Слушаю, ваше превосходительство!

И улетел.

Всегда казалось, что он не ходит и не ездит, а летает. Такой он был быстрокрылый.

А через полмесяца получаю я от Ренненкампфа телеграмму лаконическую, в его характере, только без обычных «чертей»:

«Спасибо. Старик конфета. Приезжайте. Жму».

Последнее слово должно было, вероятно, означать «жду», но телеграфист перепутал.

Я поехал, прихватив с собой на всякий случай Каракаци.

Ах! одна эта поездка в сопровождении чудотворного исправника составила бы толстый юмористический сборник.

Например. Подъехали мы к какой-то речонке, к месту, где должен был находиться паром. Но речонка разлилась, паром сорвало и снесло по течению. И путь наш был прерван на неопределенное время.

Но Каракаци не теряется. Он, кажется, не потерялся бы ни в пампасах, ни в льяносах, ни в северной тайге. Кто знает, может быть, только по ошибке природа не сделала его знаменитым путешественником или ковбоем.

Мы едем вдоль берега версты две-три. Находим рыбачий челн и, отослав назад лошадей, переправляемся через реку.

Но тут – другая беда: нет никакого экипажа. Рыбаки говорят, что самое близкое жильё, где можно достать телегу, отстоит на десять верст. А уже наступают сумерки.

Но вдруг зоркий взгляд следопыта Каракаци замечает под прибрежными косматыми ивами допотопную еврейскую балагулу, тот древний длинный фургон с круглым верхом, в котором евреи разъезжали по местным базарам в количестве десяти-пятнадцати человек.

Вскоре я слышу довольно крупный разговор, в котором перекликаются теноровые голоса евреев с рокочущим баритоном Каракаци. С каждой минутой спор делается все громче. Евреи не хотят уступать балагулы. У них свой путь и свои срочные коммерческие дела.

Я вовремя вспомнил о своем сане и лежащих на мне обязанностях: не я ли должен исследовать причину всякого народного волнения и предпринять все меры для его прекращения.

Приближаюсь и на ходу спрашиваю с ласковой внушительностью:

– В чем дело, друзья мои, что случилось?

Но Каракаци поспешно выступает мне навстречу:

– Ваше превосходительство, не извольте беспокоиться. Это благодарное население, которое собралось здесь, чтобы выразить вам свою признательность.

Ничего не поделаешь: пришлось сделать исправнику легкое внушение, а с пассажирами балагулы вступить в любовную сделку. Конечно, они запросили колоссальную, по их масштабам, сумму – полтора рубля, и мы простились самым любезным образом.

Великолепен был и наш торжественный въезд в уездный город Сморгонь. До конца жизни не забуду!..

Ритуал прибытия губернатора был установлен столетиями. И в нем никогда не делалось никаких изменений. Обычно исправник встречал начальника губернии на городской границе, рапортовал ему о благополучии, подсаживал его в коляску или в другой почетный экипаж, а затем мчался впереди, стоя на легкой пролетке, полуобернувшись лицом к высокой особе, в героической позе.

Но когда мы вылезли из нашего доисторического фургона на базарной площади, то оказалось, что площадь совсем пуста. Не только никакой кареты, коляски, или ландо, или хотя бы извозчика – даже ни одной телеги нет. Что делать?

Однако Каракаци всегда на высоте.

– Прошу великодушного прощения, ваше превосходительство! Все из-за проклятого паром! Извольте подождать одну минуту! Я сейчас!

Ровно через пять минут передо мною выросла славная рослая пегая лошадь, впряженная в лакированную одиночку («эгоистка» – так звали раньше этот экипаж). Впереди сидел франтоватый кучер, опоясанный красным тугим поясом. С сиденья легко спорхнул Каракаци.

– Пожалуйста, ваше превосходительство! Извиняюсь за столь домашний выезд. Обстоятельства бывают – увы! – сильнее человека! Эй, кучер! В Лондонскую гостиницу! Жива!

Я по человеколюбию произношу:

– Да садитесь же, поедem вместе.

Но поздно. Я уже подхвачен доброй рысью пегашки.

И вот только я выезжаю на длинную Санкт-Петербургскую улицу, где проложены узенькие рельсы, как наш путь пересекает картина подлинно из Апокалипсиса. Во весь дух мчится

конка. Впереди – верховой мальчик-форейтор, орущий пронзительным дискантом. Вожатый бешено нахлестывает пару кляч. Клячи несутся даже не галопом, а каким-то диким карьером, расстилая животы по земле. Вагон, как пьяный, шатается из стороны в сторону, а в вагоне, как неодоушевленные бревна, катаются туда-сюда пассажиры. На задней же площадке – о чудо – в классической обер-полицмейстерской позе стоит задом к движению, рука под козырек, исправник Каракаци. И все это кошмарное видение, перегоняя нас, исчезает в облаке пыли...

Только что я остановился у подъезда гостиницы «Лондон», как по лестнице скатывается изумительный Каракаци.

– Ваше превосходительство, имею честь доложить, что во вверенном мне уезде все обстоит благополучно!

На другой день, после завтрака у Ренненкампфа, мы отправились поговорить с тем замечательным старцем, которого генерал с таким удовольствием называл «конфетой». Нас сопровождало значительное общество: местные учителя, члены городской ратуши, гарнизонные офицеры и т. д.

Старик сидел на завалинке (она там называется «присьба»).

При виде нас он медленно встал и оперся подбородком на костыль. Он был уже не седой, а какой-то зеленый. Голова у него слегка тряслась, а голос был тонкий. Впоследствии мы узнали, что он – из староверов.

Начался экзамен.

– Ну-ка, дедушка, рассказывай, – громко и бодро приказал Ренненкампф.

– Да что же рассказывать-то, – точно по складам зашептал старик. – Стар я, забыл, почитай, все.

– А ты, дедушка, вспомни, постарайся! – еще громче сказал Ренненкампф. – Вот говорят, что Отечественную войну помнишь? Наполеона видел?

– Наполеона? Как же, батюшка, видел, видел. Вот как тебя вижу, совсем близехонько.

– Ну, вот ты нам про него и расскажи. Ты не бойся, тебя начальство отблагодарит. Ну, как же ты его видел, Наполеона-то?

– Как видел? А тут вот, тут видел, где гумно. Там тогда хата стояла новая. С балконом хата. А на том балконе стоял Наполеон. А я тут же стоял под крыльцом. Конечно, маленький я был, совсем мальчишка, мало понимал еще. Шесть лет тогда мне было. Значит, Наполеон стоял, а мимо него все войска шли. Все войска, все войска, все войска. Ужасно как много войсков! А потом он по ступенькам-то вниз сошел и меня рукой по голове погладил и сказал мне что-то по-французски, совсем непонятно: «Хочешь, мальчик, поступить в солдаты?»

Старик говорил с большим трудом и точно стонал после каждого слова. Порою его было не слышно.

– Ну, дедушка, а как он был одет, Наполеон-то?

Старик сначала оглянул толпу, точно кого-то разыскивая мутными глазами, потом сказал не особенно уверенно:

– Одет-то был как? Да обыкновенно одет: серенький сюртучишко на нем и, значит, шляпа о трех углах. А больше никак не был одет.

– Прекрасно! Восхитительно! – воскликнул Ренненкампф, разводя руками. – Великое спасибо, ваше превосходительство. Молодец, молодец, господин исправник! Не забуду! С таким изумительным стариком мы в грязь лицом не ударим. Не правда ли, ваше превосходительство?

Но тут лукавый подтолкнул начальника городского училища. Такой он был худощавый, как-то скривленный набок и козелковатая бородка.

– Ваше превосходительство, – обратился он к Ренненкампфу. – Я, как педагог... исторический момент... редчайший случай... прошу разрешения задать один вопрос.

– Пожалуйста, пожалуйста, – великодушно разрешил Ренненкампф.

– Дедушка, – крикнул старику в ухо педагог. – Не можешь ли ты сказать нам: какой из себя был император Наполеон?

– Чего это? – переспросил старик.

Тут пришел на помощь сам Ренненкампф. Он сказал своим резким командирским голосом:

– Ты скажи нам – какой был Наполеон наружностью? Большого роста или маленького, толстый или худой? Вообще какой он был из себя?

Тут случилось что-то странное. Старик на мгновение точно оживился и даже немного выпрямился. Он откашлялся, и голос его стал тверже и яснее.

– Какой он был-то? – произнес он. – Наполнен-то? А вот какой он был: ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишком, а борода – по самые колени и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы, у десяти человек головы с плеч долой! Вот он какой был! Одно слово – ампирагырь!

Что тут произошло, трудно описать.

– Это безобразие! – рявкнул Ренненкампф так страшно, что у всех присутствующих подогнулись ноги, а храбрый потомок Гримальди побледнел и пошатнулся.

И много еще прошло времени, пока сердитый генерал не излил свой гнев. Но потом все-таки успокоился.

– Ничего, – сказал он, – мы его еще натаскаем. Времени впереди много. А без старика – никак не обойдешься. Господин исправник, вы ему репетитор, вы и будете в ответе!..

Тут грозный генерал не договорил и лишь выстрелил в Каракаци огненным лучом своего взгляда, пронзив его насквозь, а потом, обернувшись ко мне и вытирая платком лоб, Павел Карлович воскликнул решительно:

– Ну уж если эти петербургские господа вздумают к трехсотлетию дома Романовых откапывать современников, то, слуга покорный, – отказываюсь! Подаю в отставку! Да-с!

Ночная фиалка

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его называли безвкусовые дачницы и интеллигентные гости. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на Троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший, закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядками и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

– Вы правы, – сказал он, – кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдуманно грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я – воля ваша – уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная история. Расскажи мне ее другой, сторонний человек – ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани? Знатное здесь пивцо.

Ну, итак: окончил я курс в Московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятинами землишки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедою. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, боже мой! Какая это радость – приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив (правда – великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего

дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи.

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

– Вот, – говорит, – как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке, и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра – непочатый край: и умны, и красивы, и работящи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

– Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О жене Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегаёт, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.

И надо сказать, после казенной замкнутой и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на «и» – Иванов), жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним собирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамаша Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари.

Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, опознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

– Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабыим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит правда хибарка рухляя, на четырех ножках. В ней старуха, носастая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму угостили. Тогда она говорит, глядя на меня:

– Дай, барин, ручку, я тебе поворожу.

Иванов ворчит:

– Гоните ее, окаянную, к бесу.

А она уж завладела моей рукой и бормочет:

– Ах, барин молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет...

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристаёт: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, – я дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую мочалку жуёт. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, – она в меня руками вцепилась.

– Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стаканчик малый – скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу... Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

– Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше – полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за цыганку:

– Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агагиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

– Агата (по-настоящему Агафья) – побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушная, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время – мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукодельница она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смиренная, и умная, и практичная, и веселая... И что же?.. Садимся мы с мужем за стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решетке? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшный грех, чтобы его замаливать, и тому

подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агаша объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

– Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему... – и все прочее и тому подобное...

И вот с тех пор живет она у нас, тихая, покорная, бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренно мудренно свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигающиеся порою под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку, краковяк и падеспань и дирижирую кадрилию на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете... Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастье...

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу, в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможным вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истомного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ушибинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

– Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, – сказала она дрожащим голосом.

Я посторонился.

– Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

– Да, прекрасная, – отозвалась она. – Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут как.

Одновременно я почувствовал упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание пробежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

– Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю, люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабой вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все!

Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, зеленые и красные огни в ее зрачках... Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

– Одна мечта моя за много лет была – поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

– Еще, еще, еще...

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело.

Мать моя зашла ко мне и спросила:

– Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож?

Я сказал:

– Это от жары, день был ужасно жаркий.

А она сказала:

– Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет.

Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодны и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издали: по голосу, по походке, по запаху, узнавали – и неудержимо стремились друг к другу, чтобы вновь упиться бешенством разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упростила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укору совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше – Агадины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так позорно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь, чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. «Я, говорит, божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка – к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зале всех домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

– Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочок земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики, и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих освященной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к Божьей Матери: «Призри с небеси, всепетая Богородица, на их лютое телесе озлобление и утоли печаль их души...»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу Божью Агафоклю, недугующую и страждующую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной...

Пунцовая кровь

В Сен-Совере, в этом благоуханном, зеленом, быстроводном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что:

«В воскресенье 6-го сентября 1925 г. на байонской арене состоится *строго подлинная* коррида при участии трех знаменитых матадоров: дона Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта, которые, в сопровождении своих полных кадрилией пикадоров, бандерильеров и пунтильеров, сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной ганадерии Феликса Морена-Арданьи из Севильи».

А внизу мелким шрифтом – шесть параграфов договора с публикой:

«§ 1. Коррида начнется ровно в 4 ч. 30 минут пополудни.

§ 2. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает.

§ 3. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому.

§ 4. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается.

§ 5. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает.

§ 6. Покорнейше просят почтенную публику не баловаться (*pas jouer*) палками и бутылками».

Параграф пятый (о несчастных случаях) мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя газетная заметка о роковом событии на одной из мадридских коррид. Очень известный эспада⁵⁷, нанося решительный удар быку (эстокада), ткнул неудачно острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец с визгом перелетел через барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара!

Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбрал свой жребий, уступив свое первоначальное, лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не спросила. Смысл последнего параграфа я постиг дня два спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером, накануне корриды, рассказывал, за чашкою чая с флёрдоранжем, хозяин гостиницы «Святого духа» в Байоне, почтенный господин Пинья, крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах, глубоко сидящих по сторонам *величественного* красного носа. Стиль его разговора я не могу передать, – для этого самому нужно быть французом, да еще южанином, – но смысл точен.

Байонская арена окончилась постройкой в тысяча восемьсот пятьдесят втором году. Несомненно, это был царственный, широкий, хотя и противозаконный дар пылкой испанке, Евгении Монтихо, от ее августейшего супруга. Начиная с тысяча восемьсот пятьдесят третьего года императорская чета присутствовала неизменно на всех особенно громких корридах, где блистали высоким искусством матадоры: Кюшарес, Эль-Тато, Санз, Мора и другие знаменитые эспада. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая, легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи и обмахиваясь быстрыми движениями веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту корриды. Говорили, что она была прекрасна.

Вся блестящая знать Второй империи сопровождала своих монархов на байонскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амеде Ашар и Проспер Мериме. Ведь это Теофиль

⁵⁷ Шпага – название матадора. (Прим. автора.)

Готье определил однажды бой быков как «самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел!».

– Подождите, мой друг, – сказал господин Пинья, – я сейчас покажу вам очень редкую вещь, программу пятьдесят четвертого года, одну из тех программ, что печатались специально для императорской ложи.

Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и счетверенную вырезным кружевом, с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху.

Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было семьдесят пять лет, а хозяин продолжал говорить. Странно: у байонского трактирщика были утонченные, аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии.

– Этому великому искусству больше тысячи лет. Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании, и первым между ними был герой народной легенды Сид Кампеадор. Верхом на боевом коне он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьем.

Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов заменили специалисты-матадоры, выходящие против быка пешими, со шпагой в девяносто сантиметров длину. Страшный удар копыя с высоты седла отошел в область преданий, да у современных людей уже и не хватило бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в корриде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови.

Но у матадоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен матадоров и членов их кадрилий. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и эспадой ведется честно и открыто, и ни один, даже самый прославленный торреро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед.

В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы эспада убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубые кровожадные вкусы, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегать к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных и избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива.

Так думаем мы, старые и верные посетители корриды. Вот завтра вы увидите Никанора Вияльта. Он – Вияльта – один из редких ныне представителей классического метода. Мы, спокойные знатоки, его высоко ценим, но он не для большой публики. В прошлом году, на одной из блестящих мадридских коррид, он убил подряд двух своих быков с такой простотой, с таким изяществом и с такой математической точностью, каких давно не видали понимающие люди. Вы, конечно, знаете, в чем заключается высшая награда матадору? По решению судей, у убитого быка отрезают правое ухо и торжественно подносят его особенно отличившемуся победителю. Так вот, все знатоки и настоящие любители корриды требовали, чтобы этот лестный подарок был присужден Никанору Вияльта. Но в составе судей преобладали, вероятно, поклонники стиля модерн. Они не поняли всего того совершенства, с которым работал Вияльта, и отказали. Тогда представители прессы, сложившись, поднесли через несколько дней образцовому эспада бычачье ухо, сделанное из чистого золота. Вот это – славный почет!..

– Конечно, – продолжал Пинья, протягивая мне портсигар с тонкими сигаретками, – конечно, это злоупотребление эффектными трюками – явление временное, и мода на них

может так же легко уйти, как и пришла. Классическая коррида со своим почти религиозным, строгим порядком не исчезнет до тех пор, пока существует Испания. Ведь недаром же испанский национальный флаг состоит из двух цветов – желтого и красного: это – неизменный песок арены и проливаемая на нем тысячу лет кровь.

Впрочем, и Байона крепко держится за традиции арены. Лет шесть, а может быть, и восемь тому назад французское гуманное правительство решило совсем искоренить бои, включающие *mise a mort* (смертный исход) для быков и лошадей. Там, на севере, эта игрушечная коррида, где бык считается пораженным, если ему успели наклепить кокарду между рогов, привилась без ропота, но и без особого интереса среди анемичных французов. Здесь же, на юге, живет слишком много испанцев, итальянцев и басков, в жилах которых быстро бежит очень красная горячая кровь. Слухи о введении вегетарианской корриды, правда, у нас носились задолго, но все от них только презрительно отмахивались, как от явного вздора. Но однажды, в августе, афиши вышли с объявлением, что коррида состоится без смертельного конца. Однако никто этому не поверил, и арена была, как всегда, переполнена сверху донизу. Но когда публика убедилась в отсутствии лошадей и когда украшенного кокардой быка стали загонять обратно за кулисы, – толпа пришла в негодование и устроила скандал, неслыханный и невиданный за все семидесятилетнее существование байонской арены.

– Забава с палками и бутылками? – спросил я лукаво.

– О, гораздо серьезнее! Толпа так редела, что слышно ее было на вокзале, за четыре километра. Растерянная администрация вызвала полицию. Это окончательно взбесило ослепленных яростью южан. Мгновенно все, что находилось в здании арены деревянного, – скамейки, спинки, перегородки, барьеры, стулья, столбы, перила, перекладины – все было вырвано и переломано на куски. Сложили огромный костер на середине арены, облили его керосином и зажгли. Я теперь не помню, какими мерами удалось прекратить народное возмущение, которое уже начало разливаться по улицам. Целую ночь напролет бодрствовали военные наряды и пожарная команда. Страшный был день.

– Воображаю! – согласился я.

А господин Пинья прибавил:

– Но зато теперь наша арена – сплошь из камня и железа. Ее не сожжешь.

Я уговорился с моими русскими друзьями, ночевавшими в Биаррице, встретиться в моей гостинице заблаговременно, часов около двух с половиной, а если возможно, то и пораньше, чтобы успеть до начала и видеть съезд. Но напрасно я их ждал на террасе до трех, и до трех с половиной, и до четырех без четверти. Мимо меня от вокзала проехал верхом на огромной гнедой кляче, в необыкновенно высоком деревянном седле о двух торчащих луках, пикадор. На нем была черная лакированная тяжелая шляпа с широченными полями, укрепленная под подбородком ремнем; курточка, сплошь унизанная, как кольчуга, красными камушками из поддельного граната, и толстой кожи желтые сапоги, от ступни до бедер. Мне очень понравилось его румяное и чернобровое, серьезное, несмотря на молодость, лицо с узкими дорожками бакенбардов, идущих от висков. Тут я почувствовал, что мне пора идти, и притом не лентяй. Милый господин Пинья проводил меня крепким рукопожатием и пожеланием доброй корриды. Сам он ждал своих знакомых, которые должны были заехать за ним в коляске.

Мне ни у кого не надо было спрашивать дорогу к арене. Вся Байона шла туда по широким улицам, по прекрасным мостам через Адур и Гав-де-По. Нетерпение охватило меня, и я часто перегонял пешеходов. Помню просторную, зеленую от травы площадь, по которой многочисленными радиусами стекались люди все к одному пункту – к станции электрического трамвая. После станции шел поворот в узкую улицу, где стало очень тесно, потому что в нее вливается также дорога, соединяющая роскошный Биарриц, этот вечный приют скучающих миллиардеров, со скромной Байоной. Бесчисленное количество сверкающих «роль-ройсов», шикарных лимузинов и других гордых «собственных» автомобилей протискивалось сквозь толпу, уплот-

няя ее и прижимая к стенам и заборам. Так, в пыли, в душной человеческой гуще, оглушаемый рывканьем моторов, я добрался наконец до голого загородного выгона, на котором увидел арену.

Это гигантское круглое здание без крыши занимает столь огромное место на земле, что, несмотря на высоту его стен, оно кажется приземистым. Окраска его невыразительно красная, с тем ржавым, желтоватым оттенком, какой принимает высыхающая кровь. Вынесенное за город, окруженное низкой пыльной притоптанной травой с одной стороны и колючими ожинками кукурузы с другой, оно производит будничное, одинокое, унылое и скупое впечатление, точно городская бойня, резервуар газового завода или главная нефтяная цистерна. Над ее стеною по всей окружности тихо шевелятся на высоких шестах красно-желтые испанские флаги. Вместо окон – ряд круглых больших отверстий, сквозь которые видны ступени серых каменных лестниц. Внутри арены ведут восемь зияющих темнотой арок, обозначенных литерами; в них беспрерывно льются черные человеческие потоки.

Нашу литеру «Б» я отыскиваю скоро и без труда. Один из моих друзей уже прошел и стоит сзади контроля. О времени и месте нашей встречи он забыл и слегка журит меня за опоздание. Третий компаньон забежал по дороге на телеграф и сейчас явится.

Смотрим на часы: без двух минут половина пятого. «Не волнуйтесь и не горячитесь, – успокаивает меня приятель. – Сложное представление на открытом воздухе, да еще на юге: у нас в запасе верных четверть часа». И правда: у меня ноги горят и сердце бьется от страстного нетерпения. Увидеть бой быков – моя пламенная мечта с пятнадцати лет.

Уже мое настроенное ухо ловит медные глухие звуки марша, когда появляется третий компаньон. Он, видите ли, был уверен, что наша литера – «F», и ждал нас все время в соответствующей арке. Мы немножко ссоримся по этому поводу (о Калуга! о Тамбовская губерния!), но все-таки торопливо бежим по коридору. Третий друг – спасибо ему – человек с опытом: на ходу он успевает взять напрокат три подушки, набитые сеном, по франку штука. Мы находим свою каменную лестницу, страшно крутую и узкую, как щель. Медленно поднимаемся наверх в середине ползущей сплошной человеческой гусеницы. Сворачиваем на открытый балкон – и перед нами открывается песчаная арена.

Опоздали! Церемониальное прохождение всех кадрили окончилось. Мы застаем только уходящий хвост, состоящий из упряжных вороных мулов в красной сбруе и пеонов третьего разряда, в красных блузах, с головами, туго обвязанными красными платками. Отыскиваем свои номера, напечатанные черными цифрами прямо на каменных сиденьях из темно-серого шершавого камня, кладем подушки и садимся на них.

Половина амфитеатра в глубокой тени, половина – на ярком свете. Круглая арена разделена надвое тонкой и кривой, как лезвие серпа, линией: справа песок горит, точно чистое золото, слева на нем лежит черно-голубой воздушный покров. И как теперь прекрасна, как она сказочно великолепна, эта столь нелюбимая мною толпа, тесно залившая, облепившая ложи, балконы, граден и все проходы!

Солнечная сторона переливается всеми цветами, какие есть на свете, и вся она в непрерывном движении, колыбании, трепете. Быстро-быстро машут невидимые руки веерами и программами. Нет сравнений, чтобы передать эту упоительную, волшебную игру красок. Как будто бы миллионный рой бабочек – голубых, белых, синих, лиловых, красных, желтых, черных, коричневых, фиолетовых, зеленых, малиновых, оранжевых и розовых – спустился вдруг на высокую гору, покрыл ее всю и, услаженный солнцем, радостно бьется в воздухе и дрожит своими легкими, полупрозрачными крылышками. Теневая сторона гуще и глубже красками. И она почти неподвижна. Она похожа, по-моему, на те роскошные французские цветники-партеры, в которых на обширном пространстве тесно перемешаны в восхитительном беспорядке цветы всех форм и всех красочных тонов. На солнечном полуамфитеатре я видел лишь горя-

чие ослепительные пятна; здесь, мне кажется, я вижу тончайшие линии, мельчайшие узоры. И с нежной признательностью я пью глазами эту живую несравненную прелесть.

Над нами высоко распростирается бледно-сапфировое небо. Как чист воздух! Вон, вверху, на самой стене, стоит отдельный человек. Он мне кажется, на широком фоне неба, маленьким, как обычная типографская буква, но с поразительной точностью я схватываю все очертания его фигуры.

Мы поместились очень хорошо. Прямо перед нами арка, откуда показываются быки; над нею узкая печатная вывеска: «Cuadrilla de Ganero»⁵⁸. По левую руку – высоко расположенная судейская ложа. По правую – вход для матадоров и членов корриды.

Ложы все построены высоко над землю. Кроме того, они отделены от песка сплошным красным барьером, почти в человеческий рост. Таким образом, между ложами и ареной идет круговой коридор.

Из первых дверей выехали два всадника на вороных конях, в черных средневековых одеждах с позументами и кружевами, в высоких черных шляпах с черными страусовыми перьями. Один из них, высокий и худой, сидел на долговязой тощей лошади; другой, толстый и короткий, имел под собою маленькую жирную и, кажется, жеребую кобылу. Это были альгвазильеры. Может быть, они изображали бессмертных испанских героев: Дон Кихота и Санчо Пансу? За ними, немного в стороне и сзади, ехал, сдерживая строгим мундштуком статную, горячую, красивую светлую рыжую лошадь, дон Ганеро – первый, по очереди, из нынешних матадоров, бывший капитан королевской кавалерии. Он весь в черном шелке, только голова его обвязана клетчатым розовым платком, кончики которого торчат наружу ушками из-под черного берета, и это, представьте, вовсе не смешно, а, наоборот, мужественно и красиво.

Я не успел заметить, что такое делали альгвазильеры у барьера под судейской ложей. Я видел только, как, повернув лошадей, они медленно и торжественно пересекли арену и скрылись за барьерной дверью. Не получили ли они ключей от помещений, где содержатся быки?

Дон Ганеро сделал вслед за ними круг по арене. Он заставлял свою лошадь то идти испанским шагом, высоко закидывая вверх передние ноги, то подниматься, через шаг, на дыбы. Публика безмолвствовала. Это она привыкла видеть в каждом плохоньком цирке. Она ждала дальнейшего, зная, что дон Ганеро, вопреки традиции, или, вернее, по великой традиции Сида Кампеадора, не признает ни работы пикадоров, ни зрелища распоротых лошадиных животов.

Двое его бандерильеров показали на арене с ярко-пунцовыми плащами, перекинутыми через руки. Раскрылись прямо перед нами барьерные двери, и вышел, именно не выскочил, а вышел большой черный рогастый и очень равнодушный бык. Ослепленный солнцем, изумленный непривычной обстановкой, он сделал несколько шагов, остановился и, внезапно повернувшись спиной к публике, неторопливой рысцой направился обратно к выходу. Но двери уже были замкнуты. Подбежавшие бандерильеры стали его дразнить своими пунцовыми плащами. Тогда он, несколько живее, перебежал вкось арену, ткнулся в барьер, подумал и встал, как собака, на задние ноги, упираясь передними в стенку. Публика сдержанно смеялась. Бандерильеры опять отвлекли его на середину арены. Но бык, по-видимому, решил во что бы то ни стало вернуться домой. Сделав ленивую и неудачную попытку боднуть одного из бандерильеров, он сразу понесся галопом к тому же самому месту барьера и вдруг с необыкновенной легкостью мягко и беззвучно через него перепрыгнул, вызвав несколько случайных женских вскриков.

Пеоны, с головами, обвязанными красными платками, засуетились в коридоре. Прошла минута – и бык снова показался во входных дверях.

Теперь миролюбие и рассудительность покинули его. Увидав вблизи себя развевающийся яркий плащ, он кинулся на него со склоненными низко рогами и ударил. Но плащ в то же

⁵⁸ «Кадрилья Ганеро» (испан.).

мгновение метнулся, вскинулся в воздухе и исчез, а с другой стороны уже дразнил его налившиеся кровью глаза новый плащ, который стелился и змеился по земле.

Дону Ганеро подали из-за барьера его специальную бандерилью, длиною почти с копье, и он свободным галопом помчался на быка. Бык увидел это и, глухо заревев, бросился в атаку. Но, почти наскочив на животное, почти коснувшись его, дон Ганеро сделал на скаку крутой ловкий вольт. Удар быка пришелся впустую. Увидев снова лошадь и всадника, бык кинулся их преследовать, но не мог догнать и повернул в сторону, чтобы броситься на людей с плащами. Ловкий и быстрый Ганеро уже опять крутился около него и вдруг, улучив момент, с такою силою вонзил ему в затылок бандерилью, что она вошла глубоко под кожу и застряла в ней, раскачиваясь при каждом движении быка. От боли бык обернулся назад, сделал несколько поворотов вокруг себя, точно стараясь схватить зубами досадный раздражающий предмет, и опять заревел.

Эта тонкая, ловкая и жуткая игра велась долго, и... как странно вела себя, глядя на нее, выскателная публика! В ней все время раздавался тихий, вежливый, но упорный свист. Это свистали дону Ганеро, как отступнику от традиции, освященной привычкой. Но каждый его ловкий и дерзкий маневр, каждый меткий удар встречался дружными аплодисментами.

Морда у быка уже опенилась, и черная шея покрылась потоками крови, которая на черной шерсти – влажной, гладкой и блестящей – казалась не красной, а темно- и густо-пунцовой. Заунывный звук труб пронесся откуда-то сверху. Сигнал, возвещающий смерть быку, или...

Дон Ганеро спешил и подошел к барьеру, под судейской ложей. Ему подали девяносто-сантиметровую шпагу и красную мулету. Бык был подведен бандерильерами совсем близко. После нескольких приемов дон Ганеро ударил, но неудачно. Только после второго удара бык, спустя некоторое время, упал. Откуда-то появился специальный быкоубийца – пунтиллеро – с коротким кинжалом в руке. Он склонился над быком, нанес быстрый удар в затылок, и бык растянулся на песке, пятная его пеной и кровью.

Из барьерных ворот пеоны вывели пятерку горячих мулов, красная упряжь которых оканчивалась массивным железным крюком. Почуввав кровь, животные долго артачились и бесились, пока не удалось служителю зацепить крючок за шею, и черную тяжелую тушу рысью поволокли встревоженные мулы за кулисы. Ничего жалкого или некрасивого не было в мертвом быке. Низменными и противными показались все движения человека, dokonчившего его жизнь кинжалом.

Не существует более делового и точного зрелища, чем коррида. В ней нет места ни вступлениям, ни объяснениям, ни антрактам, ни задержкам. Только что убрали труп первого быка и пеон едва успел заровнять граблями следы крови на песке, как из отворенных ворот быстро выбежал второй бык. Он был немного меньше ростом, чем предыдущий, но легче его, суше и ладнее; тоже черной масти, переходящей на крупе в серо-железный цвет. Бык не дожидаясь нападения, а напада сам, обнаруживая большую энергию и увертливость. Первую бандерилью дон Ганеро, сидя уже на новой, свежей лошади, воткнул в него неудачно. Она подержалась несколько секунд и упала. Бык остановился, медленно нагнул до земли голову, понюхал окровавленное острие и в бешенстве стал взрывать песок передними ногами. При этом он ревел, и в его реве – негромком, но чрезвычайно глухом и низком – слышалась сдержанная, сжатая, злобная угроза. И как только мелькнул перед его глазами дон Ганеро на лошади, бык тотчас же полетел за ними вдоль барьера, не отставая ни на вершок. Весь амфитеатр ахнул, когда, наконец, полным карьером настигнув лошадь, бык успел толкнуть ее рогами в зад, но толкнул не острием, а боком. Вот когда я увидел воистину «коня бледного»! Лошадь под доном Ганеро вообще горячилась, и ее шея, там, где она соприкасалась с поводьями, была слегка взмылена. Но после толчка, нанесенного быком, она сразу вся покрылась белой пеною, и дон Ганеро должен был ускакать в коридор, чтобы пересечь на третьего коня.

Над этим подвижным быком было тяжело работать. Кавалер-матадор сделал много промахов, пока не вонзил трех бандериллий. И убить себя бык дал не легко. Поверженный вторым ударом шпаги, он упал на землю и некоторое время лежал на животе, подогнув под себя передние ноги. Пунтиллеро уже подходил к нему со скрытым в складках одежды кинжалом и уже нагибался над ним предательским движением Яго... Но бык вдруг, одним толчком, вскочил на все четыре ноги и с такой неожиданной, бешеной яростью бросился на окружающих его врагов, что они рассыпались в разные стороны. Публика разразилась единодушным взрывом аплодисментов. Но силы уже оставили это достойное, храброе животное; оно снова упало и повалилось на бок. Его прикончили.

На барьере повесили новый аншлаг: «Cuadrilla de Freg»⁵⁹. И сейчас же как из-под земли выросла и разбежалась по арене эта кадрилиа. По публике пронеслось, подобно электричеству, сдержанное оживление. От Луиса Фрега ждали многого. Ему только тридцать пять лет, но он самый старший из современных матадоров. Он носит титул доктора тавромахии, данный ему самим Лагартилло Чико; в высокое звание матадора его посвятил великий Мазантинито. В двадцать третьем году он был опасно ранен быком из ганадерии Матиаса Санхеса, но уже в двадцать четвертом году он одержал много блестящих побед, а в сентябре прошлого года убил своих двух быков на мадридской корриде с таким мастерством, что был восторженно приветствован десяти тысячной толпой и вынесен на руках с арены. Печать за его дерзкую отвагу дала ему прозвище «Torreño de l'emotion» – тореадор, дающий сильные ощущения. Он сам невысокого роста и строен; в движениях его есть наигранная, шаблонная грация, и ему присущи несколько актерские жесты.

Выехали двое пикадоров на высоченных костлявых лошадях. У каждой левый глаз был наискось завязан темной косынкой. Они расположились под нами в небольшом расстоянии друг от друга, спинами к публике.

Выбежал бык, черный, как и все «торо» ганадерии Арданы, с серыми просединами на крупе и на ляжках, очень живой и предприимчивый. Но напрасно мы ожидали горячей борьбы и жутких ощущений. Фрег ежеминутно терял удобные моменты, часто отступал, промахивался или вонзал бандерильи так слабо, что они тотчас же валялись на песок. И вся его кадрилиа работала вяло, не вдохновляемая примером своего главы. Только лишь один из бандерильеров, в голубом шелковом костюме, сплошь затканном золотом, выгодно выделялся из всех. Он невольно обращал на себя внимание изяществом и уверенностью движений. От разъяренного быка он не спасался бегством, но подпускал его вплотную к себе в его разбеге, давал ему дорогу и вежливо пропускал.

Указывая на него, мой приятель, далеко не впервые посетивший корриду, сказал мне тоном знатока:

– Посмотрите на этого, голубого с золотом. Его ждет большая карьера.

Заунывная труба возвестила срок выступления пикадоров. Один из них, на серой длинной кляче, выдвинулся вперед, и бандерильеры, маневрируя своими яркими плащами, подвели быка, незаметно для него, совсем близко к лошади. Бык увидел и остановился. Тогда пикадор шпорами и поводом повернул лошадь так, что она пришлась к быку левым боком и левым глазом. Все остальное произошло в мгновение. Низко склонив голову, бык рванулся к лошади и, ударив ее рогами в живот, поднял на воздух. Копье пикадора не остановило его ни на секунду. Мигом здесь образовалась пестрая каша: бык, лошадь, упавший пикадор, Фрег, бандерильеры и пеоны. Но голубой с золотом быстро отвел быка своим пунцовым плащом. У серой лошади жалко подгибались задние ноги, и из разорванного живота выползали наружу кишки: серые и желтые, тускло блестящие слизью под ослепительным солнцем. Наконец она присела на зад и повалилась на бок. Ах, нет! Я не знаю более печального зрелища, чем издыхающая или дохлая

⁵⁹ «Кадрилиа Фрега» (испан.).

лошадь в лежачем положении. Ее живот кажется таким раздутым, плечи такими узкими, шея такой плоской и длинной, а голова такой маленькой! Я до сих пор помню острые слезы, которые закипели в моей груди, когда в конце тысяча девятьсот семнадцатого года я увидел лошадиную падаль, валявшуюся на Измайловском проспекте, у Плевненского памятника, и никем не убираемую несколько дней... Но, впрочем, к чему эти домашние воспоминания? Мимо!..

Первую лошадь доколот пунтиллоро. Вторую, гнедую, бык убил наповал: она, лежа на песке, только подрыгала немного задними ногами, судорожно вытягивая их, и замерла. Тотчас же прибежали пеоны и покрыли оба трупа брезентами. Получились плоские, серенькие, сморщенные могильные холмики. Роковая труба возвестила между тем последнее единоборство.

И тут-то Луис Фрег оказался бесконечно ниже своей прославленной, мировой репутации. Неудача за неудачей, неловкость за неловкостью преследовали его. Он колебался, пытался от быка, робко пропускал выгодные моменты. Два раза выпады его были безрезультатны. Тут я кстати запомнил одну подробность, которую не уловил у донна Ганеро; всадив клинок в быка глубоко, но не смертельно, матадор не извлекает его обратно, а оставляет его торчать в теле, рукояткою наружу. А ему подают через барьер новую и новую шпагу. Перед третьим ударом Фрег казался совсем беспомощным и бесцельно совал острием в воздухе. Чей-то грубый бас с галерки крикнул нетерпеливо: «*Máta lo!*» («Убей его!»).

И мгновенно весь амфитеатр подхватил этот крик: «*Máta lo! Máta lo!*»

Тысячи оглушительных свистков пронзили воздух. Тысяча здоровых глоток закричала грозно и злоеще: «Угу! Угу! Угу!» – совсем так, как кричат по ночам наши северные огромные белые филины, только грубее, громче и ниже тоном. И мне стало немного жутко.

Мне кажется, что третий удар Фрег нанес, закрыв глаза. Бык после него стоял на месте, а Фрег отступал назад, слегка пошатываясь. Тогда один из бандерильеров, подойдя близко к быку, потряс у него перед глазами плащом и сразу повел плащ назад. Бык круто повернулся вслед плащу телом, но ноги не успел передвинуть: они переплелись, и бык рухнул на землю. В ту же секунду пунтиллоро оседлал его сзади и прикончил мгновенным ударом. Свист, крик, визг, ругательства и проклятия переполнили всю арену сверху донизу. Когда мертвого быка увезли мулы, то на том месте, где он упал, осталась огромная черно-пунцовая лужа крови.

Коррида не знает остановок и перерывов. Со следующим быком немедленно должен был сразиться все тот же злополучный Фрег. Но чья-то милостивая душа дала ему передышку. На арену вышла кадрилиа Никанора Вияльта во главе со своим молодым матадором, в котором я и мой сосед тотчас же узнали изящного бандерильера, голубого с золотом, так незаметно блиставшего в предыдущем состязании.

Это участие с его стороны было рыцарской услугой товарищу и почет старшему мэтру. Я позднее узнал о том, что именно Луисом Фрегом был посвящен Никанор Вияльта в высокое звание матадора шестого августа тысяча девятьсот двадцать второго года в Сен-Себастиане, а мне давно известно, каким бескорыстным уважением окружают люди силы, риска и отваги своих учителей.

Эта часть программы прошла безукоризненно при неослабевающем восторге зрителей. Кадрилиа, прекрасно одетая и чудесно подобранная, работала легко и весело, точно забавляясь игрою со смертью. Вияльта показал себя во всем блеске молодости, естественной грации и совершенного владения страшным искусством тавромахии. И бык, с которым суждено было сразиться этому голубому с золотом матадору, являл собою образец дикой красоты и свирепой мощи.

Он не вышел, а ворвался ураганом на арену. Не дожидаясь вызова со стороны людей, он бросился на первую мелькнувшую ему в глаза, сверкавшую золотом фигуру и погнал ее вдоль барьера, но вдруг бросил ее, круто повернулся вбок и помчался за пунцовым плащом. И с разбегу внезапно остановился на самой середине амфитеатра, застыв неподвижно, как великолепное изваяние из черного мрамора. Я четко видел его в профиль. Он казался мне черным

силуэтом на золотом фоне. Какой плавной дивной линией была очерчена его фигура: крутая мощная морда, широкая и короткая шея с надменным подгрудником и стройное возвышение холки, переходящее в покатую крепкую спину. Он был на низких тонких ногах, широкогрудый и поджарый, вовсе не родственник корове или теленку, – дикий зверь, равный по своеобразной красоте лошади, но превосходящий ее выражением силы и отваги. Вокруг меня заматерелые поклонники боя быков сладостно вздыхали и чмокали языками, глядя на него. Право, как жалко, что в наши дни программы не сообщают имен таких благородных быков.

А в это время Никанор Вияльта переходил неторопливо от судейской трибуны на противоположную сторону, пересекая тень и свет, лежавшие на арене. Он держался прямо, непринужденно и со спокойным достоинством. Его походка была уверена, легка и красива, голова высоко поднята. И весь он был воплощением красоты мужского тела. Он близко прошел мимо быка, и оба они точно не заметили друг друга, не повернули голов. Но моей фантазии показалось, что на короткую секунду их боковые взоры встретились и сказали: сейчас увидимся.

Весь амфитеатр, все десять тысяч человек следили не отрываясь за каждым его движением. Зрители высунулись вперед и перегнулись на своих сиденьях, задние легли на плечи передних. Стало тихо.

Вияльта подошел к красному барьеру, остановился против одной из лож. Не спеша снял правой рукой берет и сделал глубокий почтительный поклон. Вокруг меня торопливо зашептали растроганные голоса:

– Мама! Мама! Мадре! Мама! Мадре! Это его мать.

Вияльта выпрямился и, легко поворачиваясь назад, круглым ловким жестом бросил, не глядя, из-за спины, свой берет в черную многочисленную людскую массу. Тотчас же десятки услужливых рук передали его туда, куда следует. Худенькая, еще не старая женщина, желтолицая и черноглазая, в темном платье, с черной кружевной шалью на голове, спокойно приняла берет и ответила соседу медленным, едва заметным поклоном. Так посвятил Вияльта своей матери этого прекраснейшего из быков, которого он сейчас убьет во славу Испании и в честь обожаемой женщины – матери!

И закипела, закружилась, завертелась, засверкала блеском золота и яркостью красок коррида. Никанору Вияльта подали две бандерильи, обвитые и разукрашенные лентами. Он взял их кулаками за тупые концы и высоко поднял над головой, остриями вниз, и, так держа их, побежал прямо на быка, едва прикасаясь голубыми ногами к желтому песку. Бык понесся ему навстречу. Ни человек, ни животное не сворачивают с прямой линии. Сейчас они столкнутся. Хочется закрыть глаза от ужаса... и не можешь!

И вот столкновение! Поднятые вверх руки Вияльты быстро разом опускаются. Бык мгновенно остановился. Вияльта делает шаг в сторону. В затылке у быка торчат, наклонившись в разные стороны, и покачиваются две пестрые бандерильи. «Оле, Вияльта! Оле! Оле!» – кричат оглушительно зрители и плещут ладонями. Пунцовый плащ бандерильера застилает на минуту глаза быку и увлекает его в другую сторону. А пеон подает Никанору Вияльта две новые бандерильи. И так четыре раза подряд, с той же ловкостью и точностью украсил смелый матадор своего быка восемью колючими, многоленточными, яркими стрелами.

Был здесь, в этой грациозной и опасной игре, один момент, почти неуловимый, но заставивший всю десяти тысячную толпу одновременно ахнуть от ужаса. Небрежно и изящно мелькая перед глазами быка, дразнимого пунцовым плащом, и уходя от него красивыми пируэтами, Вияльта довел его к тому месту, где за барьером, в ложе, всего в десяти шагах, сидела мать эспады. Там Вияльта остановился. Бандерильеры опустили свои плащи. Остановился и бык. Совсем маленькое расстояние разделяло животное и человека. И вот Вияльта делает полшага к быку. Протягивает прямо руку между остроконечными рогами.

Я вижу в бинокль, как его вытянутая ладонь бестрепетно, кончиками пальцев, касается несколько раз крутого темени. Бык в тяжелом недоумении стоит застывши, как прекрасное

изваяние из черного мрамора. Напряженная тишина на арене. Вияльта делает еще четверть шага вперед, дотрагивается до пестрой бандерильи, свесившейся над мощным черным лбом, и – какая дерзкая отвага! – осмеливается слегка покачать ее. И вдруг – как пестрым ярким вихрем взметнуло и завертело доселе недвижимую группу. В том, что так мгновенно произошло, никто не дал бы себе верного отчета. Я увидел лишь, как бык быстро и низко склонил голову. Как Вияльта внезапно очутился спиной к нему, между широкой развилиной его рогов. Потом мощный и тупой толчок крупного черного лба... И Вияльта упал.

Вся арена разом вздохнула, точно вздохнула одна исполинская грудь. Послышались тонкие женские крики. Но Вияльта был в целости. Вследствие близкого расстояния бык не успел или не догадался уклонить морду рогом вбок, а Вияльта не потерялся. Падая, он лишь полусогнул одно колено и одной рукой плотно уперся в песок. Тотчас же перед глазами быка замелькал, закрутился пунцовый плащ бандерильера, и животное яростно бросилось в сторону.

Эта ужасная сцена заняла лишь долю секунды; но сидевшая так близко пожилая черноглазая испанка в черной шали, мать своего милого любимого Никанора, – что она думала и чувствовала в этот коротенький миг?

А Вияльта, высоко подняв кверху две бандерильи, уже бежал беззаботно и легко, точно на крыльях, навстречу быку, у которого только что побывал почти на рогах.

Этот бык долго не уставал и не утишал своего гнева. Двух лошадей он поднял на рога и бросил на землю с поразительной силой и быстротою; один из пикадоров ушел с арены без шляпы, держась обеими руками за ушибленную голову. Та же судьба постигла бы и третью выведенную на арену лошадь, если бы не запел свою грустную мелодию медный рожок, зовущий к последнему поединку.

Никанору Вияльта принесли мулету – красный квадратный флаг, нанизанный одной стороной на невидимую тонкую палку. (Во всей корриде единственный чисто красный цвет – это цвет мулеты.) Держа ее в левой руке, он подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали шпагу с длинным узким клинком, холодно и тускло блестящим бело-синей сталью. Его поднятая кверху голова была обнажена, и можно было видеть на затылке традиционную косичку, наивно связанную узлом. Так он стоял, произнося короткую клятву в том, что убьет своего быка, – согласно древним священным обычаям, в прямом и открытом бою, не прибегая ни к каким уловкам или ухищрениям, – во славу Испании, в честь обожаемой женщины и для возвеличения благородного искусства тавромахии. Затем он передал в правую руку мулету, тщательно прикрыв красной материей зловещую сталь шпаги. Бык должен увидеть обнаженную шпагу лишь перед самым последним, самым решительным, самым страшным моментом. Таков строгий закон старины!

Играя красной мулетой перед глазами быка, скользя небрежными пируэтами перед самыми остриями его рогов, Вияльта с математической точностью подводит его к тому месту, на котором он приносил присягу. Здесь он останавливается. Приближаются бандерильеры, размещаясь сзади и сбоку быка. Бык весь в пунцовой крови и с пеной у рта, но он так же свеж и силен, как при своем появлении на арене. Глядя на мерные движения его боков, я чувствую, что его дыхание неспешно и глубоко. Если понадобится, он пробежит еще двадцать верст и перебросит через себя любую лошадь, как ржаной сноп.

И вот, охватив левой рукой красную материю мулеты, точно ножны, Вияльта медленно вытягивает из нее шпагу, так медленно, как будто бы он обтирает сталь от крови. И когда шпага обнажена, он тихо опускает ее сверху и вытягивает горизонтально над головой быка, между завитыми, острыми, грозными рогами. Это прямой вызов. Теперь человек ждет ответа от животного. Их разделяет только два шага, и одному Богу известно, чья душа – человека или животного – пойдет сейчас по тому неведомому пути, о котором допытывался Экклезиаст!

И бык принимает вызов. Он чувствует, что вся предыдущая борьба, где люди были так жестоки, так ненавистны и так неуловимы, окончилась.

Тот, что стоит теперь неподвижно перед ним, сверкая золотом, не побежит и не отступит. Остается одно: быстро склонить голову и мгновенным напором вонзить рога в это столь близкое и тонкое тело. И бык делает это с той звериной быстротой, которая теперь уже не постижима и недоступна слабому, выродившемуся человеку. Но, убрав вниз голову, он на одну неуловимо малую долю секунды открывает для шпаги свой подзатыльник. Один миг! Человек и бык точно скользнули друг на друга. Какая тишина кругом!

И вот Вияльта отступил на полшага, опустив вниз теперь уже обезоруженные руки. Бык остается на месте. Среди кадрили движение; она готова броситься и помочь, но Вияльта повелительно вытягивает вперед руку с поднятой ладонью: «Нельзя!» Бык все еще стоит на четырех ногах, но уже слегка покачивается. Ноги его начинают вздрагивать, колени сгибаются. Он теряет устойчивость и падает. Пробует подняться. Нет. Все кончено. Ложится на бок. Судороги бегут по его телу и по конечностям.

Какая буря воплей и аплодисментов! Приняв с низким поклоном свой берет из ложи, Вияльта идет вдоль барьера. Шляпы, портсигары, платки, браслеты, сигары летят по его пути на арену. Он без всякого усилия нагибается, поднимает эти предметы и необыкновенно ловко бросает их обратно, заставляя вращаться на лету. Радостно смотреть на его обращенное кверху лицо. Оно блещет торжеством победы и великолепным счастьем жизни.

О втором выступлении Фрега не стоит и говорить. В промежутках между неудачными эстокадами он от волнения пил воду, и стакан дрожал в его руке. Он пробовал ударить быка не голой шпагой, а под прикрытием мулеты, за что был освистан и обруган толпой. Ему кричали: «А la puertol» («За двери! Вон!») и другие, непонятные мне, громкие слова. Бедный совсем «потерял сердце», что случается не только у матадоров, но и у жокеев, и у авиаторов, и у боксеров. От этого мгновенного, неожиданного ослабления нервов не застрахован самый испытанный, самый дерзостный храбрец. Профессионалы риска относятся к этому несчастью, внезапно постигшему товарища, с той же молчаливой деликатностью, как к смерти друга, как к тяжелой болезни близкого.

Умолчу и о втором туре Вияльта. Ему попался огромный, грубый, тупонервный, черногрязный бык, с мрачной наружностью профессионального убийцы. Его правое ухо, по постановлению судей, было отрезано и поднесено Никанору Вияльта.

Но не могу не упомянуть о моем утреннем гранатовом пикадоре, участвовавшем в последней корриде. Он трижды и прямо с железной неуступчивостью и с необычайной энергией отражал свою пикию бешеными атаками свирепого исполина. Вероятно, он обладает исключительной физической силой. После третьего раза публика стала аплодировать, и это было добрым знаком для его долговязой гнедой клячи: ее пощадили. Пикадор торжественно уехал на ней за кулисы, а раскланяться на рукоплескания вышел уже пешим. И, знаете, на кого он мне показался в эту минуту поразительно похожим? На красавца и обладателя великолепнейшего баса, на Малинина, отца протодьякона Смоленского кладбища в Петербурге.

Лицо его сияло от счастья и от солнца, а гранатовые стеклышки на его куртке переливались и сверкали тысячами красных огоньков.

Начался разезд. На площадке перед ареной стояли пеоны, с головами, повязанными красными платками, и продавали бандерильи со следами запекшейся крови. Рыжий верзила, с моноклем в глазу, выскочил из автомобиля, купил одну штуку и поднес ее своей немолодой и некрасивой даме с таким поклоном, точно он презентовал ей свадебный букет.

Прошло месяцев пять-шесть после байонской корриды. Очерк этот давно уже был написан и сдан в типографию. И вот заглянул в мое парижское жилье, проездом из Мадрида в Брюссель, мой недавний, но очень приятный знакомый, господин Р. де С., секретарь испанского посольства при одной из европейских держав.

Вечером за бутылкой сладкого белого бордо мы хорошо и непринужденно разговорились, и так как байонские впечатления, трижды мною пережитые – на камнях арены, в воспоминаниях и на бумаге, – еще были свежи, то разговор, естественно, коснулся боя быков.

– О да, да, – с сожалением покачал головою господин С. – Жестокое зрелище... Темное пятно на Испании. Пережиток грубых и диких времен... А кстати, вы где же видели корриду?

– Этим летом в Байоне.

– Ах, вам надо было бы поехать в Мадрид или в Севилью, если вас как художника интересует красочная сторона.

– Но вы сами знаете, как трудно с визами, особенно нам, русским.

– О, в этом отношении я всегда к вашим услугам. В Мадриде вы все увидите в размерах великолепных и грандиозных. Мадридская арена вмещает тридцать тысяч зрителей, а на ней выступают самые знаменитые эспада. Это не Байона...

Я несмело возразил:

– Однако и байонская коррида произвела на меня сильное впечатление.

С. сбоку, недоверчиво взглянул на меня.

– Гм... Кого же вы там видели?

– Ну, например, дон Ганеро.

– А-а! Это прекрасный, исключительный матадор. Сколько раз и как страшно его калечили быки, но он остался чуждым робости. Ганеро – любимец наследного принца. Этот инфант первый дал ему, кавалерийскому офицеру, мысль выступить против быка верхом на лошади, согласно старым рыцарским легендам. Да, да, – Ганеро очень ценим аристократией арены... Кто же еще?

– Никанор Вияльта.

– О, вам посчастливилось, мой друг! – воскликнул оживленно господин С. – Замечательный матадор! Вне классов и сравнений. Многие мои знакомые – и я вместе с ними – мы считаем его первой шпагой Испании. Какая чистая, классическая работа!

Я поддержал от души:

– И какое изящество!

– Да, да. И какой глазомер! Какая точность!

– Какое спокойствие!

– Какая красота тела, поз и движений!

– Какая легкость, уверенность удара!

В моем собеседнике загорелась старая, пунцовая кровь предков. С большой готовностью, даже с увлечением он рассказал мне очень многое из жизни матадоров: об их обычаях, набожности и суевериях, об их боевых приемах и тренировке, о точном распорядке дня выступления, о подробностях костюма и о гонорах. Но все это очень густо изложено в известной книге Бласко Ибаньеса «Кровь и песок», к которой я и отсылаю читателя.

Между прочим, я вскользь упомянул о *mise a mort* – о последней встрече быка и матадора, в которой смерть грозит обеим сторонам. Я сказал о том, как молниеносно скор и трудноуловим этот момент.

Господин С. быстро поднялся со стула. Он высокого роста, но в ту минуту почему-то показался мне выросшим на целую голову.

– Видите ли, – заговорил он горячо, – есть два способа нанесения быку смертельного удара. Один – когда эспада вызывает быка на атаку и принимает ее. Другой – когда он сам атакует.

Вот поглядите... У меня в руке шпага, – господин С. легко и красиво стал *en garde* (в первую позицию фехтовальщика). – Бык кидается на меня, наклонив вниз голову, и открывает мне *fente* (место для удара). Я наношу его по верхней линии приемом кварта или сикста, как мне будет удобнее. (Он сделал быстрый выпад.) В другом случае, повернув плоско клинок, я

наступаю и пронзаю быка по линии сверху вниз приемами септима или октава, судя по его положению.

И, закончив эти слова блистательным ударом в пространство, господин С. остановился против меня с победоносным видом и разгоревшимися глазами.

Я долил его стакан, и мы чокнулись за Никанора Вияльта. Потом я сказал, признаю, не без лукавства:

– Прекраснейшее зрелище – коррида, но ужасно жалко лошадей и противно видеть все подробности...

Господин С. как-то сразу увял и нехотя, слабо отмахнулся кистью руки.

– Ах, и не говорите. Варварство! Низменное и грубое развлечение! Я сам бываю на корридах только по обязанности, чтобы не огорчить добрых друзей отказом. Но, рассуждая теоретически, без этих несчастных лошадей коррида потеряла бы девять десятых своей жестокой прелести. Подумайте только: в лошади и в пикадоре, включая сюда и вес тяжелого седла, не менее трехсот, а то и триста двадцать, триста сорок кило. Но бык без всякого усилия, одним взмахом рогов, подбрасывает эту тяжесть в воздух и швыряет о землю. Тогда человек кажется в сравнении с ним жалкой щепкой. Вы видите много крови – лошадиной и бычьей. Но сейчас мужчина с бесстрашным сердцем предстанет прямо перед мордой свирепого животного, и, может быть, через секунду прольется его, человеческая, драгоценная кровь. И это видят и сознают все: и тысячи зрителей, и кадрилиа, и сам стройный, элегантный, спокойный по внешности эспада... Да, тут есть что-то нелепое, но и героическое, вернее нелепо-героическое. Особенно, когда подумаешь об одряхлении современного человечества.

– Говорят, – сказал я, – говорят, что уже вырабатывается испанским правительством проект о запрещении выводить лошадей на арену для этой беспощадной бойни?

– Говорят, – неохотно подтвердил господин С. – И эту гуманную меру нельзя не приветствовать.

– Несомненно, – согласился я. – Но народ? Что скажет народ, обожающий свою кровавую корриду? Примите во внимание тысячелетнюю наследственную привычку. Кроме того, южный темперамент, пылкие сердца...

Господин С. поглядел на меня серьезно, но где-то в глубине его зрачков я увидел тонкие искры насмешки. Он сказал внушительно:

– Я не отрицаю, конечно, страстности и нетерпеливости нашего национального характера. Но испанцы – это народ, в сущности, добрый, религиозный и законопослушный...

Мне вспомнился рассказ милого господина Пинья о том, как была подожжена байонская арена.

Тут пришла моя очередь сказать «гм»... Но я сделал это со всей осторожностью, точно слегка откашлялся.

«Светлана»

Посвящается милым рыбакам Егорушке и «Светланочке».

Коля Констанди, пожилой, весь просоленный балаклавский рыбак, собирается наново вычистить и покрасить свою двухвесельную, стройную, выдавшую многие виды лодку. В помощники он выбирает – великая честь – вашего покорного слугу.

Сначала мы тщательно выбираем место, откуда надо будет выволочить лодку на сухой берег, и после долгих размышлений и колебаний останавливаемся на новом берегу, на пустом пространстве между дачей доктора Петькова и рыбокопильным заведением Кефали. Туда-то мы и втащили катом, переворачивая с боку на бок, непокорную лодку. Странно было, что она, столь легкая, веселая и послушная на ходу, в море, оказалась такой непомерно тяжелой и грубой на суше. Только изодрав в кровь ладонь, я понял причину этого недоразумения: дно «Светланы» оканчивалось свинцовым килем в пятнадцать пудов весом.

И все-таки эта работа по втаскиванию лодки (или баркаса, как называл ее Коля) была куда как легкой по сравнению с теми чертовскими усилиями, которые мы употребляли на отдира-ние от лодки моллюсков и ракушек, которые наслоились на бортах лодки за время ее много-летних стоянок во всевозможных бухтах и пристанях. Отколупывать их руками было невыс-казано – так мощно они вцеплялись в дерево. Приходилось орудовать молотком и слесарными инструментами. Хорошо было Коле Констанди! По мере того как мы отскребывали эти пета-лиди-металиды, он кончиком ножа выковыривал их устрицеподобную мякоть и, всхлебывая, жадно поглощал ее. Приглашал и меня Коля полакомиться этим изысканным гастрономиче-ским блюдом, но у меня как-то не хватало мужества и отваги: очень уж пахли эти петалиды нашими московскими улитками и слизняками. Да и вообще греческая кухня, прекрасно изго-товляющая рыбу с толченым орехом, с чесноком, изюмом и паприкой, весьма падка на всякие морские гадости, из которых первая – злой и ужасный осьминог.

Покончивши с надоедными ракушками, с которыми мы возились очень долго и без удо-вольствия, мы перешли к капитальному ремонту лодки. Тут, кстати, судьба послала нам неожиданно третьего помощника.

Я уже давно заметил, что невдалеке от нас, так шагах в ста, постоянно возится босой мальчишка лет одиннадцати-двенадцати, загорелый дочерна, с видом диким, лукавым и пуг-ливо-недоверчивым. Я указал на это явление моему атаману Констанди.

– Это – ничего, так себе, – небрежно ответил атаман. – Этот бамбино⁶⁰ – круглый сирота; живет, где попадет. Пойдите-ка, кирийе⁶¹, я его сейчас к делу приставлю.

Он свистнул в два пальца призывным боцманским свистом и крикнул:

– Э! Спино! Иди-ка сюда! Копейку можешь заработать!

Спино подошел с нахмуренным лицом, шагая боком, точно краб.

– Кали спера⁶², кирийе Коля, – сказал он сипло и вставил палец в нос. – А ты не обма-нешь?

– Раз сказал – так слово мое крепче железа. Будешь у нас работать и служить, и каждый вечер на шабаш получать живую государственную копейку.

Так поступил в нашу маленькую верфь одинокий бездомный мальчуган Спино, по-русски – Спиридон. Первую свою заработанную копейку тотчас же положил за щеку с манерой моло-дой запасливой обезьянки, и с этой поры Спино сделался неутомимым работником и отлич-

⁶⁰ Мальчик (*итал.*).

⁶¹ По-гречески: господин. (*Прим. автора.*)

⁶² Добрый вечер. (*Прим. автора.*)

ным, сообразительным помощником. Должно быть, в нем проснулась древняя кровь тысячелетних предков, отважных листригонов, о которых с почтительным страхом говорил еще Гомеров Одиссей. Это чудо сделали: вековой извилистый и узкий залив, вековой глубокий запах моря, вековая работа над лодкой и те вековые, ныне уже позабытые, горловые восклицания, которыми Коля Констанди поощрял ход работы.

Сначала Спиро служил только на побегушках: бегал ко мне и к Коле домой за едой, к Юре Капитанаки в кофейную за кофеем и за красным терпким вином и в городские лавчонки за необходимым материалом. Случалось посылать его и в Севастополь, за восемь верст. Спиро бывал всегда одинаково быстр, исполнительен и ловок. Он не знал другого аллюра, как широкий галоп, причем на бегу ритмично щелкал себя пятками ниже спины, а совершая длинные пути, никогда не забывал прицепиться к задку чужого экипажа и висеть на нем до того времени, пока кучер не показывал ясного намерения огреть его кнутом – странный и загадочный обычай всех кучеров.

Что и говорить: куда же мне было равняться в этом спортивном беге за неутомимым Спиро? Во мне было тогда добрых шесть с половиной пудов чистого веса.

Между тем настали в нашей работе серьезные часы и минуты: пошли в ход пакля, смола и дерево. Спиро то и дело стрелял к балаклавскому столяру. Коля ходил весь перемазанный черным, несмываемым клеем и ругался на страшном морском языке. Наконец-то мы высохли и окрепли, а «Светлана» обрела свою прелестную стройность. Оставалось прежде окраски подмалевать ее суриком. В этот период все мы трое перемазались, как североамериканские дикари, в красный цвет от ног до головы. Тогда стояли горячие южные дни, пекло нас, как в печке. Сурик, на что упорный в сушке материал, но и тот не устоял перед знойными лучами балаклавского солнца и вскоре высох. Оставался один самый важный вопрос: в какой же основной цвет решил атаман Констанди выкрасить свой прекрасный баркас «Светлану»?

Только через три дня Коля сказал торжественным тоном:

– Баркас будет белый, как снег, а на его носу из чистого золота будет выведено его название «Светлана», как у крейсера.

Здесь я, волнуемый самыми лучшими чувствами, позволил себе деликатно возразить:

– Что же, Коля, вы предполагаете сделать из вашего судна? Первоклассный баркас для ловли скумбрии, кефали, камбалы, морского петуха и белуги? Или, может быть, для катания по заливу чахлах капризных дачников и дачниц, приезжающих осенью на курортное лечение виноградом? Подумайте-ка: от одного появления в море такого раскрашенного и яркого баркаса вся рыба напугается и побежит – какая в Трапезунд, какая в Одессу.

Коля Констанди был в обыденной, повседневной жизни премилым, прелюбезным человеком, застенчивым, уступчивым, услужливым и кротким. Мне никогда не удавалось залучить его на чашку чая к себе в небольшую квартирку, где я незатейливо обитал с женой. Дальше кухни Коля не переступал, а приходил только с рыбой, которую продавал лишь немного дороже цены, стоявшей на базаре. Но совсем другим делался Коля, когда из бедного, робкого, застенчивого пиндоса-банабаки он превращался в полноправного хозяина баркаса, в собственника снасти и паруса, в безукоризненного рулевого, в неутомимейшего из гребцов и, главное, в атамана судна со властью безграничной и непререкаемой и с правом на пять паев в общей добыче артели. Тут он учил меня морскому и рыбацкому делу жезлом железным и без всякого стеснения, ибо признал и оценил во мне способность к повиновению. Раза три учил он меня милостиво тому, что рыбака, готовящегося выйти в море, никогда не следует спрашивать: куда идешь? – потому что лишь одному богу известно, куда волна, ветер, течение, внезапная буря могут занести несчастного рыбака: в Средиземное море, на Тендровскую косу или в черную глубину моря. Но когда я в четвертый раз по рассеянности повторил эту грубую ошибку, Коля облил меня таким потоком ругани, перед которым побледнели бы и зашатались избранные моряки русского флота, пожарные Москвы, волжские грузчики и сибирские плотгоны. Это

средство помогло: я и теперь, через четверть века, ни одного человека никогда не спрашиваю, куда он идет, это у меня уже такой навык.

В таком же наставительном духе он заставил-таки меня крепить косой латинский парус, когда у мыса Шайтан Дере (Чертова Дыра) нас внезапно захватила и завертела ярая «джигурино» – сумасшедшая, пьяная, бестолковая мертвая зыбь, неизвестно откуда появляющаяся. От ее мерзкого колтыхания начинает травить даже самых испытанных моряков, спокойно переносивших дьявольские бури во всех океанах. Единственное средство избежать джигурину – это поймать ровный ветер и идти с ним куда попало, пока не выйдешь из полосы зыби. Коля, сидевший на руле, закричал мне:

– Крепи парус!

Но как его, черта, крепить, когда волны хлещут до боли в лицо, промокшая парусина тяжела и рвется из рук, не давая ухватить себя. Коля кричит еще раз, и в голосе его я слышу негодование, но все мои усилия никуда не годятся. Тогда озлобившийся атаман изрыгает отчаянную непотребную брань, в которой проклинает все власти, земные и небесные, все органы человеческого тела, все предметы, реальные и отвлеченные, за исключением корабельного компаса и святого угодника Николая. Волосы у меня вздымаются кверху и становятся жесткими. Парус мгновенно хлопает и туго надувается. Быстрым ходом мы уже режем воду.

Я думал, что Констанди после сатирического отзыва о вновь перекрашиваемой «Светлане» разразится привычной для него бранью, но странно – его холодное возражение было прилично и сухо и тем более обидно для меня, столь гордившегося званием пайщика в рыболовной артели. Он сказал, внимательно расставляя слова:

– Вот вы только что смеялись с курортных дачников, которые лечатся виноградом. Но что же здесь смешного? Каждому овощу свое время, каждому человеку своя развлечение и своя занятость. Дачник себе занимается виноградом; всю набережную за осень заплует; а для них у папы Бисти первоклассный ресторан открыт. Юра Капитанаки занимается кофейной для нас, балаклавских жителей, доктор лечит, фельдшер кишку вставляет, жены наши детей нам рожают. Вот вы книжки составляете какие-то, и через это вам жалованье идет. Ну, конечно, всякому забавно с морем поиграться. Но, однако, как я в вашем писарском деле ни шиша не смыслю, так и вы в нашей тяжелой рыбацкой жизни мало чего понимаете. Ну разве когда приходило вам в башку то, что ладно построенный баркас живет с умелым и опытным рыбаком, как арабская лошадь со своим возлюбленным всадником? Во взаимной любви, в полном доверии и послушании? Или вы полагаете, что у баркаса нет души? Напрасно. Есть эта душа у лодки, как она есть у человека и у лошади. Недаром же во всех больших приморских городах есть чудесный обычай: когда моряка застигнет жестокая, смертельная авария и он чудом спасется на куске разбитого вдребезги судна, то дает он Богу обещание – и называется оно экс-вото – сделать благодарственную памятку, и от этого обета, экс-вото, никогда не отступаются. А состоит оно в том, что этот спасенный моряк, при помощи дерева, гвоздей, молотка и парусины, одними руками выпиливает, вытачивает и собирает точное изображение погибшего судна, со всеми его подробностями и величиной, когда вполчеловеческого роста, когда в ладонь, точно, как по фотографии. А сделав его, моряк идет в соборную церковь и отдает главному попу самодельное суденышко. А поп главный сначала строго исповедывает моряка.

Ведь на нас, на моряках и на рыбаках, грехов-то всегда, как ракушек на старом корабле. А после исповеди налагает батюшка на грешника самую тяжелую, неумолимую эпитимью, и когда эпитимья выдержана, то берет главный поп из очищенных покаянием рук моряка деревянную модель его судна и вешает ее на тончайших шпагатиках у самого алтаря, на поучение и как урок всем верующим. И висит этот экс-вото в святом месте бесконечное число лет. Вот теперь вы и подумайте, кирийе Александр, есть ли в баркасе душа или нет, если сам главный поп, специалист и дока по этим делам, вешает самодельный кораблик рядом со святым алтарем?

Что поделаешь? Убедительная и наивная речь Коли Констанди совсем меня растрогала. Я попросил прощения и получил его, мы крепко пожали друг другу руки. Смягчившийся, снова подобревший, Коля еще многое рассказал мне о «Светлане».

– Вот как все произошло и сделалось, – говорил атаман. – Отбывал я воинскую повинность в Черноморском флоте и служил на крейсере «Светлана». Начальство меня очень любило. Да, впрочем, всем давно известно, что мы – греческие человеки – суть наилучшие во всем мире лощманы, боцманы, моряки и капитаны, и на том же крейсере «Светлана» мы пошли в конце моей службы в Грецию, в гости к прекрасной и великой королеве Елене, имея на борту августейших лиц и самых важных сановников.

Всем было известно, что королева Елена по роду своему была русской великой княжной.

В Афинах весь наш экипаж был представлен королеве, и на ее ласковое приветствие мы громко ответили:

– Здравия желаем, ваше королевское величество.

Затем нам, матросам, был дан роскошный обед, во время которого владычица Греции обходила столы и милостиво беседовала с нами. Так она спросила, много ли на «Светлане» русских греков? Ей ответили, что пять, и все из Балаклавы.

Тогда нам всем пятерым перед отходом «Светланы» было вручено в бархатных футлярах по прекрасным серебряным часам с именем и вензелем королевы Елены, и сама она назвала нас русско-греческими земляками. Эти часы до сих пор висят у меня на стенке у кровати и никогда не ходят после того, как выкупались в море у мыса Фиолент. Я и жена моя очень дорожим ими, потому что они имели большое значение в нашей судьбе. Я уже давно был влюблен в соседку нашу, Стефаниду Стельянуди, и она на меня поглядывала не без ласки. Но старик Стельянуди был богат, а мы, Констанди, были люди хорошей фамилии и честной жизни, но бедняки, и потому-то я свататься никак не решался. Но когда я окончил службу во флоте и пришел домой с двумя значками на груди, с кое-какими деньгами, нажитыми во время службы и путем отказа от порционной чарки водки, да еще с часами – подарком самой греческой королевы, то Стельянуди стал смягчаться. Особенно его рассиропили часы, лично пожалованные царицей Греции. Мы, греки, уж такие люди, что успех и награду каждого грека принимаем к самому сердцу. Благословил нас старик Стельянуди и в приданое нам дал новый баркас, заказанный, по его собственным указаниям, знаменитому севастопольскому мастеру. В один и тот же день было наше венчание и освящение баркаса, который мы все трое единогласно окрестили «Светланой». Ну уж и хорошо суденышко! Хоть оно мне и родня, но не могу не похвалить! – И тут Коля продолжительно и сладостно зачмокал языком – способ греков выражать высшее наслаждение.

После этого задушевного разговора у нас с Колей не осталось ни пушинки, ни тени взаимного неудовольствия. Обмазывая белой краской «Светлану», он спросил меня, не могу ли я нарисовать или извлечь из какого-нибудь издания те буквы, из которых можно будет составить слово «Светлана» в необходимую величину.

Я согласился помочь в этом Коле и взаправду принялся яростно за розыски. Но через три дня, ранним утром, когда я еще пил в халате утренний кофе, кто-то властно постучался в мою дверь.

– Войдите.

Вошел давно мне знакомый полицейский пристав Цемко, с бумагами под мышкой и с каменным выражением лица.

– Извольте прочитать и в извещении расписаться.

Это была бумага ко мне от крупного севастопольского начальника, и она кратко глаголила: «Именуемому себя литератором поручику в отставке такому-то предлагается через двадцать четыре часа выехать из Балаклавы, со строгим воспрещением впредь появляться в районе радиуса Севастополь – Балаклава. В получении этого предложения – расписаться».

Я спокойно, без лишних вопросов и протестов, подчинился воле властей предержавших: в течение получаса уложил все свои вещи в два походных чемодана и сказал:

– Я готов.

Пристав Цемко любезно нанял мне парного извозчика до севастопольского вокзала и – прощай, прощай навсегда, моя милая Балаклава. Прощай, купленный мною и любовно возделанный участок «Кефаловрисы», прощайте, дорогие друзья, балаклавские рыбаки, все эти Констанди, Паратино, Капитанаки, Стельянуди, Ватикиоти, Мурузи и другие храбрые грекондосы, с которыми я разделял прелесть опасности и труды морской жизни. Прощай, стройная лодка «Светлана». Мне уже так и не привелось больше увидеть этого безмятежного края. Вот к каким злосчастьям приводит рыцарский закон: «Всегда стой за меньшинство».

Памяти Чехова

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет – и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, – ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

– Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, – она походила бы на здания в стиле *moderne*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало

отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водой. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревливой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водой запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

– Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. – Знаете ли, через триста-четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его душевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было – ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, – он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

– Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скупался в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броне и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

– Ах ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырёх, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь

одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, – рассказывал мой знакомый. – Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

– Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил!

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, отдельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, – лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери – большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему – письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише – турецкий диван. С правой стороны, посередине стены – коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами – это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу – дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, – светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета – в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо – шкаф с книгами. На камине несколько безделушек, и между ними прекрасно сделанная модель парусной шкуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты – Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, – тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале Лондонской гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, – слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное – в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, – именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков – словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекло, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот – удивительно – каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб – широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека – у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

– Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, – пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда – небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде

туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота – и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, – надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу – прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня

тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно – до чего не понимали Чехова! Он – этот «неисправимый пессимист», – как его определяли, – никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

– Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отзывался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П.-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П., – заключил свой рассказ архитектор, – я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это – случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию – и что бы тогда вышло?» – «Да, все это очень прискорбно, – ответил Чехов, – но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы». – «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, – обрадовался архитектор. – Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя – вы и господин П.» (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика).

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

– Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, – и это, каюсь, отчасти моя вина, – как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опу-

ценными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

– Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

– Почему так?

– Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он сам с самым серьезным лицом сказал:

– Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, – удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящие из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

– А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

– Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П.-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно

рекомендовал обратиться к более опытному доктору, – «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам – полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

– Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, – признавался Чехов. – А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

– А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, – жаловался он в одном письме, – что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

– У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда – но год от году все реже и реже – воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

– Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедem к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные – чеховские – фамилии, из которых я теперь – увы! – помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, – Бунин мой сверстник, – уверял он с напускной серьезностью. – Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с

ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя и кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время или разбирался в своих памятных книжках, заноса впечатления дня, – это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

– Только спаси вас Бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по несколько лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, – говорил он как-то, – то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает! Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа – работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражающие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которую так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запо-

минании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

– А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем, – это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

– Знаете, Москва – самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих – их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба Божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба Божия Михаила, раба Божия Михаила...» А сам в Бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, – говорил А. П., весело улыбаясь, – в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: „Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?“ Я тогда же неосторожно сказал: „Ах, так вот откуда это у вас в „Палате № 6“. – «Ну да, оттуда“, – ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеял», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тон-

кие, «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, – только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он искал, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть, часто против желания, в силу давно изошренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его кажущегося безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпреними словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени, и прижмет одну руку к сердцу, и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься „нашим молодым“ и „подающим надежды“, – он отвечал спокойно и серьезно:

– Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, – и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я сверху, – говорил он со своей очаровательной улыбкой. – И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ.

Чудесно написано», – говорил он в таких случаях грубоватым и задушевым голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого:

«Дорогой N., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них, – ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей – опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу».

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой N., – писал он одному знакомому, – сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л. Н. Толстой и что она ему очень понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец, и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.».

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

– Пишите, пишите как можно больше, – говорил он начинающим беллетристам. – Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное – не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

– Слушайте: ездите почаще в третьем классе, – советовал он. – Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

– Не понимаю, отчего вы – молодой, здоровый и свободный – не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

– Отчего вы не напишете пьесу? – спрашивал он иногда. – Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, – говорил он. – Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, – доказывал он, – а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральные впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из „Паяцев“? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взглядом и говорит жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена – тот же храм!»

После этого рассказа А. П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена – это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это: «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы – это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку – иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

– В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, – говорил он молодым писателям. – Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется – произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штук не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и остряли, бывало: «Эх, вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно».

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, – говорил он решительным тоном. – И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? – Мопассан. Он,

как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, – они все здоровые мужики. Но писать – мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленец. «Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, – все равно, какое придет в голову, – и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире – это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, – рассказывал он, – я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так – нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым – без привязанности, благодетелем – не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов – это обыкновенный максимум для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой

приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже равнодушно:

– Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. Все равно – и там такая же радость.

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке – в его лице, голосе, походке – то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

– Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, – сказал он, волнуясь и покашливая. – Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было – кровь шла», – скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

– А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

– Видите ли: пока у человека хороши легкие – все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»⁶³. И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слышавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

– Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе – и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

⁶³ Я умираю! (нем.)

Юг благословенный

І. Южные звезды

В маленьком, как курятник, купе помещалась милая французская семья: молодой лейтенант инженерных войск, его худенькая болезненная жена с кроткими усталыми глазами, его теща, еще красивая, начинающая седеть, молчаливая, но энергичная дама, и их общее боже-ство, гражданин свободной Франции Пьеро, двух месяцев от роду, большой шалун, по мнению родителей, и хитрец. Я же отметил у него хорошо поставленный голос.

Устраиваясь на ночь, мои соседи из преувеличенной боязни сквозного ветра закрыли плотно все двери и окна не только в нашем помещении, но и в коридоре... Ночь была знойная; от толстой суконной обивки и от множества мягкой домашней рухляди шла жаркая, прелая, кислая духота. Я уже знал, что не заснуть. Поворочался час-два у себя на верхней полке, лоя воздух ртом, как рыба, а потом осторожно сполз вниз и вышел на площадку.

Там оконная рама была приспущена вниз. Я жадно высунул голову в свежую темноту ночи, в упругую встречную струю ветра. И вот с неописуемым изумлением, с нежностью, восторгом и благодарностью я увидел звезды.

Я их не видел целых пять лет (последний раз в Финляндии); вернее сказать, равнодушно глядел на них сквозь густую кисею городской пыли и копоти, и казались они мне такими далекими, маленькими и вялыми, такими забытыми и запущенными, что даже не думалось о них хорошо. И вдруг передо мною мгновенно предстали миллионы сияющих глаз, золотые и серебряные россыпи на черном небе, живой, шевелящийся, блестящий, переливающийся рой.

Так много было звезд в моем оконном квадрате, точно они сбегались сюда со всего неба. Ни одного знакомого созвездия я не находил. Плыли какие-то совсем новые, невиданные группы. Я заметил корму корабля с тремя ярусами парусов, сделанных из серебряной вуали, летящее копьё с раздвоенным наконечником, туманное озеро в оправе из брильянтов, развязанный пояс с застежкой из чудесного сапфира и чей-то ярко-зеленый прищуренный глаз, пристально глядевший из-за решетки...

Я нарочно заглянул в противоположное окно. Там было пусто: всего только три десятка серьезных положительных звезд, чуждых всякой небесной фантазии, исполняющих свои прямые обязанности с неукоснительной аккуратностью. У меня же, наоборот, были какие-то звездные каникулы, какой-то веселый пикник звездных мальчуганов и девушек, собравшихся на запасных путях!

Никогда еще в жизни я не видел таких огромных, прекрасных и вместе с тем таких простодушных, домашних, доверчивых звезд. Я даже не смел думать, что я их такими когда-нибудь увижу. Они спокойно, без боязни и без гордости, спускались с неба до самой земли. Я их видел на высоте своего роста и гораздо ниже. Они путались в ветвях яблонь и непринужденно сидели на земле.

Если бы у меня было время и если бы поезд согласился немножко подождать меня, я пробрался бы через бегучий кустарник, ограждавший путь, вышел бы на круглую росистую лужайку, за которой всего в версте идет круглая черта горизонта, и, наверное, успел бы увидеть шагах в двадцати от себя хоть одну пушистую кроткую звезду. Нет, нет, я не попытался бы по земной дурной привычке дотронуться до нее рукою. Я бы только поглядел с минуточку, потом снял бы шляпу, поклонился низко и ушел бы на цыпочках.

Вот какие странные вещи видишь и о каких странных вещах думаешь, когда высунешься бессонной ночью из окна летящего поезда! Помню, меня поразило необычное красноватое сияние слева. Я всмотрелся: там простиралось большое, открытое со всех сторон поле, а на

нем, посредине, валялся брошенный кем-то кривой, узкий, источенный ятаган. Его ясная сталь блестела, как зеркальная, но тонкое лезвие было багряно от крови. Я не сразу догадался, что это собирается подняться над землю в последний раз старый, ущербленный месяц; завтра он уже не будет лежать среди поля, его сдадут в небесный музей.

Я долго следил за его воздушным восходящим путем. Ставши над деревьями, он сразу увеличился и засиял по-прежнему, как победитель, но всего лишь на несколько минут. Тонкой розовой пылью кто-то посыпал сверху на поля, холмы и дали, и месяц сразу потускнел; потом, уже высоко в небе, он стал похож на отдаленный косой парусок рыбацкой лодки и вдруг исчез, растаял, пока я закуривал папиросу.

А тут я и сам не заметил, как ушли мои милые звезды, давно уже побледневшие от усталости. Должно быть, те, старшие, серьезные, – которые в другом окне, – угомонили их, наконец, и повели спать далеко за горизонт, на обратную сторону земли, туда, где люди ходят вниз головой, вверх ногами и почему-то, однако, не падают.

II. Город Ош

Первое впечатление – Могилев на Днестре. Та же длинная, широченная, пыльная улица, обсаженная по бокам старыми, густолиственными, темными вязами. Так же жители идут не по сомнительным тротуарам, а посредине мостовой. Те же маленькие серо-желтые дома и ничтожные лавчонки.

В центре площадь. На дощечках она значится Верденской, но это – непривившаяся новость. Коренные обитатели до сих пор называют ее «Гусиной лапой» (*Patte d'oie*), потому что от нее пятью радиусами расходятся дороги на Тулузу, Ажен, Миранду, Тарб и в Старый город.

Много автомобилей, принадлежащих окрестным фермерам. Тяжелые грузы возят на быках. Страшно смотреть, какие огромные тяжести влечет, медлительно и в ногу, пара этих прекрасных, могучих животных, белой или светло-палевой масти, похожих на священных Аписов в своих белых пополах с голубыми каемками, в густых разноцветных сетках на массивных рогатых мордах!

Лошади здесь – большей частью серые, выводные из Тарба, как говорят, – с примесью арабской крови. Они малы ростом, но очень стройны, нарядны, горячи и неутомимы в беге. Запряженные в двухколесные лакированные желтые ящики, они мчатся по главной улице (Эльзас Лоррен, местный Итальянский бульвар) с таким пылким усердием, так часто-часто цокая копытцами тоненьких прелестных ножек, что вблизи кажется, будто за ними не угнаться призовому американскому рысаку.

Тут любят лошадей и лошадиный спорт. В крошечном Оше, где всего тринадцать тысяч триста жителей, есть свой ипподром, и только вчера я видел стенные афиши, объявляющие о скором открытии скаковых и беговых состязаний.

Все, что в Оше есть замечательного, можно, не торопясь, осмотреть в один день. Прежде всего собор Св. Марии с чудесным витражем Арно де Моля и резными из дуба хорами – изумительная работа монахов XVI столетия. Рядом торчит вверх своими семью этажами серо-желтая четырехгранная башня с островерхой коричневой крышей – темница, куда сажали своих врагов и провинившихся вассалов графы д'Арманьяки, наследовавшие князьям Гасконским в начале XI столетия. Есть еще крытый рынок, где по понедельникам торгуют птицей, скотом и овощами, но это также и биржа по закупке и продаже оптом.

Есть музей с портретами де Лавальер, де Монтеспан и де Ментенон кисти Миньяра. Есть в разных местах пять статуй. Все эти достопримечательности находятся в старом нагорном городе.

Между старым и новым городами, разделяя их, не протекает, а стоит речка Жер с зеленой густой и грязной водой. Вот, кажется, и все.

Я приглядываюсь к жителям Оша (les Auchescains, как они себя называют) вот уже почти месяц, но чувствую, что одно из двух: или мне не удастся найти ключа к душе заглохшего древнего города, или ключ этот давно уже потерян.

Я нахожусь в столице Генриха IV, в центре Гасконии, в самом сердце поэтической, воинственной, остроумной, пылкой, славной страны, на родине Монтлюка, Рокелора, Бирона, д'Артаньяна, Сирано де Бержерака и других храбрых, но бедных гасконских кадет, воспетых Саллюстием де Барта, Александром Дюма и Эдмондом Ростаном. Где же хоть отзвук, хоть легкая тень прежней жизни – такой богатой и блестящей? Не съели ли ее, как многое другое, столь прекрасное издали – порох, книгопечатание, революция, железная дорога и готовая пиджачная пара со штанами навывпуск?

Жители Оша степенны, терпеливо-любезны, когда к ним обращаешься с вопросом или за указанием. Никогда не торопятся, скупы на жесты. Есть на всем городе тонкий налет меланхолической задумчивой усталости. Изредка, когда я желаю доброго дня почтенному, пожилому буржуа, я слышу в ответ старомодное и четкое:

– Je vous salue, mon sieur...

Это звучит очень веско: «Я вас приветствую, мой господин»; не хватает только для круглости фразы: «...в моем добром городе Оше».

Днем очень мало людей на улицах и почти совсем нет их в лавках. Только старые женщины – все в черном, в черных шляпах или косынках – сидят на порогах домов и быстро мелькают вязальными спицами, озирая вскользь каждого прохожего. Но по вечерам, когда спадет жара, посвежеет и потемнеет воздух и зажжется электричество, – на главной улице начинается то же гулянье взад и вперед молодежи, как это бывает и в Коломне, и в Устюжне, и в Петрозаводске. Девушки одеты по-парижски, черноглазы, с прекрасным цветом лица и очень милы. А на освещенных верандах кафе, под платанами, мужчины солидно тянут свои аперитивы, большей частью когда-то знаменитый арманьяк, подлинный секрет которого давно утерян.

На верандах редко увидишь канотье или фетровую шляпу. Преобладает баскский берет, туго и крепко облепляющий всю голову, с пипочкой наверху – для снятия перед сном. Этот берет очень низко надвинут на лоб, почти закрывая его, что еще больше подчеркивает внушительность знаменитых гасконских носов. Когда, сидя на веранде, я вижу вокруг себя эти загорелые лица, жесткие черные усы, выразительные глаза, большие серьезные носы и слышу непонятный мне местный говор, – я воображаю себя в садике тифлисского духана.

В маленьких кабачках иногда поют хором и – представьте, к моему удивлению, – не только на три голоса, но и стройно. До сих пор я привык к тому, что во Франции поют все в унисон и каждый фальшиво. Но уже давно известно, что у южан два пристрастия: музыка и чеснок. Могу свидетельствовать о том, что ошский чеснок обладает особенно острым и сильным ароматом, и когда им благоухают нежные женские уста, слегка затененные прелестным пушком, – это выходит совсем трогательно.

Конечно, я могу ошибиться, но мне кажется, что в этом плоском, скучном, невыразительном, сонном городе нет ни местной кухни, ни национального костюма, ни легенд, ни старых обычаев и танцев.

Память о славном прошлом вся ушла на ту сторону Жера, в Старый город, куда надо подняться или на сто семьдесят пять ступеней так называемой «монументальной» лестницы, или в обход, кривыми горными улицами.

Там, как на блюде, стояла когда-то грозная крепость со стенами саженной ширины, с башнями, амбразурами и бойницами, господствуя над всей доступной взору окрестностью. Теперь от этой былой мощи остались лишь молчаливые полуразвалины, кое-где реставрированные, кое-где заслоненные новейшими однообразными домами, желтыми, плоскими, без карнизов и балконов, казарменного типа.

Сверху вниз, путаясь между собою, бегут узкие крутые улочки, носящие странное название «les Pousterles», а по-итальянски «pusterla»⁶⁴.

Это слово, видоизменившись, перешло в современную фортификацию под названием «la poterne», потерна, что означает подземный ход. Когда-то эти улицы, иные в ширину не больше человеческого размаха, а крутизною круче сорока пяти градусов, крытые и замаскированные, служили ходами сообщений, хранилищами припасов и путями для вылазок. И несомненно, по этим потернам на головы атакующего врага скатывались огромные камни, лились потоки горячей смолы и расплавленного свинца.

Я заворачиваю вдоль каменного невысокого парапета и еще издали вижу синюю дощечку с надписью: «Старая потерна». Спуск этой узкой улочки так стремителен и резок, что у меня мутится в голове и слабеют ноги. В то же время я с несомненной ясностью вспоминаю, что когда-то, давным-давно, в позабытом ли сне, или в отдаленной прошлой жизни, я так же стоял на гребне этой кручи, прежде чем спуститься в нее, и что тогда душа моя была вся скомкана и раздавлена тягчайшей болью и злым унынием. Я знаю, что тогда я все-таки сошел вниз, преодолев свои колебания, а теперь... смогу ли?

Но я и теперь пересиливаю минутную робость. Упираясь рукою в стены крошечных серых домиков, цепляясь за подоконники, я медленно сползаю вниз. Мне кажется, оставь я эти каменные опоры – я сейчас же покачусь безудержно, стремглав вниз через голову и боком. А двое детей лет четырех-пяти беззаботно играют посредине улицы!

Так доползаю я до низу. Стоя уже на ровной почве, оглядываюсь назад. Отвесные стены улицы сходятся наверху в одну точку. А выше – зубцы шпиля и жуткая башня крепости. Страшновато.

Да, здесь когда-то жили люди железной воли, великой храбрости, жестокого веселья. Не они ли, украсив французскую историю военными страницами, исчерпали силу народного духа и пламень народной крови. Пусть гасконский крестьянин ест себе на здоровье свою воскресную курицу, но из гасконских городов выветрилась поэзия!

III. «Фаворитка»

В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливецом и баловнем судьбы. В какой бы город или городишко меня ни забрасывал случай – везде меня ждали: либо новое зрелище, либо занимательная встреча, которые связывали накрепко мою память с местом. Поэтому с некоторой обидой я уже думал о том, что город Ош останется навсегда в моих воспоминаниях пустым, плоским и скучным промежутком.

Но все-таки и на этот раз привычная удача не обманула меня. Правда, – под самый конец, под занавес.

Однажды утром на площади «Гусиной лапы» появились большие красные афиши. В них извещалось, что такого-то числа (дней через десять) будет поставлена на улице Оша, под открытым небом, комическая опера «Фаворитка», сочинения Доницетти. Участвуют такие-то артисты и артистки: из «Гэтэ Лирик» в Париже, из Тулузского Капитолия и благородный бас (*basse noble*) из Марсели господин Казабон. Хормейстер и дирижер такой-то. Билеты по пятнадцати, десяти и пяти франков, променуар⁶⁵ три франка. Начало в восемь часов тридцать минут вечера.

Я всегда любил представления на свежем воздухе. Одно из них – «Кармен», – виденное и слышанное мною тринадцать лет назад в городе Фрежюсе, в развалинах древней римской

⁶⁴ Итальянцы были лучшими военными инженерами XI—XV веков. (Прим. автора.)

⁶⁵ Места для стояния в зрительном зале вокруг партера (*фр.*).

арены, с участием великой Сесиль Кеттен, – до сих пор еще живет в моей душе во всей его незабвенной прелести, торжественной простоте и необычайной силе.

Ждать спектакля пришлось много дней. Я несколько раз заходил на улицу Гоша. Она коротенькая, но широкая. Тротуары отделены от мостовой двумя рядами старых, мощных, развесистых платанов. В конце этой аллеи – высокий квадратный помост. Он прочен, выкрашен голубоватой масляной краской и, очевидно, выстроен для постоянного пользования. Даже утром, в день спектакля, я не заметил около него никаких приготовлений, кроме наружной будочки-кассы с надписью «*relouse 2 fr.*»⁶⁶ (очевидно, ее взяли напрокат со скачек) да двух принесенных бревен, на которых сидели два блузника и флегматично курили. Такое равнодушие к близкому представлению меня чуть-чуть смутило, тем более что старожилы, – а они всегда скептики, – уверяли меня:

– Не беспокойтесь. Если даже не будет дождя, то все равно спектакль может не состояться по сотне внутренних причин. Такие примеры бывали. И даже за пять минут до начала.

Тем не менее к определенному сроку (уже смеркалось) я купил в деревянной будочке билет и проскользнул в щелочку забора, только что поставленного поперек улицы. Другой забор огораживал зрительный зал с другого конца.

Было пустовато. Во всем мире провинциальная публика неаккуратна: появляться первыми в театр, концерт или на бал – неприлично: «Еще подумают – что для нас это в диковинку!»

Занавеса не было вовсе. Вдоль трех сторон сцены стояли пальмы в кадках и какие-то большие разлзтые цветущие растения. Позади их – полускрытые электрические лампы; еще сзади, как фон, повисли разноцветные флаги: английские, американские, испанские, итальянские и, на первом месте, французские, вокруг букв R. F. Над зрительным залом на высоком столбе матово сиял электрический фонарь.

Публика собиралась вяло. Вышел на сцену какой-то серенький человек и утвердил в правом углу среди кустов деревянный голубой крест. Я сразу догадался: первый акт происходит на кладбище или около церкви... Потом оказалось – в монастырском саду.

Застучали за кулисами палкой. Пришел оркестр: пять человек, не считая пианистки и дирижера. Еще раз застучали. Дирижер, лысый, с длинной седой бородой, ветхозаветный старик, взмахнул палочкой – и началась увертюра, а затем гуськом прошел хор монахов.

Ну, что сказать о содержании пьесы? Монах Фердинанд влюбился в фаворитку короля Альфонса. Она – в него. Монах покинул монастырь. Королю подали перехваченное письмо. Вот и все. Трагической развязки я так и не узнал из-за множества купюр.

Конечно, я видал спектакли и похуже. Как и всюду, хористы (четыре человека) знали только один классический жест – жест остолбенелого изумления: тело откинута назад, правая рука вытянута вперед и вбок, к соседу, с растопыренными пальцами, глаза вытаращены. Хористки (три) стояли безучастно, с руками, сплетенными ниже живота. У благородного баса в голосе остались всего две дребезжащие ноты. У короля-баритона часто выскакивали петухи. Тенор козлил и становился на цыпочки, атакуя конечное фермато. Примадонна на высоких нотах делала рот вроде удлинненного О, внизу немного свороченного набок. Но все это так уже положено с первоначальных дней оперы...

И все-таки... все-таки музыка Доницетти, – старая, условная, наивная музыка, – мила, проста и чиста, как свежая родниковая вода, вкус которой мы уже позабыли, объевшись и опившись пряными кушаньями и напитками. Все-таки оркестр и хор делали свое дело старательно и очень музыкально. Все-таки артисты увлекались и увлекали публику. И дай бог всякому артисту, особенно начинающему, такую простосердечную, горячую и снисходительную публику. Каждую арию она встречала чудесными, искренними аплодисментами, на ошибки

⁶⁶ «Лужайка 2 фр.» – наиболее дешевые места на скачках (*фр.*).

только смеялась добродушно, по-семейному, а в особенно музыкальных местах простодушно и не без вкуса подпевала хору.

А в самом конце четвертого акта меня ожидала минута редкой красоты и радости.

Фаворитка на сцене одна, в белом платье.

Жалуется она на свою печальную судьбу. Страшен гнев короля, страшно за любимого и еще страшнее и горше расстаться с любовью. Нежным пианиссимо, тихими вздохами ей аккомпанирует оркестрик, и бережно, сочувственно вторит ей в терциях задумчивая, покорная валторна... Я поднял голову кверху. Рядом с электрическим сияющим шаром стоит такой же величины, как и он, полная луна. Цикады во всем Оше и окрестностях заливаются своим неумолкаемым, сухим, серебряным звоном; ароматом свежего сена наполнен воздух.

Две большие ночные бабочки налетели на фонарь и бьются об него, бросая огромные, порхающие тени на головы зрителей, И вдруг начали свой сиплый, густой музыкальный бой трехсотлетние кафедральные часы. И вот оркестр, и цикады, и бегающие трепетные тени, и древний звук часов, и запах сена, и две луны в небе – все это слилось в такую нежную, прелестную гармонию, что сердце сжалось в сладком, сладком, невыразимом восторге. Ах, стоит жить из-за таких вот двух-трех секундочек, изредка и случайно выпадающих на нашу долю!

IV. Живая вода

Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита карабкался поезд в гору. В Пьерфите пересели в электрический вагон и доползли к сумеркам наверх в горный курорт Сен-Совер-Лебен. И во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались и мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные реки, стремительные речки, торопливые шумные ручейки, а вдали пенистые, узкие каскады повисли в горах белыми нитями. И чем выше, тем больше было этих «gaves» (потоков), как их называют в Верхних Пиренеях.

Сен-Совер лежит по обеим сторонам крутобокой лощины, на дне которой бежит, то расширяясь, то суживаясь, весь в водоворотах, пене и блеске, гремучий Gave de Peau.

С чем сравнить этот горный пейзаж? Там, где он красив, – ему далеко до великолепной роскоши Койшаурской долины и до миловидного нарядного Крыма. Там, где он жуток, – его и сравнивать нельзя с мрачной красотой Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то похожее и на Яйлу и на Кавказский хребет, но... давно известно, что у нас было все лучше!

Несмотря на позднее время, я успел пробежаться по главной горной дороге от Люза до легкого железнодорожного моста через речку, построенного по желанию Наполеона III.

Этот император, бывший адвокат из города Гама, очень любил свой юг и в особенности Пиренеи. Это он открыл Сен-Совер, вдохнул в него жизнь и дал первый толчок его сердцу. Не его вина, что этот благословенный уголок облюбовали американцы и англичане. Ведь давно известно, что там, где повелись жить мистер Доллар и сэр Фунт, – нам, простым смертным, не житье. Первейшие удобства комфорта здесь еще помещаются во дворе, под открытым небом, а суточная плата за номер и табльдот – как в ниццких отелях в сезонные месяцы. Впрочем – ничего. Мир еще очень обширен.

Меня поразило обилие воды. Она струится, плескается, журчит и скрежещет камнями повсюду: впереди вас и сзади, над вашей головой и под вашими ногами, бежит опростелью вдоль узких тротуаров, льется светлыми дугами из труб, белыми, клокочущими, яркими клубами бьет прямо из скал, падает с уступа в горах многоярусными водопадами.

Ночью я проснулся в своем гостиничном номере. Спросонья мне показалось, что на улице идет проливной дождь. Именно тот ливень, про который говорят: «разверзлись хляби небесные» и «льет как из ведра». Я босиком пошел затворить окно. На небе было тихо и звездно. Облака спокойно окутывали вершины гор. Ветер заснул. Но неумолчным шумом, ропотом, плеском, звонким говором полны были земля и воздух. Это – бежали горные воды.

Весь горный массив Пиренеев становится мало-помалу исполинским источником электрической энергии. Все эти быстрые реки, сотни говорливых речек, тысячи бырких, звонких ручейков – все они представляют собой неистощимый запас белого угля.

Их падение регулируется, их дикий разбег обуздывается системой каналов и шлюзов, их тяжесть и скорость, претворенные в электрические токи, уже дают свет городам и движение машинам. На каждом горном извороте вы увидите легкое здание с надписью «Электрическая станция». Из Пиренеев до Орлеана тянутся на шестьсот верст толстые металлические кабели, подвешенные десятками параллельных линий на массивных железных столбах. Скоро-скоро они дотянутся и до Парижа.

Здесь всего лишь начало того грандиознейшего предприятия, думая о котором невольно проникаешься почтением к человеческому гению. Скопидомы, жилистые люди, идолослужители сберегательной книжки, а как развернут какое-нибудь сооружение, – то только диву даешься: как это они с планетарной грандиозностью всегда умеют соединить изящество и остроумие!

Ах уж эти французы! Впрочем, не они ли – эти эгоистичные и бережливые люди – отдали все, что могли, для великой победы, отдали и трудовыми сбережениями, и драгоценной галльской кровью? Какая широта народной души!

Хорошо тому, кто рано просыпается и с рассветом выходит на воздух. В путешествии это верный подход к городу, стране и народу.

Первое, что я увидел, – был городской базар. Вообразите себе два старых, раскидистых платана; между ними крошечный фонтанчик, игриво бьющий дугою из каменной чашки, а слева и справа две деревянные скамьи без спинок. На скамейках сидят шесть старушек, все в черных одеждах и в черных широких шляпах, все, сгорбившись, единообразно и быстро мелькают вязальными спицами и что-то беззвучно лепечут под плеск фонтана, склоняя друг к дружке мышиные головы. На коленях у них малюсенькие корзиночки, и в них овощи не связками, не пучками, а штучками – у одной шесть луковиц, у другой – четыре морковки, у третьей – два толстых развесистых порея, у следующей – один капустный кочан, дальше – чуть-чуть свеклы, а еще дальше – чуть-чуть стручков. И это – весь рынок.

«А может быть, это вовсе не рынок, – думаю я на секунду, – а первая репетиция какой-нибудь мистической пьесы Ибсена, Метерлинка или Андреева на огромной сцене, с отрогом Пиренейского хребта на заднем плане». Так странно и неправдоподобно это зрелище. И первая покупательница вовсе не рассеивает моей фантазии. Она очень стара, высока и костлява и также вся в черном. Она подходит к самой левой из старух, вытаскивает своей длинной, узкой, жилистой рукой со скрюченными пальцами один стручок из корзины, отламывает половину, остальное бросает обратно. Торопливо, по-беличьи грызя кожуру, она подходит к соседней старухе, потом к следующей и так до конца. И все пробует. Делается это молчаливо и поспешно. И так же молча, не купив ничего, быстрыми шагами она уходит за кулисы. В самом деле, кто мне поручится, что это была капризная покупательница, а не театральная фея Фисрис, обладающая, по пьесе, дурным, неживчивым и вздорным характером, зная который мышиные старушки не подымали глаз от вязанья, а только тихо наклонялись одна к другой и беззвучно перешептывались?

В это утро, пока черно-лиловые горы медленно делали навстречу солнцу свой туалет, снимая с себя сначала тяжелые сизые одежды из густых облаков, а потом легкие, белые и розовые покровы туманов, я успел осмотреть все достопримечательности Сен-Совера. Их очень мало, и из них самые главные и самые сладостные – это бегущая, журчащая повсюду живая вода и зелень лугов, кустов и деревьев – такая нежная, свежая и благоуханная в августе, какой она внизу, на равнине, бывает только ранней весной. И от сена здесь разливается несравненный, неопишуемый аромат. На каждой улице, вдоль тротуаров, бегут прыткие струистые ручейки, а в них на каждом шагу опущены двухлопастные деревянные вертушки, которые крутятся с

усердной быстрою. В жаркие дни это приспособление освежает воздух, но его можно приспособить и к прядильной мастерской, и к домашнему электрическому освещению.

Вот я вижу, как такой беспокойный ручьишко круто свернул вправо и нырнул в трубу, под мостовую. Но в заключении он побыл всего две секунды, выскочил на ту сторону улицы из-под земли и по крутому откосу стремглав мчится в ущелье, в бурный, клокочущий, кипящий Gave de Peau. Прыгает он с бугра на бугор по круче, змеится, обегая деревья, падает белыми отвесными каскадами, прыгает через камни, разбрасывая брызги и пенясь... Весь он – движение и упругая энергия. Он совсем похож на расшалившегося годовалого жеребенка, и мне хочется ласково сказать ему:

– Кось-кось-косенька (так в Зарайском уезде кличут молоденьких жеребят)! погоди, резвый кося, поймают тебя опытные люди на бегу, обротают, взнуздают и запрягут. Правда, побьешься ты и пофордыбачишь достаточно, но кто же устоит против человека? А там, глядь, – присмиренный, ручной, добежишь ты до Парижа и меня, французского гостя, будешь послушно возить каждый день по рельсам от площади Мюетт до Порт-Майо и обратно.

Париж интимный

Помните, как мы были когда-то, давным-давно, резвыми семилетними мальчуганами и как нас впервые учили плавать? Существовало несколько методов в этой науке: плавание на бычачьих пузырях и на пробках, плавание на поясе, с поддержкой сверху; иные начинали плавать, держась за плечо опытного пловца, и так далее. Но был и суровый, героический способ обучения. Он состоял в том, что дружеская мощная рука хватает тебя поперек туловища и швыряет, как котенка, в воду. «Так, так. Барахтайся. Только держи голову над водой». Ты барахтаешься. Вода льется тебе и в рот и в нос. Глаза твои дико выпучены от страха и холода. Ты захлебываешься и задыхаешься. «Держи голову выше». И, наконец, в самую критическую минуту та же верная, сильная рука быстро извлекает тебя на поверхность. И ты потом еще долго прыгаешь на одной ноге, яростно мотая головой, чтобы вытрясти из ушей набившуюся в них воду, которая при каждом шаге бубнит в голове, как турецкий барабан. И – глядишь – через четыре дня юный пловец, воспитываемый в гуманной дисциплине, еще бьется беспомощно между своими желтыми капризными пузырями, а последователь ригорического метода уже плавает свободно и уверенно и притом плавает не по-собачьи, а по-мужски, «по саженкам».

Этот второй метод я и предлагаю добрым россиянам, впервые попавшим в столицу мира.

Не уподобляйтесь никогда этим глобтроттерам, этим – по ловкому словечку остроумной Н. А. Тэффи – кукиным детям, которые успевают в течение месяца, при помощи гидов, путеводителей и вранья земляков-старожилов, изучить Париж «как свои пять пальцев». Смешно, грубо и жалко заблуждаются эти просвещенные путешественники. Вот краткий перечень тех впечатлений, которые они везут из Парижа на свою родину: Монна Лиза (Джиоконда), Гермифродит, Венера Милосская, Бриллиант, Регент, собор Нотр-Дам, Эйфелева башня, Большие Бульвары, Ателье Пуаре, да еще выставка Независимых, причем парижский кратковременный гость так и не догадается никогда: видел ли он футуристические полотна повешенными как следует или вверх ногами.

Резче всего останутся в его памяти рестораны, мюзик-холлы, ночные кабачки и театрики, и полутайные учреждения, где демонстрируются те мерзости, о которых не только апостол Павел запретил человеку глаголати, но которым не нашлось места даже в ужасном тремнике Петра Могилы, в отделе «чин исповедания мирских человек». Замечательно: с незапамятных времен эти иностранные обозреватели музеев, пейзажей и нравов, так же как когда-то и наши прежние «ле бойяр русс», выносили из своего узкого и однобокого опыта огульное мнение о развратности французских женщин.

Какое наглое и, главное, глупое вранье! Давно известно, что спрос родит предложение, а потому в каждой из современных огромных столиц требовательный, развратный, избалованный и богатый человек всегда найдет свой любимый свинушник. Но нет на свете женщин более порядочных, чем дамы из мелкой французской буржуазии. Они прекрасные, любящие, заботливые матери, внимательные и дружественные жены, отличные, бережливые домохозяйки, замечательные стряпухи. Вспоминается мне, как очень, очень давно я говорил на эту тему в Ялте с милым, ныне покойным, Чеховым. Тонкая наблюдательность его, конечно, вне сравнения. То, что я сейчас пишу, пишется почти с его слов. А под конец нашего разговора он сказал, улыбаясь своей *тонкой* и немного хмурой улыбкой:

– Знаете что? Весь день француженка строит, украшает и чистит свой дом: ну, вот точно как птица гнездо. Все для детей и мужа. А если муж вечером запоздает, то уж она без него ни за что не ляжет спать. Прождет хоть целую ночь. Так вот и в курятнике: куры никак не заснут, если нет петуха, все возятся, а посадите к ним какого-нибудь петушишку, хоть самого плохонького, сейчас же успокоятся и заснут на насесте.

Настоящего французского парижанина никогда нельзя увидеть болтающимся по улице праздно. Он или идет из дому в свое бюро, в свою лавку, или возвращается из бюро или из лавки в свой дом. Их «маленький завтрак» – это наш утренний чай: пьют кофе с хлебом из огромных, емких каменных чашек. Их завтрак – наш обед. Их обед – наш ужин. Ужинают поздно и не грузно, а ложатся спать рано, часов около девяти. Утром же в половине седьмого французский горожанин уже фыркает над умывальником. Это – зимою. А весною и летом мелкие буржуа обедают при открытых окнах. С улицы можно увидеть и щегольскую сервировку, и ослепительное столовое белье, дружную, непоколебимую семью. Обедают открыто. У нас, в бывшей России, про обедневшую крестьянскую семью говорили полужалостно, полупрезрительно: «Занавесившись едят». Вот во Франции-то и нет этого «занавесившись», так же как нет и спанья среди дня, этой растлевающей тело и дух распушенности.

Перед отходом ко сну буржуазная парижанка-лавочница позволяет себе «взять немного свежего воздуха». Она открывает окно и, облокотившись на подоконник, высовывается на улицу: мало ли чего интересного можно увидеть у соседней справа и слева, в их гостиных и кухнях, да и на самой улице. Но проходит десять-пятнадцать минут, и прелестная полная женская фигура уходит вглубь, с железным шумом захлопывая оконную раму. Она торопится, следуя мужнину зову, «прыгнуть» в «национальную постель» для сладкого отдыха после дня, проведенного в сплошной работе.

Вот вам среднебуржуазные французские женщины – подавляющее большинство парижского населения, – все эти жены и подруги мясников, булочников, молочников, слесарей, малюсеньких чиновников, счетчиков, контролеров и так далее. О дамах из финансовой буржуазии не говорю, потому что ее не знаю. Может быть, всего лишь одна сотая процента французских женщин (не парижских) ошеломляет иностранцев фальшивыми бешеными страстями, но и у этого ничтожного меньшинства всегда живет в душе серьезное стремление к дому, к детям, к скромной обеспеченности.

Говорят, французы скупы. Нет, они бережливы. Они знают, что деньги потому делаются круглыми и плоскими, чтобы у вздорных глупцов они легче катились ребром, а у разумных – удобнее складывались в стопки... Какая же это скупость, если необычайно тяжкая по тому времени контрибуция 1871 года была покрыта народом в течение шести месяцев. Клемансо в 1918 году, в дни перемирия, торжественно заявил: «Победой мы обязаны тому, что французский народ не пожалел для нее ни денег, ни собственной крови».

Говорят, что французы не хотят рожать детей. Нет, в теперешнее сумбурное и зыбкое время они боятся страшной ответственности за ребенка. Но поглядите, какой любовью, предупредительностью и вниманием окружены в Париже дети – это воистину короли Парижа. Право, есть только два народа на свете – Париж и Япония, где так обожают цветы, детей и улыбку.

Общая любовь к детям – это любовь к нации.

Вот почему я и думаю: все мы вернемся и, вероятно, скорее, чем предполагаем и гадаем, – домой, в Россию. О, я совсем не хочу знать о том, как многознающие, многоопытные деятели с крупными, почтенными, давно любимыми именами станут созидать будущую великую Россию. Я бы только хотел, чтобы мы, люди простые, памятливые и чувствительные, не забывали твердить: счастлив и крепок тот народ, который привык к мудрой бережливости, который уважает свой дом, который трудится ревностно и отдыхает вовремя, который в детях видит залог будущего здоровья нации.

Ведь такие уроки втуне не проходят?

Однако мысль о международных путешественниках, которые, ничего не видя и ничему не учась, развешивают мимоходом (о, моя бедная родина!) ярлыки странам и народам, увлекла меня далеко в сторону.

На днях я вернусь к домашнему Парижу.

Париж домашний

П. М. Пильскому

І. Пер-ля-Сериз

Если переводить это прозвище на русский язык, то всегда складнее было бы сказать: дядя Слива. «Отцом» – и то с приставкой имени или сана – у нас называют лишь лиц духовного звания; родного отца зовем: батюшка, тятя, тятенька, родитель, папенька, папаша. «Дядя» – семейное, соседское, дружеское обращение, не лишенное порою небрежной сердечности или легкой насмешки. «Ус да борода – молодцу краса: выйдешь на улицу, дяденькой зовут». А если к тому же кличка «пер-ля-Сериз» обесмертила чей-то нос, то уж никогда вишне, даже владимирской, не устоять цветом и величиною против крупной красной сливы-венгерки... Впрочем, так и быть: оставим из вежливости французский *Sobriquet*⁶⁷.

Нос у пер-ля-Сериз'а и правда замечательный: большущий, круглый, сизо-красный, сияющий. У Шекспира Бардольф, кабацкий приятель беспутного принца Гарри, вероятно, обладал таким же носом: «...Когда спускаешься с Бардольфом в винный погреб, не надо брать с собою фонаря...»

Настоящее имя пер-ля-Сериз'а давным-давно вылиняло, стерлось под прозвищем: должно быть, этот старый огненноносый, веселый толстяк и сам его с трудом вспоминает. Нет у него никакого общественного положения: ни службы, ни места, ни профессии, ни работы. Никто не скажет, где он живет и есть ли у него семья. Но весь коренной, настоящий Париж, уже во многих поколениях, знает и помнит пер-ля-Сериз'а гораздо больше, чем бесчисленное множество знаменитостей, которые всегда наполняют атмосферу великого города двухминутным блеском своих имен. Лишь старому «тигру»⁶⁸ уступает ныне пер-ля-Сериз в популярности, как уступал прежде Саре Бернар.

Кто же он, наконец, этот прославленный пер-ля-Сериз? – Да никто. Или почти никто. Игрок на скачках.

В Париже и его окрестностях чуть ли не десять прекрасных ипподромов, и нет дня, – круглый год, без перерыва, – чтобы хоть на одном из них не было скачек, которые так страстно любимы и посещаемы парижанами. Правда, бывают изредка хмурые, дождливые дни, совпадающие с неинтересными скачками на малые призы, когда аристократические трибуны (*Pesage*) слегка пустуют. Но демократическая дешевая лужайка (*Pelouse*) всегда людна, невзирая на дождь, снег, мороз, град, молнию, ураган и чертовский зной. В большие дни она – сплошь черная и кипящая народом – вмещает сто тысяч зрителей. И всегда вы на ней можете без труда разыскать пер-ля-Сериз'а по его большому росту, толщине, громкому голосу, домашнему, небрежному костюму и великолепному носу. Вокруг него, в ожидании первого звонка, особенно густеет толпа.

Он знаменит, а слава обладает магнитным притяжением. Он удачливый игрок, а вся масса, толпящаяся на лужайке, состоит из горячих игроков. Он великий знаток конюшен, тренеров, жокеев и лошадей с их родословными, вплоть до прадедов и прабабок, но кто же из бесчисленных зрителей не слагал и не учитывал сегодня с утра всех этих данных, включая сюда еще возраст, пол, вес, характер и погоду?

⁶⁷ Прозвище (*фр.*).

⁶⁸ Почетное прозвище Клемансо. (*Прим. автора.*)

Но главное – пер-ля-Сериз говорит остро, быстро и забавно. В Париже безмерно чтут хорошо сказанное слово: все равно, будь это красноречие клоуна, уличного продавца галстуков и подтяжек, митингового крикуна, смелого адвоката или любимого депутата. Каждый француз – прирожденный оратор, исключая немых, а также заик, которых в Париже вовсе нет. Во Франции, впрочем, говорят и мертвые, и всегда – блестяще.

Конечно, у многих слушателей пер-ля-Сериз'а есть тайная корыстная надежда на то, что этот продавец скачечных судеб возьмет да и расщедрится на счастливое *tuau*⁶⁹. Оттого-то пер-ля-Сериз'а и осыпают со всех сторон торопливыми, игриво-жадными вопросами. Он отвечает охотно, легко и забавно, но в духе дельфийского оракула, которому вздумалось побалагурить. Обращаются к нему на «ты», но тут нет ничего обидного. Скорее это заслуженный почет. Парижская толпа всегда тыкает своим прочным любимцам, и это ценно для них подобно тому, как в старое время «ты» в устах короля было для придворных высшим знаком отличия, одобрения и близости.

– Вы хотите непременно выиграть на первом месте в призе «Лютеция», – говорит пер-ля-Сериз, щуря свои тяжеловесные, лукавые глаза, – нет ничего легче. Поставьте сразу на всех восемь лошадей. Выигрыш несомненен.

Спрашивавший возражает кисло:

– Да. А если придет Фаворит и за него дадут десять су?

– Ах, мой друг. Тогда не ставьте вовсе. Знаете закон: кто уходит со своими деньгами – тот всегда в выигрыше.

– Пер-ля-Сериз! Что ты думаешь о Ньюдо? Есть ли у него сегодня шансы?

– Как я тебе отвечу на это, старина? Ньюдо – прекрасный жокей, вот и все. Но чтобы сказать о шансах жокея, надо знать, что он вчера делал, что ел и как он провел ночь; в каком состоянии его желудок и как обстоят его любовные дела. А я знаю только его вес... Шестьдесят два кило.

– Аркебуз? – Это лошадь! Ставь на нее, малютка, ставь все, что у тебя есть в кошельке, в портфеле и в заднем кармане. Выигрыш верный. Но одно маленькое-маленькое условие. С Аркебузом, видишь ли, поскачут еще пять лошадей. И надо непременно, чтобы одна из них сбросила своего всадника, другая упала на препятствии, третья занеслась в сторону, по ложному пути, четвертая внезапно захромала, а пятая вдруг остановилась бы перед барьером и ни за что не захотела его брать. Тогда Аркебуз притащит тебе, мой крошка, целый вагон денег. Не забудь только пригласить меня на обед с устрицами и анжуйским вином. Я тебе дал отличный подсказ.

– Нет, я не пророк, господа, и не ясновидящий. Только я, как и вы, учился в школе арифметике. Хороший жокей на плохой лошади, плохой жокей на хорошей лошади и средний жокей на средней лошади имеют равные шансы на успех. Вам остается только выбирать. А! Вы хотите знать судьбу наверняка? Но тогда пропадает вся прелесть игры, состоящая в риске и волнении. Тогда, старина, лучше открой мелочную лавку или сделайся собачьим парикмахером – выигрыш медленный, но верный...

Звенит первый звонок. Выставляются на досках номера лошадей и фамилии жокеев первой скачки. Глухо стучат компостеры в сотнях игорных касс. Толпа вокруг пер-ля-Сериз'а редет, разбредается...

Только совсем желторотому новичку придет в голову идти следом за пер-ля-Сериз'ом и ставить на те номера, на которые он ставит. Проигрыш ему заранее обеспечен: пер-ля-Сериз ставит только на тех лошадей, которые никогда не могут прийти. Правда, на тысячном разе, при нелепейшем капризе судьбы, он берет баснословные куши, но они не покрывают мелких проигрышей, и не в них искусство пер-ля-Сериз'а. Мелкие ставки он ставит лишь для того,

⁶⁹ Труба; иносказательно: подсказка, слух. (Прим. автора.)

чтобы сплавить, отводить от себя жадную публику, с которой поневоле пришлось бы делиться с выигрышем. Нет: все опытные посетители лужайки отлично знают, что пер-ля-Сериз'ова игра лишь стратегическая демонстрация. За него, по его таинственным приказам, играют в разных кассах послушные ему проворные помощники или крупные игроки, отделяющие ему высокий процент. Но эти люди до сих пор остались неуловимы для глаз любопытных.

У пер-ля-Сериз'а есть деньги, и порядочные.

Однажды весной, разнеженный красотой, благоуханием и свежестью майской ночи (об этом писали в газетах), пер-ля-Сериз вздремнул на скамейке в парке Монсо. Летучий велосипедист-городовой спросил у него вид на жительство, но такового у пер-ля-Сериз'а не оказалось с собою. Он мог только предъявить банковское свидетельство о вкладе на его имя нескольких десятков тысяч франков. Городовой был из новых, корсиканец, недоверчивый и весьма усердный к службе. Он отвел пер-ля-Сериз'а в комиссариат. Там все это недоразумение разрешилось в одну секунду. «Чудак! Да ведь это пер-ля-Сериз. Сам пер-ля-Сериз. Вы свободны, дорогой папа!»

Совсем на днях он опять попал в газеты, заставив весь Париж говорить о себе с добродушной улыбкой.

Он пришел на скачки ровно с пятью франками, составляющими минимальную ставку на демократической лужайке. Он показал эти пять франков своим неизменным слушателям и сказал:

– Покойный жокей Парфреман, прозванный «крокодиллом», – великий жокей, – выиграл однажды пять первых призов. Но вы, мои старички, были еще бланбеками⁷⁰, когда легендарный жокей Мак-Канед взял все шесть. Так сегодня и я выиграю, на всех шести скачках, шесть первых мест.

Публика посмеялась. Все приняли похвальбу пер-ля-Сериз'а за обычное шутовство. Никто не следил за его игрою, кроме двух-трех человек, когда на лужайке разнесся слух, что у пер-ля-Сериз'а бешеный успех! Он играл уже в стофранковой кассе, где мелкие игровые ставки не могли влиять на судьбу его ставок.

Он унес с собою шестьдесят четыре тысячи.

Я думаю, что здесь важны были не деньги. Мне хочется думать, что старинный любимец парижской толпы пер-ля-Сериз, – как-никак, а все-таки в своем роде один и единственный в Париже, – хотел широко заплатить своей публике за долготелее внимание блестящим представлением в духе лужайки.

II. Последние могилы

В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название «Fleur latine». Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?

Там, вдоль стен узкого и тесного помещения, стояли деревянные столы, без скатертей, и деревянные скамьи, на которых сидела публика очень молчаливая и внимательная; среди нее много пожилых людей. Пились скромные напитки: пиво, вино с водой, лимонад.

Посредине маленькая эстрада, и на ней крошечное, игрушечное пианино, основательно расстроенное...

Взошла на эстраду небольшая худенькая дама. Села на табурет, положила на пюпитр ноты, расправила юбку, поерзав на сиденье. Вслед за ней вышел высокий молодой человек лет тридцати пяти, с буйными волосами, гривой заброшенными назад, с короткой, козелком,

⁷⁰ Молокососами (фр.).

бородкой, с красивым открытым лбом – похожий на портреты поэтов времен Мюссе и де Виньи. На нем была просторная куртка из рыжего рубчатого манчестера и такие же штаны, широченные на бедрах и ляжках, – совсем узкие у щиколоток.

С ясной улыбкой небрежно и любезно поклонился он захлопавшей публике и сказал круглым голосом:

– La Crotte⁷¹.

Читатели, без сомнения, знают, как это слово перевести по-русски. Две приятные, розовые, полные, благообразные старушки, сидевшие напротив меня за сосисками с картофельным пюре, подняли разом брови, подтолкнули друг дружку локтями и переглянулись с опасливым недоумением.

Человек в рыжем бархате, ничуть не смущаясь, выждал жиденькую интродукцию и запел свою песенку. Вот приблизительно ее смысл:

«Я проходил сегодня утром по старой улице Арбалет, где в давние годы наши предки занимались благородным искусством стрельбы из лука... Улица была тиха, прохладна и пуста, а вокруг нее со всех сторон ревел, грохотал, гудел, свистел огромный, жаркий, как раскаленная печь, Париж...

Вдруг неожиданно один предмет на мостовой привлек мое внимание. Это было нечто, казалось бы, совсем недостойное вдохновения, но в моей певучей душе оно, по старинной прихоти фантазии, родило нежную и грустную элегию, Я не скрою от вас, что взор мой остановился на том прозаическом следе, который оставляет после себя на мостовой хорошо кормленная лошадь... Но нет ни одной грязной вещи, из которой творческий гений не мог бы извлечь сверкающих алмазов поэзии, и разве не нашел волшебный Бодлэр в придорожной падали мотив для своих прелестнейших стихов?

Прислонившись к фонарю, я стоял и грезил.

Вот я вижу то, что все реже и реже видит парижанин на улицах своего вечного, своего великого города. Автомобиль, велосипед, автобус, камион⁷², трамвай, метро, железная дорога, аэроплан, телеграф, телефон сделали совсем ненужной лошадь – это самое благородное завоевание человечества... «Когда Бог окончил сотворение мира и собирался уже отдохнуть, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает в его создании. Тогда он взял в свою всемогущую длань воздух, повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание». Так, говорят арабы, произошла лошадь. Но – увы! – скоро, через каких-нибудь жалких пятьсот лет, когда лошадь, как экземпляр редкого четвероногого, будет показываться в зоологическом саду, то, глядя на нее через железную огородку, спросит мальчик: «Правда ли, мадемуазель Жюли, что на этом странном животном ездили наши далекие предки?» И бонна ответит уверенно: «О да, малютка. Это было в те времена, когда люди жили в пещерах, одевались в звериные шкуры и, еще не зная употребления огня, ели мясо сырым».

Какая сладкая грусть сжимает мое сердце, когда я думаю о нашем милом, еще столь недалеком прошлом, которое так тесно было связано с лошадью и кучером. Вспомните почтовые кареты, запряженные четверкою, рожок почтальона, шелканье бича и чудесные, забавные дорожные приключения. Тогда наши веселые прабабушки носили прелестные шляпки кибиточкой, с широкими лентами, завязанными бантом на длинных тонких шейках, а талии их платьев были так высоки, черные мушки на румяных личиках были так красноречивы, а маленькие ножки так изящны...

И ты, о незабвенный парижский фиакр! Наши старые дедушки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоём имени. Прошло больше ста лет, а твой кучер до сих пор неизменен. Тот же клеенчатый низкий цилиндр у него на голове, тот же красный жилет, тот же

⁷¹ Лошадиный навоз (фр.).

⁷² Грузовой автомобиль (фр.).

длинный бич в руке, тот же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоинство. И лошадь твоя – Кокотт или Титин – по-прежнему тоща, длинна и ребриста и разбита на ноги и по-прежнему имеет склонность заворачивать к знакомым кабачкам. Но уже нет у дверец твоей кареты внутренних темных занавесок, которые когда-то, спеша, задергивала нетерпеливая, дрожащая рука...

Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много славных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Додэ, Мопассана, Золя. Тебя хорошо знали проказники Поль де Кока и влюбленные веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый кучер давал свидетельские показания в бракоразводных процессах...

Все течет, все проходит в этом мире, все обращается в тень. Но почему же так сильны для нас власть и обаяние прошлого? Юноша, с первым пушком на губе, с глубокой поэтической грустью посещает те места, где он играл, будучи нежным отроком. Так и нам жизнь наших предков кажется проще, красивее и гораздо полнее, чем наша. Или правда, что машины, отравившие воздух, убившие прелесть путешествия, заторопившие жизнь, нанесли непоправимый ущерб наивным радостям человечества.

Вот о чем я думал летним вечером на улице Арбалет...»

Так, или приблизительно так, пел гривастый человек в рыжем бархате. На глазах у моих соседок-старушек я видел искренние теплые слезы, которых они и не трудились вытирать. Певцу много, но чинно аплодировали. Я – больше всех.

Сколько теперь осталось в Париже наемных фиакров? Говорят, только тридцать семь. С сожалением приходится признать, что убывает, вырождается, исчезает славный цех парижских извозчиков. Надо сказать, что и в Лондоне отходит в область преданий это почтенное сословие, о котором Диккенс изрек устами мистера Пикквика: «Души кучеров мало исследованы». Парижские извозчики – последние могиканы, остатные представители великого гордого племени...

Чуткий и памятный Париж по-своему чтит эти живые обломки старины. В случае недоумений между фиакром и такси уличная толпа всегда на стороне фиакра. Но эти случаи редки. Там, где бывает затор движения и экипажи продвигаются с великим трудом, там кучер, возвышаясь на своих козлах высоко над приземистыми моторами, являет вид полнейшего спокойствия и твердой самоуверенности. Пусть такси – его злостные конкуренты и виновники потускнения его славы. Широким душам, облагороженным долголетним общением с лошастью, чужды зависть, месть и мелкие уколы. Глядя на своего врага сверху вниз, фиакр с презрительной улыбкой щурит глаза: «Движущиеся коробочки, зловонный экипаж, хрипучий комод – и это в Париже, в городе тончайшего вкуса!»

И никогда на людных скрещеньях кучер не дает первого места шоферу: обожди, невоспитанный молокосос, пока проедет почтенный старик. И молодой человек слушается.

Бывают и у старых кучеров свои дни реванша. Это тогда, когда начинающие шофера держат экзамен на знание парижских улиц в комиссии, состоящей из седых, красноносых кучеров наемных фиакров.

– А ну-ка, *mon vieux*⁷³, скажи мне без помощи карты, каким путем проедешь ты от улицы Ранелаг до улицы Ройе Коллар?

Случается порою, что экзаменатор, вследствие ли разыгравшейся подагры, или по случаю вчерашнего лишнего литра божолэ, начинает так гонять ученика по всем закоулкам Парижа, что у того волосы на голове взмокнут. Но это бывает редко. Добрым душам не свойственна придирка. «Юноше ведь тоже нужен кусок хлеба. И, наверно, сейчас с дрожью в сердце ждет результата этого экзамена какая-нибудь крошечная белая козочка, такая ласковая маленькая кошечка».

⁷³ Страница (*фр.*).

Будет время, когда по улицам Парижа проедет в последний раз последний фиакр. И этот последний выезд, конечно, приведет его в один из исторических музеев. А может быть, будущие парижане увидят и будущий памятник кучеру таким, каким мы его застали. В низком цилиндре, с длинным бичом, в допотопном жилете, с пледом, окутывающим ноги?

III. Невинные радости

Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи Rose Jacqueminot, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость – навык весьма похвальный, но родственная ей скупость, доведенная до крайности, – отвратительна.

Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве – черт побери! – мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку? Наше глупое «денек, да мой» оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: «Для себя, для детей, для родины».

Да: и для родины. Вспомните войну семидесятого года и пятимиллиардную контрибуцию, покрытую столь же легко, как и быстро. Посмотрите на колоссальные общественные сооружения во Франции.

Французский буржуа дорожит своим трудом и высоко его ценит. Он отлично знает, что су сделаны круглыми вовсе не для того, чтобы их легче катить ребром, а для того, чтобы они не протирали кошелька; наоборот, они сделаны плоскими для того, чтобы их удобнее было складывать в стопочки и относить в банк. С деньгами не шутят.

На работу французский буржуа лют и умеет требовать работу от подчиненных. Но без конца он трудиться не хочет... Подходит его возраст к пятидесяти пяти годам. В банке, в надежных бумагах, давно хранятся солидные деньги. Три четверти жизни в работе и накоплении. Одна четверть для полного почетного заслуженного отдыха (конечно, я говорю о мелких буржуа и о крупных рабочих). Вовремя продается предприятие, место и машина... Гордо и сладко жить на ренту в провинциальном, родном, тихом городке... Вкусны: дневной аперитив и вечерний кофе в излюбленном кафе. Привычны: своя газета, свои собеседники, долгий спор на политические темы, ежедневная партия в манилью или в белотт на стаканчик «пикколо».

Мечта отдыхающего француза, особенно парижанина, – это ловля рыбы на удочку. Но далеко надо ездить на рыбные места. Приходится ловить в Сене. Какие чудесные у французов рыболовные принадлежности, какая славная и разнообразная приманка, как красиво закидывает он леску и как они терпеливы!

Но, говорят, Сена на всем ее парижском течении – река совсем не рыбная, ибо вода ее испорчена отбросами города. Плодовита рыбой она становится только ниже Конфлана, там, где в нее вливается Уаза, и еще дальше. Впрочем, обо всем этом, чуждом мне удочном искусстве когда-нибудь гораздо авторитетнее, лучше и занятнее расскажет мой уважаемый друг А. А. Яблоновский (один из величайших современных рыболовов).

Отдыхающие буржуа, которые победнее и попроще, неизменно и неутомимо торчат круглый год над Сеной, на мостах и на прибрежных камнях. Часами торчат сзади них их досужие наблюдатели; не дождавшись, уходят; на их место становятся другие и также смотрят безрезультатно на рыболовов. Но, заметьте, – что значит культура! – ни один из зрителей не позволил себе пустить насмешливое или задирающее словцо, каждый из них с наслаждением подержал бы в руке, минут хоть десять, тяжелое удилице!.. А вдруг?

Впрочем, однажды я в 1923 году был свидетелем счастливой ловли. В ту зиму Сена так высоко поднялась в своих берегах, что не только погрузила в воду обоих зуавов под мостом Альма чуть ли не до подбородка, но слегка затопила метро Альма Марсо. Тогда Сена, стиснутая каменными набережными, яростно и круто стремилась вниз, грязно-зеленая, вся в кипящей пене и в клокочущих буграх, а над ней низко и косо носились с резким писком бог знает откуда прилетевшие острокрылые белые чайки. Тогда рыба действительно брала! Я видел, как к вечеру, с трудом оторвавшись от сладкого азарта, один рыболов, пожилой, короткий и толстый буржуа, тщательно развинтил и сложил свою коленчатую удочку, смотал, кряхтя, леску и с триумфом пошел домой. В его патентованном эмалированном ведерце плескалась дюжина рыбок: две крошечные плотвички, пара пескариков, несколько уклек...

О! надо было видеть его походку – походку старого, просоленного бретонского рыбака: широко расставляемые ноги, выпяченные локти, тяжелая перевалка с боку на бок. Для каждого из любопытных он останавливался и охотно приподымал истыканную дырками-продушинками крышку, чтобы показать ему свой богатый улов. Воображаю, как, придя домой, он священнодействовал у плиты, обваливая своих рыбок в муке и поджаривая их на фритюре. И с каким благоговением взирало на него потрясенное и счастливое семейство! Ну, не мило ли это? Во всяком случае, гораздо милее, чем приехать на автомобиле в Вилль д'Авре в шикарный ресторан, расположенный над озером Коро, и после долгого завтрака заказать хозяину рыбную ловлю. Вам дадут все: удочки, приманку, табуретку, клевое место, и, если вы даже при всех этих услугах умудрились ничего не поймать, вас заботливо обеспечат свежей, только что выловленной рыбой; конечно – не даром.

Второе увлечение французов – птицы. Я не знаю других городов, где бы так любили птиц, как в Париже и Москве. Здесь – во всех мансардах и ре-де-шоссе, там – во всех чердаках и полуподвалах всегда в погожие дни выставляют в распахнутые окна, между горшками с геранью и фуксией, клетки с неизбежными канарейками. У нас держали еще в клетках соловьев, чижей, перепелов, скворцов; здесь часто держат рисовки, неразлучки и еще какие-то маленькие, прелестные, ярко оперенные птички; названий их я не знаю; они продаются на набережной, где Самаритэн. Старые парижане еще помнят, как мелодично пели по утрам продавцы птичьего корма: «Mouron pour les petits oiseaux – аух...»

Теперь эти утренние певцы исчезли, вывелись. А «mouron» – эта такая маленькая, нежная, бледная травка, которая у нас называлась мокрицей. Домашние птицы охотно ее клюют.

Но есть люди, которым одинаково неприятно глядеть как на рыбу, у которой извлекают изо рта окровавленный крючок, так и на птицу, заключенную в тесные пределы клетки. Эти любители животного мира предпочитают видеть рыб и птиц на свободе.

Парижские скверы и сады охотно посещаются вольной птицей. По их лужайкам доверчиво разгуливают даже такие сторожкие птицы, как черные, желтоклювые певчие дрозды. Здесь дрозд отлично знает, что французскому мальчугану никогда не придет в голову соблазн лукануть в него камнем. У русского дрозда такой уверенности, пожалуй, не найдется. Я не говорю о воробьях и голубях; эти подбирают хлебные крошки у самых ног человека и почти из рук, что можно увидеть ежедневно в Париже, повсюду, где есть только скамьи для прохожих и древесная листва над ней, хотя бы даже на Елисейских Полях.

Парижские голуби очень красивы. Они стройны, тонки и грациозны. Оперение у них палевое. На стриженных парковых газонах, на их чистой, свежей, прелестной зелени они кажутся почти розовыми, и это соединение цветов необыкновенно радует глаз. Здесь я не видел голубей в таких огромных массах, в каких слетаются чугунно-сизые голуби на Красную площадь в Москве и серебряно-белые на площадь Св. Марка в Венеции. Но однажды, вместе с покойным В. А. Рышковым, из его чердачной вышки на улице Турнефор, мы с умилением и с беззлой завистью наблюдали, как напротив нас, через улицу, высунувшись из какой-то клетушки над седьмым этажом, гонял неведомый нам охотник отличную стаю любительских

голубей. И совсем как в Москве, посвистывал он тонко и резко на особый лад и так же размахивал в воздухе длинным шестом с привязанной на конце его тряпкой.

Вот у меня постоянно Париж и Москва...

Когда-нибудь, если найду время, я приведу десятки характерных бытовых черт, чудесно общих для двух этих старых городов, но совсем неподходящих к другим большим городам. А ведь сколько наблюдательных и вдумчивых людей говорило: «Сам не могу понять, чем мне Париж так напоминает Москву?» Или это болезненные признаки ностальгии?

Но разница в том, что Париж во все стороны жизни – и в науку, и в забаву, и в искусство – вносит две стойкие черты: изящество и законченность.

Весь средний Париж, ежедневно, во всех садах, скверах, аллеях и тенистых зеленых закоулочках с удовольствием кормит хлебными крошками воробьев. Но из тысячи человек один доводит это скромное буколическое занятие до профессионального совершенства, до главного смысла и цели своей жизни, перевалившей к спуску в долину Иосафатову. Зоркий Париж давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование. По-старому его называли «Oiseleur» – эпитет, который был приложен к имени короля Henri I, Генриха Птицелова. Но «Oiseleur» означает не только птицелова, а еще любителя, пожалуй, покровителя птицы. Как сказать по-русски – не знаю. Птицевод? Птичник? Птицелюб? Ужели птицефил? Это старое французское словечко как-то стерлось. Теперь такого птицефила именуют с некоторой литературной претенциозностью «enchanteur des moineaux». Очарователь воробьев? Заклинатель? Воробьиный волшебник? Надо, однако, сказать, что сношения этих оригинальных людей с легкомысленными воробьями кажутся на первый взгляд и впрямь не лишены колдовства.

Одним таким «уазлером» я любовался несколько дней подряд, приходя нарочно к двум часам дня на сквер Инвалидов, и теперь с удовольствием возобновляю в памяти его волшебные сеансы.

Вот он приходит медленными, грузными шагами. Ему лет пятьдесят пять. Он плотной комплекции и кажется книзу еще шире, потому что карманы его пальто, набитые хлебом, оттопырились. На нем старая широкополая фетровая шляпа. Не торопясь, он садится на зеленую скамеечку.

Воробьи уже давно его дожидались на газоне, против заветной скамейки. Теперь они слетаются со всех сторон и застилают зелень буро-бело-желтыми живыми комочками. Иногда мне кажется, что в этом мнимом беспорядке есть какой-то свой особый воробьиный строй и что-то вроде чиноначалия.

Очарователь отщипывает кусочек хлеба и, держа его двумя пальцами, подымает руку вверх.

– Аллю! Феликс Фор! – восклицает он и ловко бросает хлеб.

Несколько воробьев срываются с мест, но один из них перегоняет всех и ловит кусочек на лету.

– Дюма-пер! Гамбетта! Фрейсине! Буланже! Лессепс!

Так выкрикивает Очарователь одно за другим громкие, старые французские имена, и с необыкновенным проворством, с замечательной точностью ловят воробьи в воздухе хлебные шарики.

Знают ли они свои имена? Мне хочется верить, что знают. Впрочем, за Гамбетта я почти готов поручиться. Он приметен своей броской белобокостью, и, кроме того, у него одно перо на хвосте, справа, должно быть, сломанное или погнутое, торчит в сторону. Мне кажется, что он всегда подлетает на имя Гамбетта.

Эта переключка – первое действие. Окончив ее, Очарователь встает, подходит к самому обрезу газона.левой рукой у груди он держит большую булку, а правой отрывает от нее крошечные кусочки и чрезвычайно быстро (но спокойно) подбрасывает их невысоко над своей

головой, плечами и лицом. И в миг он весь окружен, ореян, осиян трепещущей воробьиной стаей. Великолепное зрелище! Волшебник стоит спиной ко мне, лицом против солнца. Оттого крепкая фигура его мне кажется темной и не явственной. Но тесный подвижный воробьиный ореол вокруг него весь пронизан насквозь щедрым, горячим, золотым солнечным светом. Воробьиные тела стали невесомыми, а их бьющиеся крылья пыльно-прозрачными.

Очень похоже на то, что стоит в добрый июльский день около улья русский пасечник, а вокруг него выются и кружатся добродушные и доверчивые пчелы.

Прилетает откуда-то, такой тяжелый в этой порхающей семье, такой неуклюжий в этой воздушной легкости, палево-розовый голубь. Волшебник хочет и ему побросать немного хлебных кусочков, но как справиться с воробьями? Их – сила. Они рвут хлеб прямо из руки. Они перехватывают его в воздухе. Они оттесняют своей массой голубя, не упуская, кстати, подходящего момента, чтобы долбануть его клювом. Они кричат на него: «Зачем влез не в свою компанию?»

Правой рукой уверенным кругообразным движением Волшебник отгоняет воробьев за свое левое плечо, осаживает, точно добрый полицейский, эту живую вертящуюся уличную толпу, чтобы выгадать свободный доступ голубю.

Воробью хорошо. Он может, часто трепеща крылышком, держаться на одном месте, может в момент взвиться вверх и юркнуть вниз. Голубю потребно широкое пространство для медленного маневрирования. Фрегат и миноноски... Для голубя теперь вопрос уже не в закуске, а в самолюбии. И когда, наконец, с трудом ему удастся вырвать подачку, он с наружным равнодушием отлетает прочь. «А все-таки я настоял на своем!»

Во время этой свалки хитрее всех и практичнее ведет себя белобокий Гамбетта. Он ловко пристраивается то на плече, то на воротнике Очарователя и, чуждый общего смятения, спокойно выклеывает у него из бороды запутавшиеся в ней обильные хлебные крошки. Есть в нем что-то от мародера.

Все движения Волшебника точны и размеренны, даже тогда, когда он идет, даже (я видел) когда он завтракает. Это профессиональная, инстинктивно вьезшаяся привычка. Такое же уверенное и вселяющее доверие спокойствие я наблюдал в жестах, движениях, даже в речи знаменитых укротителей хищных животных, не только в клетках, во время представления, но, в привычку, и в домашнем обиходе.

IV. Кабачки

О душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего – дешевый трактир попроще.

Дорогие рестораны ничего не дают для наблюдения. Во всем мире они одинаково обезличены: те же лакеи, метрдотели и гости, те же самые танцоры и музыканты, и повсюду общие слова. Здесь мода, литература, спорт, кухня и демократизм оболванили людей на один образец. (Я не хочу этим глаголом сказать что-нибудь обидное; болван, болванка – значит деревянная или чугунная готовая форма.)

Исчезают понемногу ресторанчики, славившиеся некогда каждый каким-нибудь специальным блюдом. Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье – гордость и славу дома: пронзительный буйабесс, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удушенную, или рубец по-лионски, или – поблизости бойни – замечательный бифштекс с кровью, или у какой-то тетки Дюпон изумительные телячьи котлеты.

Но все это для снобов. Для них же и знаменитый луковый суп в одном из кабачков Центрального рынка, в два часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И

все это такая же подделка под старинные, исторические кабачки, как подделка – апаши, которые – не что иное, как мелкие профессиональные актеры, успевшие уже за ночь отыграть раз тридцать свои гнусные роли в пресловутых монмартрских «Небе», «Аде» и «Небытии» и притащившиеся в Halles⁷⁴ на утреннюю халтуру, чтобы представлять перед ротозеями пьянство, игру, дележку награбленного, ревность, ссору, драку и поспешное общее бегство по свистку мнимого сторожа.

Исчезают, даже почти совсем исчезли, прежние забавные и прелестные названия кабачков. Где эти «Белые павлины», «Золотые олени», «Лев и Магдалина», «Голубая подвязка», «Таверна лучников», «Золотая шпора»? Названия монмартрских кафешантанов претенциозны, надуманны, противны для уха и вкуса.

Простонародный кабачок окончательно сошел на нет. О нем можно вспомнить, только читая старые французские романы. Яркие, звонкие вывески позабыты, позабыта и старая кухня. Впрочем, Париж так быстро и часто перестраивается, что погибли без возврата даже названия старых, шестисотлетних улиц. Однако, в виде наставления новичкам, я должен сказать, что еще совсем недавно обладателю тощего кошелька рекомендовалось дешево и вкусно позавтракать в одном из ресторанчиков под вывеской «Свидание кучеров и шоферов». Но это рекомендация давнего прошлого. Кучера на наших глазах вырождаются, шоферы бедствуют. Зато смело идите в тот кабачок, в котором издали увидите по белым блузам, по измазаным следами извести лицам – каменщиков. Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и в высокой цене. Парижские каменщики совсем похожи на русских (Мещовского уезда, Калужской губернии). Так же беззаботно ходят они по узким балкам на седьмом этаже, так же громко, весело поют во время работы, так же кротки нравом, так же крепки в артельном быте, так же емки, когда едят, и так же всей большой трудовой ватагой валят в ближайший простенький ресторанчик.

И курчавый, серьезный хозяин кабачка, умный, скупой оверньят, этот французский ярославец, внимательно следит за свежестью мяса и рыбы, за доброкачественностью масла, за добрым качеством вина. А не то две-три жалобы, один скандал – и опустел его кабак, а потом как создать ему вновь популярность? Тут надо еще сказать, что парижский каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает до десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках – литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой... Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот.

Эти маленькие кабачки именно тем иногда и милы, что в них часто собираются люди одной и той же профессии.

Есть большая парижская Биржа, на ступеньках которой, по-видимому, без всяких причин мечутся и орут каждый день сотни сумасшедших, взъерепенных людей; орут в чистом тоне верхнего тенорового си. И около этой Биржи многое множество кофеен, ресторанов, пивнушек и кабачков, где наскоро пьют, закусывают, читают бюллетени, газеты и продолжают кричать биржевые зайцы. Есть уличная брильянтовая биржа и рестораны при ней (правда, под вечной угрозой внезапного полицейского контроля). Есть биржа почтовых марок, конечно, со специальным рестораном сбоку. Я знаю уютные полуподвальные кабачки, где собираются итальянцы и савойяры-угольщики; маленькие ресторанчики, излюбленные граверами, переплетчиками, рисователями обоев; кабаки-норы, посещаемые тряпичницами; бистро около конеч-

⁷⁴ Рынок (фр.).

ных станций метрополитена – приюты кондукторов и вагоновожатых... Я открыл в Пятом округе кабачок на улице Мальбранш, где собираются глухонемые: странно и жалко в тишине видеть повсюду за столиками их напряженный разговор, состоящий из быстрых движений пальцев и страстной мимики. Так и кажется, что они торопятся и никак не могут наговориться досыта. И часто меня в этих кабачках грызет назойливая мысль: ах, если бы я умел все понимать на языке лангедок, на гасконском, на оверньском, на бретонском, на нормандском, не считая самого трудного языка – языка парижских окраин. Какой богатый материал! И все-таки кое-что понятно.

У. Призраки прошлого

Пасси – очень интересный округ. Нынешние эмигранты ославили его русским. По этому поводу ходили тяжеловатые остроты. Называли Пасси «Арбатом» и «Пассями». Уверяли, что где-то, на улице Лафонтен, повесился чистокровный француз, оставив записку: «Умираю от тоски по родине». Немножко тоньше была такая шутка.

Встречаются на авеню Моцарт два парижанина; один спрашивает, как пройти на улицу Жорж Занд; другой отвечает: «Простите, я не русский».

Но шутки эти были кратковременны. Цены на квартиры в Пасси растут в такой дьявольской прогрессии, что ныне в нем русские стали так же редки, как зубры или мамонты. Остался один русский. Ага, да и тот караим.

Пасси занимателен тем, что в его домах, в улицах и их названиях причудливо переплетается новизна вчерашнего дня с почтенной старостью, восходящей к Франсуа I и дальше.

Дедушки и бабушки нынешнего среднего русского поколения, приезжая в Париж, не видали ни здания Трокадеро, ни многоэтажных домов Пасси. Он был тогда большой деревней, куда ездили парижане на воскресные дальние пикники или посещали его мимоездом, отправляясь в Булонский лес (тогда и вправду лес!) для дуэли.

Деревня Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками; их открыл в начале XVIII века аббат Рагуа. Во многих романах первой половины прошлого столетия упоминается об экскурсиях к лечебным водам в Пасси. В них тогда очень верили.

Семьдесят пять лет – это не старость, даже не средний возраст для города, тем более что Пасси на наших глазах бешено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.

Быстро бежит время, еще быстрее – человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые, сорока-пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки.

Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Маллэ-Стивенс построил на улице Доктор Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда – его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо- и ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!

Стивенс еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинтересовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного. Скуплен большой

квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами – Ассомпсион – Рибейра и двумя пересекающими – Моцарт – Лафонтен: кусок, пространством в сорок-пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построятся сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением – что там уездных Медыни или Крыжополя! – целой губернской Костромы... Какой размах!

Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVIII веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, – довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам.

Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случайности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это, как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм... Дорогу молодому поколению.

А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт⁷⁵.

При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как называли эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.

Мюет, если перевести по-русски, значит «линять, сбрасывать рога» (у оленей).

Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого... В последнее время им владели банкиры.

Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.

Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над горами камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего – два этажа с чердаком, и – как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону золотого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.

В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков – памятников старины (см. историю XVI округа Библ. Мэри Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу и ко всей Франции.

Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в спортивное обыкновение покупать картины, статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами для того, чтобы восстановить это у себя в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но...

⁷⁵ Немой (*фр.*).

Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетами из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.

Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазком, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:

– Лакей! Лакуза-а!

Вошел мальй, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.

– Чимпанскава барыне! – гаркнула купчиха. – Вот как мы, дворяне, нынче гуляем!

Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.

Париж и Москва

Есть книжки – возьмешь ее, пробежишь две-три страницы из начала, заглянешь в конец, бегло перелистаешь середину, и вот уже у тебя готово довольно верное представление о ее содержании и литературном весе. Но смешон будет тот читатель, который применит этот легкий способ для ознакомления с Библией.

Париж – одна из самых огромных, самых старых, самых трудных и, в то же время, самых живых человеческих книг. Десять лет можно настойчиво вчитываться в ее каменные страницы, чтобы потом сказать: «Теперь у меня есть что-то вроде ключа к изучению Парижа».

И все-таки чрезвычайно дороги для нас первые, мгновенные, непосредственные внешние впечатления. Я, например, через много лет могу воспроизвести в памяти лицо человека, дома, комнаты или улицы в двух видах – таким, каким оно впервые вышло на моментальном снимке моего зрительного аппарата, и таким, каким его впоследствии видел мой привычный, постоянный взгляд. Эти образы очень разнятся друг от друга, но первоначальный милее и ближе нашей душе. И он ярче.

Помню, как в первые дни по приезде в Париж я бродил ощупью по его улицам, ошеломленный, оглушенный, растерянный и подавленный его изумительной жизнью. И уже тогда меня занимала и даже раздражала неотвязчивая мысль – что же такое бесконечно знакомое и близкое видится мне смутно в этом страшном и прекрасном городе? Кому неизвестна эта утомительная работа памяти, когда мелькнет и потеряется в толпе очень знакомое лицо, и ты ломаешь голову целый день, стараясь с разбега восстановить имя и прежнюю встречу.

И, наконец, нашел, догадался.

Случайно увидел я в Латинском квартале, над улицей Турнефор, стаю любительских голубей, дружно плававших широкими кругами в высоком бледно-голубом небе, то чернея, то блистая крыльями на поворотах, и сказал: «Вот оно! Москва!»

Тогда мое ощущение этого сходства было почти бессознательно. Но многие из русских, на ком я его проверял, почти соглашались со мною: «И правда, здесь, пожалуй, есть что-то такое неуловимое...» Впоследствии я кое-что понял и объяснил себе, вероятно, не без маленьких натяжек.

В Париже и в Москве идешь по современной улице, блестящей зеркальными стеклами домов и великолепными витринами магазинов, кипящей движением, и вдруг маленький кривой переулочек направо, и сразу вступаешь в 18-й, в 17-й, а то и в 16-й век.

И там и здесь пешеходы не хотят знать левой и правой стороны, людской поток катится, бурлит и крутится без всякого порядка. Но зазевалась на что-то маленькая кучка, и мигом около нее густая черная толпа... А московские битюги так напоминают парижских арденов.

Только в двух старых мировых столицах – в Париже и Москве – все обывательские часы идут не по пушке, и не по ратуше, и не по собору, а так себе, как им самим вздумается. Пройдитесь с хорошо выверенными часами по лавкам или официальным учреждениям этих городов, и вы убедитесь, что часы в них ошибаются в обе стороны на целых полчаса; однако точного указания так и не встретите. Англичанин пришел бы в ужас, если бы его часы отстали или убежали на пять минут. Оттого-то он и является на деловое свидание или на обед с последним ударом назначенного часа, а для парижан допускается 1/4 часа опоздания. В Москве простят и целый час. «Что нам минуты, когда мы считаем время на столетия?»

Так же, как Париж, опоясывают Москву бульвары, и так же в ней много садов и палисадников. На окнах чердаков и полуподвалов Парижа вы увидите все те же старинные огненные герани и тех же желтых канареек в клетках. И одинаково в скверах и парках кормят любители хлебными крошками зобастых голубей и юрких воробьев.

И еще – нигде так много не целуются на улицах, как в Москве и Париже при встречах и прощаниях. (Я не говорю, конечно, о поцелуйчиках в метро или вечерком у заборов.) Только в Москве целуются взасос, шлепая губами, как мокрыми калошами, а в Париже беззвучно, по два раза, щека об щеку. В Москве целуются мужчины, едва между собою знакомые, в Париже – лишь родственники.

И, наконец, только у коренных парижан и москвичей я наблюдал ту великолепную, спокойную, многовековую уверенность, с которой они попирают старые святыне камни своего города, камни – свидетели радостей и печалей их далеких предков, камни, не раз политые горячей кровью и солеными слезами.

Для парижанина ничего не существует в мире, кроме Парижа и Франции. Францией он гордится с громким патриотическим пафосом. Гордиться Парижем ему так же не придет в голову, как, например, гордиться вслух здоровьем, дыханием, двумя, – а не одной, – ногами. Он просто, без всякого усилия знает, что лучший город в мире – Париж и что эта аксиома безусловно принята всеми частями света и всеми людьми, обитающими их. Французская провинция всегда немного простовата, а потому и смешна для парижанина.

И москвич также непоколебимо сознает, что прекраснее города, чем Москва, нигде не сыщешь. Москва – всем городам голова. Провинция для него – деревня. Только на Петербург он свысока и недружелюбно кивает головой:

«То у вас в Питере, а то у нас в матушке Москве».

И, конечно, в Питере все оказывается хуже... Но это уже старый спор, старая обида порфиросной вдовы против царицы.

Р. S. Пишу почти накануне «Réveillon»⁷⁶. За стеклами булочных и кондитерских уже выставлены традиционные пирожные, сделанные под каминное полено.

А в Москве в эту пору, бывало, лежали в ярко освещенных витринах невинные белые ростовские поросенки в заливном виде, с самодовольной улыбкой на морде и с веточкой зеленой петрушки во рту.

В ночь с 24 на 25 декабря настоящему парижанину полагается гулять напролет до утра. Коренной москвич садился обедать после всенощной при первой звезде «вифлеемской» – начиная с кутьи и грушевого взвара.

А в окнах, кое-где, в разных этажах, сквозь спущенные занавески, уже сияли туманными золотистыми гроздьями огни свечей на елках...

Когда все это было? Точно сто лет назад. Да и было ли?

⁷⁶ Рождество (фр.).